



Чезаре Ломброзо
ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Когда, много лет тому назад, находясь как бы под влиянием экстаза (raptus), во время которого мне точно в зеркале с полной очевидностью представлялись соотношения между гениальностью и помешательством, я в 12 дней написал первые главы этой книги ¹⁾. Признаюсь, даже мне самому не было ясно, к каким серьезным практическим выводам может привести созданная мною теория. Я не ожидал, что она даст ключ к уразумению таинственной сущности гения и к объяснению тех странных религиозных маний, которые являлись иногда ядром великих исторических событий, что она поможет установить новую точку зрения для оценки художественного творчества гениев путем сравнения произведений их в области искусства и литературы с такими же произведениями помешанных и, наконец, что она окажет громадные услуги судебной медицине.

В таком важном практическом значении новой теории убедили меня мало-помалу как документальные работы Адриани, Паоли, Фриджеро, Максима Дюкана, Рива и Верга относительно развития артистических дарований у помешанных, так и громкие процессы последнего времени - Манжione, Пассананте, Лазаретти, Гито, доказавшие всем, что мания писательства не есть только своего рода

психиатрический курьез, но прямо особая форма душевной болезни и что одержимые ею субъекты, по-видимому, совершенно нормальные, являются тем более опасными членами общества, что сразу в них трудно заметить психическое расстройство, а между тем они бывают способны на крайний фанатизм и, подобно религиозным маньякам, могут вызывать даже исторические перевороты в жизни народов. Вот почему заняться вновь рассмотрением прежней темы на основании новейших данных и в более широком объеме показалось мне делом чрезвычайно полезным. Не скрою, что я считаю его даже и смелым, ввиду того ожесточения, с каким риторы науки и политики, с легкостью газетных борзописцев и в интересах той или другой партии, стараются осмеять людей, доказывающих вопреки бредням метафизиков, но с научными данными в руках полную неумолимость, вследствие душевной болезни, некоторых из так называемых "преступников" и психическое-расстройство многих лиц, считавшихся до сих пор, по общепринятому мнению, совершенно здравомыслящими.

На язвительные насмешки и мелочные придирки наших противников мы, по примеру того оригинала, который для убеждения людей, отрицавших движение, двигался в их присутствии, ответим лишь тем, что будем собирать новые факты и новые доказательства в пользу нашей теории. Что может быть убедительнее фактов и кто станет отрицать их? Разве одни только невежды, но торжеству их скоро наступит конец.

Проф. Ч. Ломброзо Турин, 1 января 1882г.

1) Гениальность и помешательство. Введение к курсу психиатрической клиники, прочитанному в Павианском университете. Милан, 1863.

I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

В высшей степени печальна наша обязанность - с помощью неумолимого анализа разрушать и уничтожать одну за другой те светлые, радужные иллюзии, которыми обманывает и возвеличивает себя человек в своем высокомерном ничтожестве; тем более печальна, что взамен этих приятных заблуждений, этих кумиров, так долго служивших предметом обожания, мы ничего не можем предложить ему, кроме холодной улыбки сострадания. Но служитель истины должен неизбежным образом подчиняться ее законам. Так, в силу роковой необходимости он приходит к убеждению, что любовь есть, в сущности, не что иное, как взаимное влечение тычинок и пестиков... а мысли - простое движение

молекул. Даже гениальность - эта единственная державная власть, принадлежащая человеку, которой не краснея можно преклонить колена, - даже ее многие психиатры поставили на одном уровне с наклонностью к преступлениям, даже в ней они видят только одну из тератологических (уродливых) форм человеческого ума, одну из разновидностей сумасшествия. И заметьте, что подобную профанацию, подобное кощунство позволяют себе не одни лишь врачи и не исключительно только в наше скептическое время.

Еще Аристотель, этот великий родоначальник и учитель всех философов, заметил, что под влиянием приливов крови к голове "многие индивидуумы делаются поэтами, пророками или прорицателями и что Марк Сиракузский писал довольно хорошие стихи, пока был маньяком, но, выздоровев, совершенно утратил эту способность".

Он же говорит в другом месте: "Замечено, что знаменитые поэты, политики и художники были частью меланхолики и помешанные, частью - мизантропы, как Беллерофонт. Даже и в настоящее время мы видим то же самое в Сократе, Эмпедокле, Платоне и других, и всего сильнее в поэтах. Люди с холодной, изобильной кровью (букв. желчь) бывают робки и ограничены, а люди с горячей кровью - подвижны, остроумны и болтливы".

Платон утверждает, что "бред совсем не есть болезнь, а, напротив, величайшее из благ, даруемых нам богами; под влиянием бреда дельфийские и додонские прорицательницы оказали тысячи услуг гражданам Греции, тогда как в обыкновенном состоянии они приносили мало пользы или же совсем оказывались бесполезными. Много раз случалось, что когда боги посылали народам эпидемии, то кто-нибудь из смертных впадал в священный бред и, делаясь под влиянием его пророком, указывал лекарство против этих болезней. Особый род бреда, возбуждаемого музами, вызывает в простой и непорочной душе человека способность выражать в прекрасной поэтической форме подвиги героев, что содействует просвещению будущих поколений".

Демокрит даже прямо говорил, что не считает истинным поэтом человека, находящегося в здравом уме. *Excludit sanos, Helicone poetas.*

Вследствие подобных взглядов на безумие древние народы относились к помешанным с большим почтением, считая их вдохновенными свыше, что подтверждается, кроме исторических фактов, еще и тем, что слова *mania* - по-

гречески, *navi* и *mesugan* - по-еврейски, а *nigrata* - по-санскритски означают и сумасшествие, и пророчество.

Феликс Платер утверждает, что знал многих людей, которые, отличаясь замечательным талантом в разных искусствах, в то же время были помешанными. Помешательство их выражалось нелепой страстью к похвалам, а также странными и неприличными поступками. Между прочим, Платер встретил при дворе пользовавшихся большой славой архитектора, скульптора и музыканта, несомненно сумасшедших. Еще более выдающиеся факты собраны Ф. Газони в Италии, в "Больнице для неизлечимых душевнобольных". Сочинение его переведено (на итальянский язык) Лонгоалем в 1620 году. Из более близких к нам писателей Паскаль постоянно говорил, что величайшая гениальность граничит с полнейшим сумасшествием, и впоследствии доказал это на собственном примере. То же самое подтвердил и Гекарт (Hecart) относительно своих товарищей, ученых и в то же время помешанных, подобно ему самому. Наблюдения свои он издал в 1823 году под названием: "Стультициана, или Краткая библиография сумасшедших, находящихся в Валенсъене, составленная помешанным". Тем же предметом занимались Дельньер, страстный библиограф, в своей интересной "*Histoire litteraire des fous*", 1860 года, Форг - в прекрасном очерке, помещенном в *Revue de Paris*, 1826 года, и неизвестный автор в "Очерках Бедлама" (*Sketches in Bedlam*. Лондон, 1873).

За последнее время Лелю - в *Demon de Socrate*, 1856 года, и *BAmulet de Pascal*, 1846 года, Вегра - в *Lipemania del Tasso*, 1850 года, и Ломброзо в *Pazzia di Cardano*, 1856 года, доказали, что многие гениальные люди, например Свифт, Лютер, Кардано, Бругам и другие, страдали умопомешательством, галлюцинациями или были мономанами в продолжение долгого времени. Моро, с особенной любовью останавливающийся на фактах наименее правдоподобных, в своем последнем сочинении *Psychologia morbide* и Шиллинг в своих *Psychiatische Briefe*, 1863 года, пытались доказать при помощи тщательных, хотя и не всегда строго научных исследований, что гений есть, во всяком случае, нечто вроде нервной ненормальности, нередко переходящей в настоящее сумасшествие. Подобные же выводы, приблизительно, сделаны Гагеном в его статье "О сродстве между гениальностью и безумием" (*Veber die Verwandtschaft Genies und Irresein*, Berlin. 1877) и отчасти также Юргеном Мейером (*Jurgen Meyer*) в его прекрасной монографии "Гений и талант". Оба эти ученые,

пытавшиеся более точно установить физиологию гения, пришли путем самого тщательного анализа фактов к тем же заключениям, какие высказал более ста лет тому назад, скорее на основании опыта, чем строгих наблюдений, один итальянский иезуит, Беттинелли, в своей, теперь уже совершенно забытой, книге Dell'entusiasmo nelle belle arti. Милан, 1769.

II. СХОДСТВО ГЕНИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ С ПОМЕШАННЫМИ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

Как ни жесток и печален такого рода парадокс, но, рассматривая его с научной точки зрения, мы найдем, что в некоторых отношениях он вполне основателен, хотя с первого взгляда и кажется нелепым.

Многие из великих мыслителей подвержены, подобно помешанным, судорожным сокращениям мускулов и отличаются резкими, так называемыми "хореическими", телодвижениями. Так, о Ленау и Монтескье рассказывают, что на полу у столов, где они занимались, можно было заметить углубления от постоянного подергивания их ног. Бюффон, погруженный в свои размышления, забрался однажды на колокольню и спустился оттуда по веревке совершенно бессознательно, как будто в припадке сомнамбулизма. Сантейль, Кребийон, Ломбардини имели странную мимику, похожую на гримасы. Наполеон страдал постоянным подергиванием правого плеча и губ, а во время припадков гнева - также и икр. "Я, вероятно, был очень рассержен, - признавался он сам однажды после горячего спора с Лоу, - потому что чувствовал дрожание моих икр, чего со мной давно уже не случалось". Петр Великий был подвержен подергиваниям лицевых мускулов, ужасно искажавших его лицо.

"Лицо Кардуччи, - говорит Мантегацца, - по временам напоминает собою ураган: из глаз его сыплются молнии, а дрожание мускулов походит на землетрясение".

Ампер не мог иначе говорить, как ходя и шевеля всеми членами. Известно, что обычный состав мочи и в особенности содержание в ней мочевины заметно изменяется после маниакальных приступов. То же самое замечается и после усиленных умственных занятий. Уже много лет тому назад Гольдинг Берд сделал наблюдение, что у одного английского проповедника, всю неделю проводившего в праздности и только по воскресеньям с большим жаром произносившего проповеди, именно в этот

день значительно увеличивалось в моче содержание фосфорнокислых солей, тогда как в другие дни оно было крайне ничтожно. Впоследствии Смит многими наблюдениями подтвердил тот факт, что при всяком умственном напряжении увеличивается количество мочевины в моче, и в этом отношении аналогия между гениальностью и сумасшествием представляется несомненной.

На основании такого ненормального изобилия мочевины или, скорее, на основании этого нового подтверждения закона о равновесии между силой и материей, управляющего всем миром живых существ, можно вывести еще и другие, более изумительные аналогии: например, седины и облысение, худоба тела, а также плохая мускульная и половая деятельность, свойственные всем помешанным, очень часто встречаются и у великих мыслителей. Цезарь боялся бледных и худых Кассиев. Д'Аламбер, Фенелон, Наполеон были в молодости худы как скелеты. О Вольтере Сегюр пишет: "Худоба доказывает, как много он работает; изможденное и согбенное тело его служит только легкой, почти прозрачной оболочкой, сквозь которую как будто видишь душу и гений этого человека".

Бледность всегда считалась принадлежностью и даже, украшением великих людей. Кроме того, мыслителям наравне с помешанными свойственны: постоянное переполнение мозга кровью (гиперемия), сильный жар в голове и охлаждение конечностей, склонность к острым болезням мозга и слабая чувствительность к голоду и холоду.

О гениальных людях, точно так же, как и о сумасшедших, можно сказать, что они всю жизнь остаются одинокими, холодными, равнодушными к обязанностям семьянина и члена общества. Микеланджело постоянно твердил, что его искусство заменяет ему жену. Гете, Гейне, Байрон, Челлини, Наполеон, Ньютон хотя и не говорили этого, но своими поступками доказывали еще нечто худшее.

Нередки случаи, когда вследствие тех же причин, которые так часто вызывают сумасшествие, т.е. вследствие болезней и повреждений головы, самые обыкновенные люди превращаются в гениальных. Вико в детстве упал с высочайшей лестницы и раздробил себе правую теменную кость. Гратри, вначале плохой певец, сделался знаменитым артистом после сильного ушиба головы бревном. Мабиль-он, смолоду совершенно слабоумный, достиг известности своими талантами, которые развились

в нем вследствие полученной им раны в голову. Галль, сообщивший этот факт, знал одного датчанина-полуидиота, умственные способности которого сделались блестящими после того, как он, 13 лет, свалился с лестницы головою вниз ³⁾. Несколько лет тому назад один кретин из Савойи, укушенный бешеной собакой, сделался совершенно разумным человеком в последние дни своей жизни. Доктор Галле знал ограниченных людей, умственные способности которых необыкновенно развились вследствие болезней мозга (mi-dollo).

"Очень может быть, что моя болезнь (болезнь спинного мозга) придала моим последним произведениям какой-то ненормальный оттенок", - говорит с удивительной прозорливостью Гейне в одном из своих писем. Нужно, впрочем, прибавить, что болезнь отразилась таким образом не только на его последних произведениях, и он сам признавал это. Еще за несколько месяцев до усиления своей болезни Гейне писал о себе (Correspondance inedite. Paris, 1877): "Мое умственное возбуждение есть скорее результат болезни, чем гениальности - чтоб хотя немного утишить мои страдания, я сочинял стихи. В эти ужасные ночи, обезумев от боли, бедная голова моя мечется из стороны в сторону и заставляет звенеть с жестокой веселостью бубенчики изношенного дурацкого колпака".

Биша и фон дер Колюк заметили, что у людей с искривленной шеей ум бывает живее, чем у людей обыкновенных. У Конолли был один больной, умственные способности которого возбуждались во время операций над ним, и несколько таких больных, которые проявляли особенную даровитость в первые периоды чахотки и подагры. Всем известно, каким остроумием и хитростью отличаются горбатые; Рокитанский пытался даже объяснить это тем, что у них аорта, дав сосуды, идущие к голове, делает изгиб, вследствие чего является расширение объема сердца и увеличение артериального давления в черепе.

Этой зависимостью гения от патологических изменений отчасти можно объяснить любопытную особенность гениальности по сравнению с талантом, в том отношении, что она является чем-то бессознательным и проявляется совершенно неожиданно.

Юрген Мейер говорит, что талантливый человек действует строго обдуманно; он знает, как и почему он пришел к известной теории, тогда как гению это совершенно неизвестно: всякая творческая деятельность

бессознательна.

Гайдн приписывал таинственному дару, ниспосланному свыше, создание своей знаменитой оратории "Сотворение мира". "Когда работа моя плохо подвигалась вперед, - говорил он, - я, с четками в руках, удалялся в молельню, прочитывал Богородицу - и вдохновение снова возвращалось ко мне".

Итальянская поэтесса Милли во время создания, почти невольного, своих чудных стихотворений волнуется, кричит, поет, бежит взад и вперед и как будто находится в припадке эпилепсии.

Те из гениальных людей, которые наблюдали за собою, говорят, что под влиянием вдохновения они испытывают какое-то невыразимо-приятное лихорадочное состояние, во время которого мысли невольно рождаются в их уме и брызжут сами собою, точно искры из горящей головни.

Это прекрасно выразил Данте в следующих трех строках:

... I mi son un che, quando

Amore spira, noto ed in quel modo

Che detta dentro vo significando.

(Вдохновляемый любовью, я говорю то, что она подсказывает мне.)

Наполеон говорил, что исход битв зависит от одного мгновения, от одной мысли, временно остававшейся бездеятельной; при наступлении благоприятного момента она вспыхивает, подобно искре, и в результате является победа (Моро).

Бауэр говорит, что лучшие стихотворения Ку были продиктованы им в состоянии, близком к умопомешательству. В те минуты, когда с уст его слетали эти чудные строфы, он был не способен рассуждать даже о самых простых вещах.

Фосколо сознается в своем Epistolario, лучшем произведении этого великого ума, что творческая способность писателя обуславливается особым родом умственного возбуждения (лихорадки), которое нельзя вызвать по своему произволу.

"Я пишу свои письма, - говорит он, - не для отечества и не

ради славы, но для того внутреннего наслаждения, какое доставляет нам упражнение наших способностей".

Беттинелли называет поэтическое творчество сном с открытыми глазами, без потери сознания, и это, пожалуй, справедливо, так как многие поэты диктовали свои стихи в состоянии, похожем на, сон.

Гете тоже говорит, что для поэта необходимо известное мозговое раздражение и что он сам сочинял многие из своих песен, находясь как бы в припадке сомнамбулизма.

Клопшток сознается, что, когда он писал свою поэму, вдохновение часто являлось к нему во время сна.

Во сне Вольтер задумал одну из песен Генриады, Сардини - теорию игры на флажолете, а Секендорф - свою прелестную песню о Фантазии. Ньютон и Кардано во сне разрешали математические задачи.

Муратори во сне составил пентаметр на латинском языке много лет спустя после того, как перестал писать стихи. Говорят, что во время сна Лафонтен сочинил басню "Два голубя", а Кондильяк закончил лекцию, начатую накануне.

"Кубла" Кольриджа и "Фантазия" Гольде были сочинены во сне.

Моцарт признавался, что музыкальные идеи являются у него невольно, подобно сновидениям, а Гофман часто говорил своим друзьям: "Я работаю, сидя за фортепьяно с закрытыми глазами, и воспроизвожу то, что подсказывает мне кто-то со стороны".

Лагранж замечал у себя неправильное биение пульса, когда писал, у Альфьери же в это время темнело в глазах.

Ламартин часто говорил: "Не я сам думаю, но мои мысли думают за меня".

Альфьери, называвший себя барометром - до такой степени изменялись его творческие способности смотря по времени года, - с наступлением сентября не мог противиться овладевавшему им невольному побуждению, до того сильному, что он должен был уступить и написал шесть комедий. На одном из своих сонетов он собственноручно сделал такую надпись: "Случайный. Я не хотел его писать". Это преобладание бессознательного в творчестве гениальных людей замечено было еще в

древности.

Сократ первый указал на то, что поэты создают свои произведения не вследствие старания или искусства, но благодаря некоторому природному инстинкту. Таким же образом прорицатели говорят прекрасные вещи, совершенно не сознавая этого.

"Все гениальные произведения, - говорит Вольтер в письме к Дидро, - созданы инстинктивно. Философы целого мира вместе не могли бы написать Армиды Кино или басни "Мор зверей", которую Лафонтен диктовал, даже не зная хорошенько, что из нее выйдет. Корнель написал трагедию "Гораций" так же инстинктивно, как птица вьет гнездо".

Таким образом, величайшие идеи мыслителей, подготовленные, так сказать, уже полученными впечатлениями и в высшей степени чувствительной организацией субъекта, рождаются внезапно и развиваются настолько же бессознательно, как и необдуманные поступки помешанных. Этой же бессознательностью объясняется непоколебимость убеждений в людях, усвоивших себе фанатически известные убеждения. Но как только прошел момент экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности (равновесия) есть один из признаков гениальной натуры. Дизраэли отлично выразил это, когда сказал, что у лучших английских поэтов, Шекспира и Драйдена, можно встретить и самые плохие стихи. О живописце Тинторетто говорили, что он бывает то выше Карраччи, то ниже Тинторетто.

Овидию вполне правильно объясняет неодинаковость слога Тассо его же собственным признанием, что, когда исчезало вдохновение, он путался в своих сочинениях, не узнавал их и не в состоянии был оценить их достоинства.

Не подлежит никакому сомнению, что между помешанным во время припадка и гениальным человеком, обдумывающим и создающим свое произведение, существует полнейшее сходство.

Припомните латинскую пословицу: "Aut insanit homo, aut versus fecit" ("Или безумец, или стихоплет").

Вот как описывает состояние Тассо врач Ревелье-Парат:

"Пульс слабый и неровный, кожа бледная, холодная, голова горячая, воспаленная, глаза блестящие, налитые

кровью, беспокойные, бегающие по сторонам. По окончании периода творчества часто сам автор не понимает того, что он минуту тому назад излагал".

Марини, когда писал *Adone*, не заметил, что сильно обжег ногу. Тассо в период творчества казался совершенно помешанным. Кроме того, обдумывая что-нибудь, многие искусственно вызывают прилив крови к мозгу, как, например, Шиллер, ставивший ноги в лед, Питт и Фокс, приготовлявшие свои речи после неумеренного употребления портера, и Паизиелло, сочинявший не иначе как укрывшись множеством одеял. Мильтон и Декарт опрокидывались головою на диван, Боссюэ удалялся в холодную комнату и клал себе на голову теплые припарки; Куйас (*Cujas*) работал лежа вниз лицом на ковре. О Лейбнице сложилась поговорка, что он мыслил только в горизонтальном положении - до такой степени оно было необходимо ему для умственной деятельности. Мильтон сочинял запрокинув, голову назад, на подушку, а Тома (*Thomas*) и Россини - лежа в постели; Руссо обдумывал свои произведения под ярким полуденным солнцем с открытой головой.

Очевидно, все они инстинктивно употребляли такие средства, которые временно усиливают прилив крови к голове в ущерб остальным членам тела. Здесь кстати упомянуть о том, что многие из даровитых и в особенности гениальных людей злоупотребляли спиртными напитками. Не говоря уже об Александре Великом, который под влиянием опьянения убил своего лучшего друга и умер после того, как десять раз осушил кубок Геркулеса, - самого Цезаря солдаты часто приносили домой на своих плечах. Сократ, Сенека, Алкивиад, Катон, а в особенности Септимий Север и Махмуд II до такой степени отличались неводержанностью, что все умерли от пьянства вследствие белой горячки. Запоем страдали также Коннетабль Бурбонский, Авиценна, о котором говорят, что он посвятил вторую половину своей жизни на то, чтобы доказать всю бесполезность научных сведений, приобретенных им в первую половину, и многие живописцы, например Карраччи, Стен (*Steen*), Барбателли, и целая плеяда поэтов - Мюрже, Жерар де Нерваль, Мюссе, Клейст, Майлат и во главе их Тассо, писавший в одном из своих писем: "Я не отрицаю, что я безумец; но мне приятно думать, что мое безумие произошло от пьянства и любви, потому что я действительно пью много".

Немало пьяниц встречается и в числе великих музыкантов, например Дюссек, Гендель и Глюк,

говоривший, что "он считает вполне справедливым любить золото, вино и славу, потому что первое дает ему средство иметь второе, которое, вдохновляя, доставляет ему славу". Впрочем, кроме вина, он любил также водку и наконец опился ею.

Замечено, что почти все великие создания мыслителей получают окончательную форму или по крайней мере выясняются под влиянием какого-нибудь специального ощущения, которое играет здесь, так сказать, роль капли соленой воды в хорошо устроенном вольтовом столбе. Факты доказывают, что все великие открытия были сделаны под влиянием органов чувств, как это подтверждает и Молешотт. Несколько лягушек, из которых предполагалось приготовить целебный отвар для жены Гальвани, послужили к открытию гальванизма. Изохронические (одновременные) качания люстры и падение яблока натолкнули Ньютона и Галилея на создание великих систем. Альфьери сочинял и обдумывал свои трагедии, слушая музыку. Моцарт при виде апельсина вспомнил народную неаполитанскую песенку, которую слышал пять лет тому назад, и тотчас же написал знаменитую кантату к опере "Дон Жуан". Взглянув на какого-то носильщика, Леонардо задумал своего Иуду, а Торвальдсен нашел подходящую позу для сидящего ангела при виде кривляний своего натурщика. Вдохновение впервые осенило Сальваторе Розу в то время, когда он любовался видом Позилино, а Хогарт нашел типы для своих карикатур в таверне, после того как один пьяница разбил там ему нос в драке. Мильтону, Бэкону, Леонардо и Варбуртону необходимо было слышать звон колоколов, для того чтобы приняться за работу; Бурдалу, перед тем как диктовать свои бессмертные проповеди, всегда наигрывал на скрипке какую-нибудь арию. Чтение одной оды Спенсера возбудило в Коулее склонность к поэзии, а книга Сакробозе заставила Гаммада пристраститься к астрономии. Рассматривая рака, Уатт напал на мысль об устройстве чрезвычайно полезной в промышленности машины, а Гиббон задумал писать историю Греции после того, как увидел развалины Капитолия ⁴⁾.

Но ведь точно так же известные ощущения вызывают помешательство или служат исходной точкой его, являясь иногда причиной самых страшных припадков бешенства. Так, например, кормилица Гумбольдта сознавалась, что вид свежего, нежного тела ее питомца возбуждал в ней неудержимое желание зарезать его. А сколько людей были вовлечены в убийство, поджог или разрывание могил при виде топора, пылающего костра и трупа!

Следует еще прибавить, что вдохновение, экстаз всегда, переходят в настоящие галлюцинации, потому что человек видит тогда предметы, существующие лишь в его воображении. Так, Гросси рассказывал, что однажды ночью, после того как он долго трудился над описанием появления призрака Прина, он увидел этот призрак перед собою и должен был зажечь свечу, чтобы избавиться от него. Балль рассказывает о сыне (successore) Рейнолдса, что он мог делать до 300 портретов в год, так как ему было достаточно посмотреть на кого-нибудь в продолжение получаса, пока он набрасывал эскиз, чтобы потом уже это лицо постоянно было перед ним, как живое. Живописец Мартини всегда видел перед собою картины, которые писал, так что однажды, когда кто-то встал между ним и тем местом, где представлялось ему изображение, он попросил этого человека посторониться, потому что для него невозможно было продолжать копирование, пока существовавший лишь в его воображении оригинал был закрыт. Лютер слышал от сатаны аргументы, которых раньше не мог придумать сам.

Если мы обратимся теперь к решению вопроса - в чем именно состоит физиологическое отличие гениального человека от обыкновенного, то, на основании автобиографий и наблюдений, найдем, что по большей части вся разница между ними заключается в утонченной и почти болезненной впечатлительности первого. Дикарь или идиот малочувствительны к физическим страданиям, страсти их немногочисленны, из ощущений же воспринимаются ими лишь те, которые непосредственно касаются их в смысле удовлетворения жизненных потребностей. По мере развития умственных способностей впечатлительность растет и достигает наибольшей силы в гениальных личностях, являясь источником их страданий и славы. Эти избранные натуры более чувствительны в количественном и качественном отношении, чем простые смертные, а воспринимаемые ими впечатления отличаются глубиной, долго остаются в памяти и комбинируются различным образом. Мелочи, случайные обстоятельства, подробности, незаметные для обыкновенного человека, глубоко западают им в душу и перерабатываются на тысячу ладов, чтобы воспроизвести то, что обыкновенно называют творчеством, хотя это только бинарные и кватернарные комбинации ощущений.

Галлер писал о себе: "Что осталось у меня, кроме впечатлительности, этого могучего чувства, являющегося следствием темперамента, который живо воспринимает радости любви и чуда науки? Даже теперь я бываю тронут до слез, когда читаю описание какого-нибудь

великодушного поступка. Свойственная мне чувствительность, конечно, и придает моим стихотворениям тот страстный тон, которого нет у других поэтов".

"Природа не создала более чувствительной души, чем моя", - писал о себе Дидро. В другом месте он говорит: "Увеличьте число чувствительных людей, и вы увеличите количество хороших и дурных поступков". Когда Альфьери в первый раз услышал музыку, то был, по его словам, "поражен до такой степени, как будто яркое солнце ослепило мне зрение и слух; несколько дней после того я чувствовал необыкновенную грусть, не лишенную приятности; фантастические идеи толпились в моей голове, и я способен был писать стихи, если бы знал тогда, как это делается..." В заключение он говорит, что ничто не действует на душу так неотразимо могущественно, как музыка. Подобное же мнение высказывали Стерн, Руссо и Ж. Санд.

Корради доказывает, что все несчастья Леопарди и самая его философия были вызваны излишней чувствительностью и неудовлетворенной любовью, которую он в первый раз испытал на 18-м году. И действительно, философия Леопарди принимала более или менее мрачный оттенок, смотря по состоянию его здоровья, пока наконец грустное настроение не обратилось у него в привычку.

Урквициа падал в обморок, услышав запах розы.

Стерн, после Шекспира наиболее глубокий из поэтов-психологов, говорит в одном письме: "Читая биографии наших древних героев, я плачу о них, как будто о живых людях... Вдохновение и впечатлительность - единственные орудия гения. Последняя вызывает в нас те восхитительные ощущения, которые придают большую силу радости и вызывают слезы умиления".

Известно, в каком рабском подчинении находились Альфьери и Фосколо у женщин, не всегда достойных такого обожания. Красота и любовь Форнарины служили для Рафаэля источником вдохновения не только в живописи, но и в поэзии. Несколько его эротических стихотворений до сих пор еще не утратили своей прелести.

А как рано проявляются страсти у гениальных людей! Данте и Альфьери были влюблены в 9 лет, Руссо - 11, Каррон и Байрон - 8. С последним уже на 16-м году

сделались судороги, когда он узнал, что любимая им девушка выходит замуж. "Горе душило меня, - рассказывает он, - хотя половое влечение мне было еще незнакомо, но любовь я чувствовал до того страстную, что вряд ли и впоследствии испытал более сильное чувство". На одном из представлений Кица с Байроном случился припадок конвульсий.

Лорби видел ученых, падавших в обморок от восторга при чтении сочинений Гомера.

Живописец Франчия (Francia) умер от восхищения, после того как увидел картину Рафаэля.

Ампер до такой степени живо чувствовал красоты природы, что едва не умер от счастья, очутившись на берегу Женевского озера. Найдя решение какой-то задачи, Ньютон был до того потрясен, что не мог продолжать своих занятий. Гей-Люссак и Дэви после сделанного ими открытия начали в туфлях плясать по своему кабинету. Архимед, восхищенный решением задачи, в костюме Адама выбежал на улицу с криком: "Эврика!" ("Нашел!") Вообще, сильные умы обладают и сильными страстями, которые придают особенную живость всем их идеям; если у некоторых из них многие страсти и бледнеют, как бы замирают со временем, то это лишь потому, что мало-помалу их заглушает преобладающая страсть к славе или к науке.

Но именно эта слишком сильная впечатлительность гениальных или только даровитых людей является в громадном большинстве случаев причиной их несчастий, как действительных, так и воображаемых.

"Драгоценный и редкий дар, составляющий привилегию великих гениев, - пишет Мантегацца, - сопровождается, однако же, болезненной чувствительностью ко всем, даже самым мелким, внешним раздражениям: каждое дуновение ветерка, малейшее усиление жара или холода превращается для них в тот засохший розовый лепесток, который не давал заснуть несчастному сибариту". Лафонтен, может быть, разумел самого себя, когда писал:

"Un souffle, une rien leur donne la fièvre".

[Малейшее дуновение ветра, ничтожное облачко, каждый пустяк вызывает у них лихорадку.]

Гений раздражается всем, и что для обыкновенных людей кажется просто булавочными уколами, то при его

чувствительности уже представляется ему ударом кинжала.

Буало и Шатобриан не могли равнодушно слышать похвал кому бы то ни было, даже своему сапожнику.

Когда Фосколо разговаривал однажды с госпожой S., пишет Мантегацца, за которой сильно ухаживал, и та зло подсмеялась над ним, он пришел в такую ярость, что закричал: "Вам хочется убить меня, так я сейчас же у ваших ног размозжу себе череп". С этими словами он со всего размаха бросился головой вниз на угол камина. Одному из стоявших вблизи удалось, однако же, удержать его за плечи и тем спасти ему жизнь.

Болезненная впечатлительность порождает также и непомерное тщеславие, которым отличаются не только люди гениальные, но и вообще ученые, начиная с древнейших времен; в этом отношении те и другие представляют большое сходство с мономаньяками, страдающими горделивым помешательством.

"Человек - самое тщеславное из животных, а поэты - самые тщеславные из людей", - писал Гейне, подразумевая, конечно, и самого себя. В другом письме он говорит: "Не забывайте, что я - поэт и потому думаю, что каждый должен бросить все свои дела и заняться чтением стихов".

Менке рассказывает о Филельфо, как он воображал, что в целом мире даже в числе древних никто не знал лучше его латинский язык. Аббат Каньоли до того гордился своей поэмой о битве при Аквилее, что приходил в ярость, когда кто-нибудь из литераторов не раскланивался с ним. "Как, вы не знаете Каньоли?" - спрашивал он.

Поэт Люций не вставал с места при входе Юлия Цезаря в собрание поэтов, потому что считал себя выше его в искусстве стихосложения.

Ариосто, получив лавровый венок от Карла V, бегал точно сумасшедший по улицам. Знаменитый хирург Порта, присутствуя в Ломбардском институте при чтении медицинских сочинений, всячески старался выразить свое презрение и недовольство ими, каково бы ни было их достоинство, тогда как сочинения по математике или лингвистике он выслушивал спокойно и внимательно.

Шопенгауэр приходил в ярость и отказывался платить по счетам, если его фамилия была написана через два п.

Бартез потерял сон с отчаяния, когда при печатании его "Гения" (Genie) не был поставлен знак над е. Уайстон, по свидетельству Араго, не решался издать опровержение ньютоновской хронологии из боязни, как бы Ньютон не убил его.

Все, кому выпадало на долю редкое счастье жить в обществе гениальных людей, поражались их способностью перетолковывать в дурную сторону каждый поступок окружающих, видеть всюду преследования и во всем находить повод к глубокой, бесконечной меланхолии. Эта способность обуславливается именно более сильным развитием умственных сил, благодаря которым даровитый человек более способен находить истину и в то же время легче придумывает ложные доводы в подтверждение основательности своего мучительного заблуждения. Отчасти мрачный взгляд гениев на окружающее зависит, впрочем, и от того, что, являясь новаторами в умственной сфере, они с непоколебимой твердостью высказывают убеждения, не сходные с общепринятым мнением, и тем отталкивают от себя большинство дюжинных людей.

Но все-таки главнейшую причину меланхолии и недовольства жизнью избранных натур составляет закон динамизма и равновесия, управляющий также и нервной системой, закон, по которому вслед за чрезмерной тратой или развитием силы является чрезмерный упадок той же самой силы, - закон, вследствие которого ни один из жалких смертных не может проявить известной силы без того, чтобы не поплатиться за это в другом отношении, и очень жестоко, наконец, тот закон, которым обуславливается неодинаковая степень совершенства их собственных произведений.

Меланхолия, уныние, застенчивость, эгоизм - вот жестокая расплата за высшие умственные дарования, которые они тратят, подобно тому как злоупотребления чувственными наслаждениями влекут за собою расстройство половой системы, бессилие и болезни спинного мозга, а неумеренность в пище сопровождается желудочными катарами.

После одного из тех экстазов, во время которых поэтесса Милли обнаруживает до того громадную силу творчества, что ее хватило бы на целую жизнь второстепенным итальянским поэтам, она впала в полупаралитическое состояние, продолжавшееся несколько дней. Магомет по окончании своих проповедей впадал в состояние полного оупения и однажды сам сказал Абу-Бекру, что

толкование трех глав Корана довело его до одурения.

Гете, сам холодный Гете, сознавался, что его настроение бывает то чересчур веселым, то чересчур печальным.

Вообще, я не думаю, чтобы в целом мире нашелся хотя один великий человек, который, даже в минуты полного блаженства, не считал бы себя, без всякого повода, несчастным и гонимым или хотя временно не страдал бы мучительными припадками меланхолии.

Иногда чувствительность искажается и делается односторонней, сосредоточиваясь на одном каком-нибудь пункте. Несколько идей известного порядка и некоторые особенно излюбленные ощущения мало-помалу приобретают значение главного (специфического) стимула, действующего на, мозг великих людей и даже на весь их организм.

Гейне, сам признававший себя неспособным понимать простые вещи, Гейне, разбитый параличом, слепой и находившийся уже при последнем издыхании, когда ему посоветовали обратиться к Богу, прервал хрипение агонии словами: "Dieu me pardonnera - c'est son metier", закончив этой последней иронией свою жизнь, эстетически-циничнее которой не было в наше время. Об Аретино рассказывают, что последние слова его были: "Guardatemi dai topi or che son unto".

Малерб, совсем уже умирающий, поправлял грамматические ошибки своей сиделки и отказался от напутствия духовника потому, что он нескладно говорил.

Богур (Baugours), специалист грамматики, умирая, сказал: "Je vais ou je va mourir" - "то и другое правильно".

Сантени (Santenis) сошел с ума от радости, найдя эпитет, который тщетно приискивал долгое время. Фосколо говорил о себе: "Между тем как в одних вещах я в высшей степени понятлив, относительно других понимание у меня не только хуже, чем у всякого мужчины, но хуже, чем у женщины или у ребенка".

Известно, что Корнель, Декарт, Виргилий, Аддисон, Лафонтен, Драйден, Манцони, Ньютон почти совершенно не умели говорить публично.

Пуассон говорил, что жить стоит лишь для того, чтобы заниматься математикой. Д'Аламбер и Менаж, спокойно переносившие самые мучительные операции, плакали от

легких уколов критики. Лючио де Лансеваль смеялся, когда ему отрезали ногу, но не мог вынести резкой критики Жофруа.

Шестидесятилетний Линней, впавший в паралитическое и бессмысленное состояние после апоплексического удара, пробуждался от сонливости, когда его подносили к гербария, который он прежде особенно любил.

Когда Ланьи лежал в глубоком обмороке и самые сильные средства не могли возбудить в нем сознания, кто-то вздумал спросить у него, сколько будет 12 в квадрате, и он тотчас же ответил: 144.

Себуйа, арабский грамматик, умер с горя оттого, что с его мнением относительно какого-то грамматического правила не соглашался халиф Гарун аль-Рашид.

Следует еще заметить, что среди гениальных или скорее ученых людей часто встречаются те узкие специалисты, которых Вахдакоф (Wachdakoff) называет монотипичными субъектами; они всю жизнь занимаются одним каким-нибудь выводом, сначала занимающим их мозг и затем уже охватывающим его всецело: так, Бекман в продолжение целой жизни изучал патологию почек, Фреснер - луну, Мейер - муравьев, что представляет огромное сходство с мономанами.

Вследствие такой преувеличенной и сосредоточенной чувствительности как великих людей, так и помешанных чрезвычайно трудно убедить или разубедить в чем бы то ни было. И это понятно: источник истинных и ложных представлений лежит у них глубже и развит сильнее, нежели у людей обыкновенных, для которых мнения составляют только условную форму, род одежды, меняемой по прихоти моды или по требованию обстоятельств. Отсюда следует, с одной стороны, что не должно никому верить безусловно, даже великим людям, а с другой стороны, что моральное лечение мало приносит пользы помешанным.

Крайнее и одностороннее развитие чувствительности, без сомнения, служит причиной тех странных поступков, вследствие временной анестезии* и анальгезии ²⁾, которые свойственны великим гениям наравне с помешанными. Так, о Ньютоне рассказывают, что однажды он стал набивать себе трубку пальцем своей племянницы и что, когда ему случалось уходить из комнаты, чтобы принести какую-нибудь вещь, он всегда возвращался, не захватив ее. О Тюшереле говорят, что один раз он забыл даже, как

его зовут.

Бетховен и Ньютон, принявшись - один за музыкальные композиции, а другой за решение задач, до такой степени становились нечувствительными к голоду, что бранили слуг, когда те приносили им кушанья, уверяя, что они уже пообедали.

Джиоия в припадке творчества написал целую главу на доске письменного стола вместо бумаги.

Аббат Беккария, занятый своими опытами, во время служения обедни произнес, забывшись: "Ite, experientia facta est" ("А все-таки опыт есть факт").

Дидро, нанимая извозчиков, забывал отпускать их, и ему приходилось платить им за целые дни, которые они напрасно простаивали у его дома; он же часто забывал месяцы, дни, часы, даже тех лиц, с кем начинал разговаривать, и, точно в припадке сомнамбулизма, произносил целые монологи перед ними.

Подобным же образом объясняется, почему великие гении не могут иногда усвоить понятий, доступных самым дюжинным умам, и в то же время высказывают такие смелые идеи, которые большинству кажутся нелепыми. Дело в том, что большей впечатлительности соответствует и большая ограниченность мышления (*conchetto*). Ум, находящийся под влиянием экстаза, не воспринимает слишком простых и легких положений, не соответствующих его мощной энергии. Так, Монж, делавший самые сложные дифференциальные вычисления, затруднялся в извлечении квадратного корня, хотя эту задачу легко решил бы всякий ученик.

Гаген считает оригинальность именно тем качеством, которое резко отличает гений от таланта. Точно так же Юрген Мейер говорит: "Фантазия талантливого человека воспроизводит уже найденное, фантазия гения - совершенно новое. Первая делает открытия и подтверждает их, вторая изобретает и создает. Талантливый человек - это стрелок, попадающий в цель, которая кажется нам труднодостижимой; гений попадает в цель, которой даже и не видно для нас. Оригинальность - в натуре гения".

Беттинелли считает оригинальность и грандиозность главными отличительными признаками гения. "Потому-то, - говорит он, - поэты и назывались прежде *trovadori*"

(изобретатели).

Гений обладает способностью угадывать то, что ему не вполне известно: например, Гете подробно описал Италию, еще не видавши ее. Именно вследствие такой прозорливости, возвышающейся над общим уровнем, и благодаря тому, что гений, поглощенный высшими соображениями, отличается от толпы в сверхпоступках или даже, подобно сумасшедшим (но в противоположность талантливым людям), обнаруживает склонность к беспорядочности, - гениальные натуры встречают презрение со стороны большинства, которое, не замечая промежуточных пунктов в их творчестве, видит только разноречие сделанных ими выводов с общепризнанными и странности в их поведении. Еще не так давно публика освистала "Севильского цирюльника" Россини и "Фиделио" Бетховена, а в наше время той же участи подверглись Бойто (Мефистофель) и Вагнер. Сколько академиков с улыбкой сострадания отнеслись к бедному Марцоло, который открыл совершенно новую область филологии; Ббляи (Bolyai), открывшего четвертое измерение и написавшего антиевклидову геометрию, называли геометром сумасшедших и сравнивали с мельником, который вздумал бы перемалывать камни для получения муки. Наконец, всем известно, каким недоверием были некогда встречены Фултон, Колумб, Папин, а в наше время Пиатти, Прага и Шлиман, который отыскал Илион там, где его и не подозревали, и, показав свое открытие ученым академикам, заставил умолкнуть их насмешки над собой.

Кстати, самые жестокие преследования гениальным людям приходится испытывать именно от ученых академиков, которые в борьбе против гения, обусловливаемой тщеславием, пускают в ход свою "ученость", а также обаяние их авторитета, по преимуществу признаваемого за ними как дюжинными людьми, так и правящими классами, тоже по большей части состоящими из дюжинных людей.

Есть страны, где уровень образования очень низок и где поэтому с презрением относятся не только к гениальным, но даже к талантливым людям. В Италии есть два университетских города, из которых всевозможными преследованиями заставили удалиться людей, составлявших единственную славу этих городов. Но оригинальность, хотя почти всегда бесцельная, нередко замечается также в поступках людей помешанных, в особенности же в их сочинениях, которые только вследствие этого получают иногда оттенок гениальности,

как, например, попытка Бернарда, находившегося в флорентийской больнице для умалишенных в 1529 году, доказать, что обезьяны обладают способностью членораздельной речи (*linguaggio*). Между прочим, гениальные люди отличаются наравне с помешанными и склонностью к беспорядочности, и полным неведением практической жизни, которая кажется им такой ничтожной в сравнении с их мечтами.

Оригинальностью же обуславливается склонность гениальных и душевнобольных людей придумывать новые, непонятные для других слова или придавать известным словам особый смысл и значение, что мы находим у Вико, Карраро, Альфьери, Марцоло и Данте.

1) Покойный митрополит Московский Макарий, отличавшийся замечательно светлым умом, был до того болезненным и тупым ребенком, что совершенно не мог учиться. Но в семинарии кто-то из товарищей, во время игры, прошиб ему голову камнем, и после того способности Макария сделались блестящими, а здоровье совершенно поправилось.

2) Гете создал свою теорию развития черепа по общему типу спинных позвонков во время прогулки, когда, толкнув ногою валявшийся на дороге череп овцы, увидел, что он разделился на три части.

3) Потеря осязательной чувствительности.

4) Потеря болевой чувствительности.

III ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ГЕНИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И НА ПОМЕШАННЫХ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

На основании целого ряда тщательных наблюдений, производившихся непрерывно в продолжение трех лет в моей клинике, я вполне убедился, что психическое состояние помешанных изменяется под влиянием колебаний барометра и термометра. Так, при повышении температуры до 25°, 30° и 32°, в особенности если оно происходит сразу, число маниакальных припадков у сумасшедших увеличивалось с 29 до 50; точно так же в те дни, когда барометр начинал резко колебаться и показывал максимум повышения, число припадков быстро увеличивалось с 34 до 46. Изучение 23 602 случаев сумасшествия доказало мне, что развитие умопомешательства совпадает обыкновенно с повышением температуры весной и летом и даже идет параллельно ему, но так, что весенняя жара, вследствие контраста после зимнего холода, действует еще сильнее летней, тогда как

сравнительно ровная теплота августовских дней оказывает менее губительное влияние. В следующие же затем более холодные месяцы замечается минимум новых заболеваний. Прилагаемая таблица показывает это вполне наглядно.

Месяц	Помешанных	Теплота	Месяц	Помешанных	Теплота
Июнь	2701	21°,29	Октябрь	1637	12°,77
Май	2642	16°,75	Сентябрь	1604	19°,00
Июль	2614	23°,75	Декабрь	1529	1°,01
Август	2261	21°,92	Февраль	1490	5°,73
Апрель	2237	16°,12	Январь	1476	1°,63
Март	1829	6°,60	Ноябрь	1452	7°,17

Полнейшая аналогия с этими явлениями замечается и в тех людях, которых – трудно сказать, благодетельная или жестокая, – природа более щедро одарила умственными способностями. Редкие из этих людей не высказывали сами, что атмосферные явления производят на них громадное влияние. В своих личных сношениях и в письмах они постоянно жалуются на вредное действие на них изменений температуры, с которым они должны иногда выдерживать ожесточенную борьбу, чтобы уничтожить или смягчить роковое влияние дурной погоды, ослабляющей и задерживающей смелый полет их фантазии. "Когда я здоров и погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком", – писал Монтень. "Во время сильных ветров мне кажется, что мозг у меня не в порядке", – говорил Дидро. Джиордани, по словам Мантегацца, за два дня предсказывал грозы. Мэн Биран (Maine Biran), философ-спиритуалист по преимуществу, пишет в своем дневнике: "Не понимаю, почему это в дурную погоду и ум, и воля у меня совершенно не те, как в ясные, светлые дни".

Я уподобляюсь барометру, – писал Альфьери, – и большая или меньшая легкость работы всегда соответствует у меня атмосферному давлению, – полнейшая тупость (stupidita) нападает на меня во время сильных ветров, ясность мысли у меня бесконечно слабее вечером, нежели утром, а в середине зимы и лета творческие способности мои бывают живее, чем в остальные времена года. Такая зависимость от внешних влияний, против которых я почти не в силах бороться,

смиряет меня.

Из этих примеров уже очевидно влияние колебаний барометра на гениальных людей, и большая аналогия в этом отношении между ними и помешанными; но еще заметнее, еще резче оказывается влияние температуры.

Наполеон, сказавший, что "человек есть продукт физических и нравственных условий", не мог выносить самого легкого ветра и до того любил тепло, что приказывал топить у себя в комнате даже в июле месяце. Кабинеты Вольтера и Бюффона отапливались во всякое время года. Руссо говорил, что солнечные лучи в летнюю пору вызывают в нем творческую деятельность, и он подставлял под них свою голову в самый полдень.

Байрон говорил о себе, что боится холода, точно газель. Гейне уверял, что он более способен писать стихи во Франции, чем в Германии с ее суровым климатом. "Гром гремит, идет снег, – пишет он в одном из своих писем, – в камине у меня мало огня, и письмо мое холодно".

Спалланцани, живя на Эолийских островах, мог заниматься вдвое больше, чем в туманной Павии. Леопарди в своем Эпистоларио говорит: "Мой организм не выносит холода, я жду и желаю наступления царства Ормузда".

Джустини писал весной: "Теперь вдохновение перестанет прятаться... если весна поможет мне, как и во всем остальном".

Джиордани не мог сочинять иначе, как при ярком свете солнца и в теплую погоду.

Фосколо писал в ноябре: "Я постоянно держусь около камина (огня), и друзья мои над этим смеются; я стараюсь придать моим членам теплоту, которую поглощает и перерабатывает внутри себя мое сердце". В декабре он уже писал: "Мой природный недостаток – боязнь холода – заставил меня держаться вблизи огня, который жжет мне веки".

Мильтон уже в своих латинских элегиях сознается, что зимою его муза делается бесплодной. Вообще, он мог сочинять только от весеннего до осеннего равноденствия. В одном из своих писем он жалуется на холода в 1798 году и выражает опасение, как бы это не помешало свободному развитию его воображения, если холод будет продолжаться. Джонсону, который рассказывает об этом, можно доверять вполне, потому что сам он, лишенный фантазии и одаренный только спокойным, холодным критическим умом, никогда не испытывал влияния времен года или погоды на свою

способность к труду и в Мильтоне считал подобные особенности результатом его странного характера. Сальваторе Роза, по словам леди Морган, смеялся в молодости над тем преувеличенным значением, какое будто бы оказывает погода на творчество гениальных людей, но, состарившись, оживлялся и получал способность мыслить лишь с наступлением весны; в последние годы жизни он мог заниматься живописью исключительно только летом.

Читая письма Шиллера к Гете, изумляешься тому, что этот великий, гуманный и гениальный поэт приписывал погоде какое-то необыкновенное влияние на свои творческие способности. "В эти печальные дни, – писал он в ноябре 1871 года, – под этим свинцовым небом, мне необходима вся моя энергия, чтобы поддерживать в себе бодрость; приняться же за какой-нибудь серьезный труд я совершенно не способен. Я снова берусь за работу, но погода до того дурна, что нет возможности сохранить ясность мысли". В июле 1818 года он говорит, напротив: "Благодаря хорошей погоде я чувствую себя лучше, лирическое вдохновение, которое менее всякого другого подчиняется нашей воле, не замедлит явиться". Но в декабре того же года он снова жалуется, что необходимость окончить "Валленштейна" совпала с самым неблагоприятным временем года, "поэтому, – говорит он, – я должен употреблять всевозможные усилия, чтобы сохранить ясность мысли". В мае Шиллер писал: "Я надеюсь сделать много, если погода не изменится к худшему". Из всех этих примеров можно уже с некоторым основанием сделать тот вывод, что высокая температура, благоприятно действующая на растительность, способствует, за немногими исключениями, и продуктивности гения, подобно тому как она вызывает более сильное возбуждение в помешанных.

Если бы историки, исписавшие столько бумаги и потратившие столько времени на подробнейшее изображение жестоких битв или авантюристских предприятий, осуществленных королями и героями, если бы эти историки с такой же тщательностью исследовали достопамятную эпоху, когда было сделано то или другое великое открытие или когда было задумано замечательное произведение искусства, то они почти наверное убедились бы, что наиболее знойные месяцы и дни оказываются самыми плодовитыми не только для всей физической природы, но также и для гениальных умов.

При всей кажущейся неправдоподобности такого влияния оно подтверждается множеством несомненных фактов. Данте сочинил свой первый сонет 15 июня 1282 года; весной 1300 года он написал "Vita nuova", а 3 апреля начал писать свою

великую поэму.

Петрарка задумал "Africana" в марте 1338 года. Громадная картина Микеланджело, которую Челлини, самый компетентный судья в этой области, назвал удивительнейшим из произведений гениального живописца, была скомпонована и окончена в течение трех месяцев, с апреля по июль 1506 года.

Мильтон задумал свою поэму весною.

Галилей открыл кольцо Сатурна в апреле 1611 года.

Лучшие вещи Фосколо были написаны в июле и августе.

Стерн первую из своих проповедей написал в апреле, а в мае сочинил знаменитую проповедь о заблуждениях совести.

Новейшие поэты – Ламартин, Мюссе, Гюго, Беранже, Каркано, Алеарди, Маскерони, Занелла, Арканжели, Кардуччи, Милли, Белли имели обыкновение обозначать почти на всех своих мелких и лирических стихотворениях, когда именно каждое из них было сочинено. Пользуясь этими драгоценными указаниями, мы составили следующую таблицу.

Ламартин	В.Гюго	Мюссе и Беранже	Каркано, Арканжели, Занелла, Кардуччи, Маскерони, Алеарди	Милли	Белли	Байрон
11	20	8	10	28	21	1
6	25	6	11	16	13	1
18	19	4	22	16	14	3
9	46	1	11	35	16	1
16	57	13	16	30	4	1
5	52	3	11	25	7	3
9	38	9	14	24	2	–
25	35	9	20	16	4	–
16	38	4	26	17	17	1
5	40	3	12	12	5	3
12	29	8	10	20	22	–
10	10	7	12	25	18	–

Распределяя по месяцам сочинения Альфьери, мы видим, что в августе он написал "Гарциа", в июле – "Марию Стюарт"; в мае – "Заговор сумасшедших" ("Congiura di Pazzi"), две книги "О тирании" и "О государе" ("Principe"); в июне "Виргинию", "Лорентино", "Альцеста" и "Панегирик Траяну"; в сентябре – "Софонизбу", "Ажиде" ("Agide"), "Мирру" и 6 комедий; в марте – "Саула"; в апреле – "Антигону", в феврале – "Меропу"; зимою – обоих "Брутов" и диалог "О добродетели". Две первые трагедии его были задуманы в марте и мае.

Из автографов Джустини я мог с точностью определить время первоначального создания многих мелких поэм этого поэта, но когда именно они получили окончательную отделку – трудно сказать, до такой степени в них много поправок.

Стихотворение Джустини "Бал" (или "Современная демократия", как оно вначале называлось) было написано в ноябре, "Сатира на лжелибералов" – в октябре; маленькая поэма "К другу" – в июне, "Ave Maria" – в марте.

Вольтер написал "Танкреда" в августе.

Байрон окончил в сентябре 4-ю песню "Pelligrinaggio", в июне "Пророчество Данте", а летом в Швейцарии – "Шильонского узника", "Мрак" и "Сон".

Из переписки Шиллера с Гете видно, что он осенью составил план трагедий "Дон Карлос", "Валленштейн", "Заговор Фиеско" и "Вильгельм Телль". В сентябре месяце были написаны им "Лагерь Валленштейна" и "Эстетические письма". Зимою он задумал трагедию "Луиза Миллер", в июне – "Коринфскую невесту", "Бог и баядерка", "Чародей" ("Маго"), "Водолаз", "Перчатка", "Поликратов перстень", "Ивиковы журавли"; в июне начал писать "Иоанну д'Арк".

Гете набросал осенью три лирических стихотворения, в апреле начал писать "Вертера"; в мае – "Искателя кладов", "Строфы", "Миньону" и еще лирическое стихотворение; в июне и июле: "Челлини"; "Алексис", "Эфрозина", "Метаморфозы растений" и "Парнас"; зимою: "Ксении", "Герман и Доротея", "Диван" и "Незаконная дочь". В первых числах марта 1788 года, когда, по словам самого Гете, несколько дней значили для него больше целого месяца, он написал, кроме многих лирических пьес, еще и окончание к "Фаусту".

Россини в феврале сочинил почти всю оперу "Семирамида", а в ноябре написал последнюю часть "Stabat Mater".

Моцарт сочинил оперу "Митридат" в октябре.

Бетховен написал свою Девятую симфонию в феврале.

Доницетти в сентябре сочинил оперу "Лючия ди Ламмермур", может быть, и всю, но наверное знаменитый отрывок "Tu che a Dio spiegasti l'aie". Точно так же осенью он написал оперу "Дочь полка", весной – "Линду ди Шамуни", летом – "Rita", зимою – "Дон Паскуале" и "Miserere".

Канова сделал модель своего первого произведения ("Орфей и Эвридика") в октябре.

Микеланджело работал над своей картиной "Милосердие" с сентября по октябрь 1498 года, рисунок библиотеки он составил в декабре, а деревянную модель гробницы Папы Юлия I – в августе.

Леонардо да Винчи задумал статую Франческо Сфорца и начал писал свое сочинение "О свете и тени" 23 апреля 1490 года.

Первая мысль об открытии Америки явилась у Колумба в конце мая и в начале июня 1474 года, когда он задумал отыскать западный путь в Индию.

Галилей открыл в апреле 1611 года, одновременно с Шейнером или, может быть, раньше его, пятна на Солнце; а годом раньше, в декабре или, скорее, в сентябре, – так как наблюдение было сделано три месяца раньше, чем появилось его описание, – он открыл аналогию между фазами Луны и Венеры. В мае 1609 года Галилей изобрел телескоп, а в июле 1610 года открыл те звезды, которые впоследствии оказались самыми светлыми точками в кольце Сатурна. Это последнее открытие он с обычным своим остроумием кратко выразил в стихе:

Aitissimum planetam tergeminum observavi.
(Наблюдал тройное лицо высочайшей планеты.)

Кеплер в мае 1618 года открыл законы движения мировых тел.

В августе 1546 года Фабрициус открыл первую периодически перемещающуюся звезду.

В октябре 1666 года и апреле 1667 года Кассини открыл пятна, указывающие на вращение Венеры, а в октябре, декабре и марте (1671-1684) – четыре спутника Сатурна. Еще

два из них были открыты Гершелем в марте 1789 года.

Один из спутников Сатурна был открыт Гюйгенсом 25 марта 1655 года, а другой – Дове и Бондом в ночь на 19 сентября 1848 года.

Два спутника Урана были открыты в 1787 году Гершелем; он подозревал, что существует и третий спутник, который в октябре 1851 года был найден Струве и Ласселлом, открывшими 14 сентября этого года также и последний спутник Урана – Ариэль.

Спутники Нептуна Ласселл впервые увидел в ночь на 8 июля 1846 года.

Уран был открыт Гершелем в марте 1781 года. Тот же астроном наблюдал в апреле вулканы на Луне.

Брадлей открыл в сентябре 1728 года законы аберрации (кажущееся движение неподвижных звезд). Замечательно, что на это открытие навело его наблюдение колебаний вымпела (флюгера) при каждом повороте барки на Темзе.

Любопытные открытия Энке и Вико (1735-1738) относительно Сатурна были сделаны в марте и апреле.

Из комет, открытых Гамбардом, три он нашел в июле, две – в марте и мае и по одной – в январе, апреле, июне, августе, октябре и декабре.

Спутники Марса Холл открыл в августе 1877 года.

Общее число 175 мелких планет, открытых в продолжение 1877 года, и 247 комет, открытых до 1864 года, распределяется по месяцам:

Месяц	Мелкие планеты	Кометы
Январь	11	24
Февраль	10	10
Март	13	24
Апрель	23	25
Май	14	14

Июнь	7	15
Июль	10	37
Август	19	21
Сентяб рь	29	15
Октябр ь	18	22
Ноябрь	18	22
Декабр ь	3	17
Сумма	175	247

Открытие Скиапарелли относительно падающих звезд было сделано в августе 1866 года.

Из дневника Мальпиги видно, что в июле он сделал свое замечательное открытие, касающееся добавочных почек, а в июле – относительно скученных желез.* Любопытен тот факт, что у Мальпиги некоторые месяцы особенно богаты новыми работами, например, в 1688 и 1690-м годах – январь, а в 1671 – июнь, в продолжение которого сделано 3 открытия. Первая мысль об устройстве барометра явилась у Торричелли в мае 1644 года, как это видно из его письма к Ричи от 11 июня; в марте того же года он сделал чрезвычайно важное для того времени открытие относительно лучшего способа приготовления стекол для телескопов.

* Так называются железы, состоящие из собрания лимфатических клеток, не имеющих общей оболочки. Они расположены под слизистой оболочкой кишок и полости рта.

Первые опыты Паскаля над равновесием жидкостей были произведены в сентябре 1645 года.

В марте 1752 года Франклин сделал первые опыты с громоотводами, которые, однако, устроил окончательно только в сентябре. Гете говорит, что самые оригинальные идеи относительно теории цветов явились у него в мае; его прекрасные опыты над растениями были произведены в июне.

Алессандро Вольта изобрел свой электрический столб зимой 1800 года; мнение, будто это изобретение сделано весной, – ошибочно, так как 20 марта 1805 года Вольта только сообщил о нем Королевскому Обществу в Лондоне. Весною 1775 года был изобретен им электрофор. В первых числах ноября 1774 года он же сделал открытие относительно отделения водорода при брожении органических веществ и осенью 1776 года изобрел свой заряжающийся водородом пистолет, хотя биографы относят это изобретение к весне 1776 года. К этому же году относится, изобретение эвдиометра, сделанное, по всей вероятности, весной, приблизительно в мае месяце. В апреле того же 1777 года Вольта написал профессору Барлетта знаменитое письмо (хранящееся в Ломбардском институте), где сделано предсказание относительно электрического телеграфа. Весною 1788 года он устроил свой электрометр-конденсатор, описание которого издал в августе.

Луиджи Бруньятелли изобрел искусство гальванопластики в ноябре 1806 года, как об этом свидетельствует письмо, найденное адвокатом Вольта в бумагах своего знаменитого предка; изобретение это приписывалось и Якоби, и Спенсеру, и Де-ла Риву, хотя они только усовершенствовали его в 1835 и

IV ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА РОЖДЕНИЕ ГЕНИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**

Чезаре Ломброзо

Убедившись в громадном влиянии метеорологических явлений на творческую деятельность гениальных людей, мы легко поймем, что и на рождение их климат и строение почвы должны также оказывать могущественное действие.

Несомненно, что раса (например, в латинской и греческой расе больше великих людей, чем в других), политические движения, свобода мысли и слова, богатство страны, наконец, близость литературных центров – все это оказывает большое влияние на появление гениальных людей, но несомненно также, что не меньшее значение имеют в этом отношении температура и климат.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть и сравнить отчеты о рекрутских наборах в Италии за последние годы. Из этих отчетов видно, что к областям, дающим, очевидно, благодаря своему прекрасному климату, хотя и независимо от влияния национальности, наибольшее число солдат высокого роста и наименьший процент бракованных, принадлежат именно те, в которых всегда было много даровитых людей, как, например, Тоскана, Лигурия и Романья.

Напротив, в тех провинциях, где процент молодых людей высокого роста, годных к военной службе, меньше – Сардиния, Базиликата и Аостская долина, – число гениальных личностей заметно понижается. Исключение составляют лишь Калабрия и Вальтеллина, где даровитые люди не редки, несмотря на низкий рост большинства населения, но это замечается только в местностях, открытых с юга или лежащих на возвышенности, вследствие чего там не развиваются ни кретинизм, ни малярия, так что этот факт несколько не противоречит высказанному нами положению.

Уже издавна замечено было как простонародьем, так и учеными, что в гористых странах с теплым климатом особенно много бывает гениальных людей. Народная тосканская поговорка гласит: "У горцев ноги толстые, а мозги нежные". Веджецио писал: "Климат влияет не только на физическое, но и на душевное здоровье; Минерва избрала своим местопребыванием город Афины за его благорастворенный воздух, вследствие чего там рождаются мудрецы". Цицерон тоже не раз упоминает о том, что в Афинах, благодаря теплоту климату, рождаются умные люди, а в Фивах, где климат суровый, – глупые. Петrarка, в

своем "Epistolario", составляющем нечто вроде автобиографии этого поэта, постоянно указывает на то, что лучшие из его произведений были написаны или, по крайней мере, задуманы посреди излюбленных им прелестных холмов Валь-Киуза. По свидетельству Вазари, Микеланджело говорил ему: "Если мне удалось создать что-нибудь действительно хорошее, то я обязан этим чудному воздуху вашего родного Ареццо". Муратори писал одному итальянцу: "Воздух у нас удивительный, и я уверен, что именно благодаря ему в нашей стране столько замечательно даровитых людей". Маколей говорит, что Шотландия, одна из беднейших стран Европы, занимает в ней первое место по числу ученых и писателей; ей принадлежат: Беда, Михаил Скотт, Непер – изобретатель логарифмов, затем Буханан, Вальтер Скотт, Байрон, Джонстон и отчасти Ньютон.

Без сомнения, именно в этом влиянии атмосферных явлений следует искать объяснения того факта, что в горах Тосканы, преимущественно в провинциях Пистойи, Бути и Вальдонтани, между пастухами и крестьянами встречается столько поэтов и в особенности импровизаторов, в том числе есть даже и женщины, как, например, пастушка, о которой говорит Джульяни в своем сочинении "О языке, на котором говорят в Тоскане", или необыкновенная семья Фредииани, где и дед, и отец, и сыновья – все поэты. Один из членов этой семьи жив еще до сих пор и сочиняет стихи не хуже великих тосканских поэтов прежнего времени. Между тем крестьяне той же национальности, живущие на равнинах, не отличаются, насколько мне известно, такими талантами.

Во всех низменных странах, как, например, в Бельгии и Голландии, а также в окруженных слишком высокими горами местностях, где вследствие этого развиваются местные болезни – зоб и кретинизм, как, например, в Швейцарии и Савойе, – гениальные люди чрезвычайно редки, но еще меньше бывает их в странах сырых и болотистых. Немногие гении, которыми гордится Швейцария, – Бонне, Руссо, Тронкин (Tronchin), Тиссо, де Кандоль и Бурламаки – родились от французских или итальянских эмигрантов, т.е. при таких условиях, когда раса могла парализовать влияние местных неблагоприятных условий.

Урбино, Пезаро, Форли, Комо, Парма дали больше знаменитых гениальных людей, чем Пиза, Падуя и Павия – древнейшие из университетских городов Италии, где, однако, не было ни Рафаэля, ни Браманте, ни Россини, ни Морганьи, ни Спалланцани, ни Мураторно, ни Фаллопия,

ни Вольта – уроженцев пяти первых городов.

Переходя затем от общих к более частным примерам, мы убедимся, что Флоренция, где климат очень мягок, а почва чрезвычайно холмиста, доставила Италии самую блестящую плеяду великих людей. Данте, Джотто, Макиавелли, Люлли, Леонардо, Брунеллески, Гвиччардини, Челлини, Беато Анджелико, Андрея дель Сарто, Николини, Каппони, Веспуччи, Вивiani, Боккаччо, Альберти и Донати – вот главные имена, которыми имеет право гордиться этот город.

Напротив, Пиза, находящаяся в научном отношении, как университетский город в не менее благоприятных условиях, чем Флоренция, дала сравнительно с нею даже значительно меньшее число выдающихся генералов и политиков, что и было причиною ее падения, несмотря на помощь сильных союзников. Из великих же людей Пизе принадлежит только Никколо Пизано, Джиунта и Галилей, родители которого были, однако, флорентийцы. А между тем Пиза отличается от Флоренции единственно своим низменным местоположением.

Наконец, какое богатство гениальными людьми представляет гористая провинция Ареццо, где родились Микеланджело, Петрарка, Гвидо Рени, Реди, Вазари и трое Аретино. Далее, сколько даровитых личностей были родом из Асти (Альфьери, Оджеро, С. Бруноне, Белли, Натта, Гвальтиери, Котта, Солари, Алионе, Джорджо и Вентура) и раскинувшегося на холмах Турина (Роланд, Калуза, Джиоберти, Бальбо, Беретта, Марокетти, Лагранж, Божино и Кавур).

В гористых частях Ломбардии и в приозерных местностях Бергамо, Бреши и Комо число великих людей точно так же гораздо значительнее, чем в низменных. В первых мы встречаем имена Тассо, Маскерони, Доницетти, Тарталья, Угони, Вольта, Парини, Анпиани, Май, Плиния, Каньола и др., тогда как в низменной Ломбардии едва можно насчитать шесть таких имен – Альчиато, Беккариа, Ориани, Кавальери, Азелли и Бокачини. Холмистая Верона произвела Маффеи, Паоло Веронезе, Катулла, Фракасторо, Бьянкини, Саммикепли, Тирабоски, Лорнья, Пиндемонте; богатая же и ученейшая Падуя, лишь кое-где представляющая несколько освещенных солнцем холмов, дала Италии только Тита Ливия, Чезаротти, Петра д'Абано и немногих других.

Если низменная область Реджио может похвалиться такими знаменитостями из своих уроженцев, как

Спалланцани, Ариосто, Корреджо, Секки, Нобили, Валлиснери, Божардо, то она отчасти обязана этим встречающимся в ней озаренным солнцем холмам; трое последних из этой плеяды родились именно в холмистом Скандиано; Генуя и Неаполь, находящиеся в особенно благоприятных условиях (теплый климат, близость моря и гористое местоположение могут быть поставлены наравне с Флоренцией, если не по числу своих гениальных уроженцев, то по их значению; здесь родились Колумб, Дориа, Вико, Караччиоло, Перголезе, Женовези, Чирило, Филанджери и пр.

Далее интересно проследить, какое влияние оказывает умеренно теплый климат, особенно если к нему присоединяются еще и национальные качества, на развитие музыкальных талантов. Просматривая сочинение Клемана "Знаменитые музыканты" (Clément. Les Musiciens célèbres, 1868), я нашел, что из 110 великих композиторов 36, т.е. более трети, принадлежит Италии и что 19 или более половины этих последних – уроженцы Сицилии (Скарлатти, Пачини, Беллини) и Неаполя с его окрестностями. Такое явление, очевидно, обусловливается влиянием греческой расы и теплого климата. К неаполитанцам принадлежат Жомелли, Страделла, Пиччинни, Лео, Дуни, Саккини, Карафа, Паизиелло, Чимароза, Цингарелли, Меркаданте, Траэтта, Дуранте, двое Риччи и Петрелла. Из остальных 17 музыкантов лишь немногие могут считать своей родиной Верхнюю Италию: Доницетти, Верди, Аллегри, Фрескобальди, двое Монтеверди, Сальери, Марчело и Паганини. Последние трое – уроженцы приморских местностей; все же остальные родом из Центральной Италии, в Риме родились Палестрина и Клементи, в Перуджино и Флоренции – Спонтини, Люлли, Перголези.

Громадное значение климата и почвы сказывается не только по отношению к выдающимся артистам во всех родах искусства, но даже и по отношению к наименее знаменитым из них. Я убедился в этом, составив при содействии почтенного профессора Кунье карту Италии с указанием распространения в ней живописцев, скульпторов и музыкантов за два последних столетия, причем с удивительной правильностью выразилось преобладающее число художников в гористых, жарких провинциях Средней Италии, каковы Флоренция и Болонья, и приморских – Венеция, Неаполь, Генуя.

Косвенное влияние окружающей природы на рождение гениальных людей представляет некоторую аналогию с

влиянием ее на развитие умопомешательства.

Общеизвестный факт, что в гористых странах жители более подвержены сумасшествию, чем в низменных, подтвержден вполне психиатрической статистикой. Кроме того, новейшие наблюдения доказывают, что эпидемическое безумие встречается гораздо чаще в горах, чем в долинах. Припомните возникшие уже в недавние годы и на наших глазах психические эпидемии в Монте Амиата (Лазаретти), в Буска и Черногории. Не следует также забывать, что холмы Иудеи были колыбелью многих пророков и что в горах Шотландии появились люди, одаренные ясновидением (Seconda Vista); те и другие принадлежат к числу гениальных безумцев и полупомешанных прорицателей.

V ВЛИЯНИЕ РАСЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

Чезаре Ломброзо

Аналогичность влияния атмосферных явлений на гениальных людей и на помешанных будет еще заметнее, если мы рассмотрим ее вместе с влиянием расы. Прекрасный пример в этом отношении представляют нам евреи.

В своих монографиях "Uomo bianco e l'uomo di colore" и "Pensiero e Météore" я уже указал на тот факт, что вследствие испытанных евреями в средние века жестоких преследований (результатом чего явились истребления слабых индивидов, т.е. своего рода подбор), а также вследствие умеренного климата европейские евреи достигли такой степени умственного развития, что, пожалуй, даже опередили арийское племя, тогда как в Африке и на Востоке они остались на том же низком уровне культуры, как и остальные семиты. Кроме того, статистические данные показывают, что среди евреев даже более распространено общее образование, чем среди других наций*, что они занимают выдающееся положение не только в торговле, но и во многих других родах деятельности, например в музыке, журналистике, литературе, особенно сатирической и юмористической, и в некоторых отраслях медицины. Так, в музыке евреям принадлежат такие гении, как Мейербер, Галеви, Гузиков, Мендельсон и Оффенбах; в юмористической литературе: Гейне, Сафир, Камерини, Ревере, Калисс, Якобсон, Юнг, Вейль, Фортис и Гозлан; в изящной словесности: Ауэрбах, Комперт и Агиляр; в лингвистике: Асколи, Мунк, Фиорентино, Луццато и др.; в медицине: Валентин, Герман, Гайденгайн, Шифф, Каспер, Гиршфельд, Штиллинг, Глугер, Лауренс, Траубе, Френкель, Кун, Конгейм и Гирш; в философии: Спиноза, Зоммергаузен и Мендельсон, а в социологии: Лассаль и Маркс. Даже в математике, к которой семиты вообще малоспособны, можно указать из числа евреев на

таких выдающихся специалистов, как Гольдшмидт, Веер и Маркус.

* В 1861 году в Италии было 645 человек неграмотных на 1000 католиков и только 58 – на тысячу евреев.

Следует еще заметить, что почти все гениальные люди еврейского происхождения обнаруживали большую склонность к созданию новых систем, к изменению социального строя общества; в политических науках они являлись революционерами, в теологии – основателями новых вероучений, так что евреям, в сущности, обязаны если не своим происхождением, то по крайней мере своим развитием, с одной стороны, нигилизм и социализм, а с другой – христианство и мозаизм, точно так же как в торговле они первые ввели векселя, в философии – позитивизм, а в литературе – неогуморизм (нео-umorismo). И в то же время именно среди евреев встречаются вчетверо и даже впятеро больше помешанных, чем среди их сограждан, принадлежащих к другим национальностям.

Известный ученый Серви вычислил, что в Италии в 1869 году один сумасшедший приходился на 391 еврея, т.е. почти вчетверо больше, чем среди католиков. То же самое подтвердил в 1869 году Верга, по вычислениям которого процент помешанных между евреями оказался еще значительнее. Так, среди католиков приходится 1 сумасшедший на 1775 человек среди протестантов – на 1725 человек, а среди евреев – на 384 человек.

Тиггес (Tigges), изучивший более 3100 душевнобольных, говорит в своей статистике помешательства в Вестфалии, что оно распространяется среди ее населения в такой пропорции:

От 1 до 8 на 7000 жителей между евреями,
от 1 до 11 на 14000 между католиками и
от 1 до 13 на 14000 между лютеранами.

Наконец, для 1871 года Майр нашел число помешанных:

В Пруссии – 8,7 на 40000 христиан и 14,1 на 10000 евреев.
В Баварии, соответственно, – 9,8 и 25,2.
Во всей Германии – 8,6 и 16,1.

Как видите, это – поразительно большая пропорция, особенно если принять во внимание, что хотя в еврейском населении и много стариков, чаще всего подвергающихся помешательству от старости, но зато чрезвычайно мало алкоголиков.

Такая роковая привилегия еврейской расы осталась, однако, незамеченной со стороны антисемитов, составляющих язву современной Германии. Если бы они обратили внимание на этот факт, то, конечно, не стали бы так негодовать на успехи, делаемые несчастной еврейской расой, и поняли бы, как дорого приходится

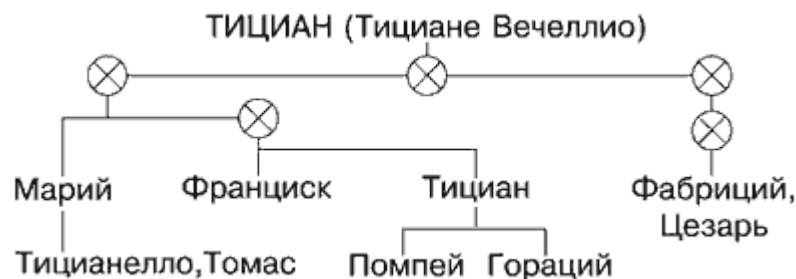
евреям расплачиваться за свое умственное превосходство даже в наше время, не говоря уже о бедствиях, испытанных ими в прошлом. Впрочем, вряд ли евреи были более несчастливы, чем теперь, когда они подвергаются преследованиям именно за то, что составляет их славу.

Значение расы в развитии гениальности, а также и помешательства видно из того, что как то, так и другое почти совершенно не зависит от воспитания, тогда как наследственность оказывает на них громадное влияние.

Посредством воспитания можно заставить плясать медведей, – говорит Гельвеции, – но нельзя выработать гениального человека.

Несомненно, что помешательство лишь в редких случаях является следствием дурного воспитания, тогда как влияние наследственности в этом случае так велико, что доходит до 88 на 100 по вычислениям Тиггеса и до 85 на 100 по вычислениям Гольджи. Что же касается гениальности, то Гальтон и Рибо (*De l'Hérédité*, 1878) считают ее всего чаще результатом наследственных способностей, особенно в музыкальном искусстве, дающем такой громадный процент помешанных. Так, среди музыкантов замечательными дарованиями отличались сыновья Палестрины, Бенды, Дюссеса, Гиллера, Моцарта, Эйхгорна; семейство Бахов дало 8 поколений музыкантов, из которых 57 человек пользовались известностью.

Между живописцами мы встречаем наследственные таланты у фон дер Вельда, Ван Эйка, Мурильо, Веронези, Беллини, Карраччи, Корреджо, Миерис (*Mieris*), Бассано, Тинторетто, а также в семье Кальяри, состоявшей из дяди, отца и сына, и особенно в семье Тициана, давшей целый ряд живописцев, как это видно из приложенной ниже родословной таблицы, заимствованной мною из неисчерпаемого источника сведений по этой части – из книги Рибо "*De l'Hérédité*".

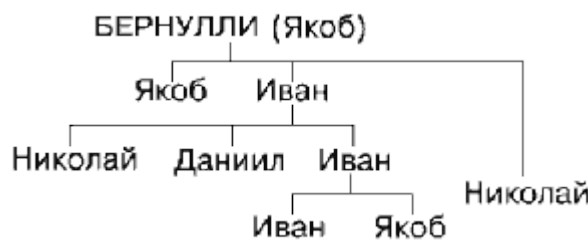


Между поэтами можно указать на Эсхила, у которого два сына и племянники были также поэты; Свифта – племянника Драйдена; Лукана – племянника Сенеки, Тассо – сына Бернарда; Ариосто, брат и племянник которого были поэты; Аристофана с двумя сыновьями, тоже писавшими комедии; Корнеля, Расина, Софокла, Кольриджа,

сыновья и племянники которых обладали поэтическим талантом.

Из натуралистов составили себе известность члены семейств: Дарвина, Эйлера, Декандоля, Гука, Гершеля, Жюсье, Жоффруа, Сент-Илера. Сыновья самого Аристотеля (отец которого был ученый-медик), Никомах и Каллисфен, а также племянники его известны своей ученостью.

Сын астронома Кассини был тоже знаменитым астрономом, племянник его 22-х лет уже сделался членом Академии наук, внучатый племянник – директором обсерватории, а правнучатый племянник составил себе известность как натуралист и филолог. Затем вот генеалогическая таблица Бернулли начиная с Якоба:



Все они составили себе имя в той или другой отрасли естественных наук. Еще в 1829 году один из Бернулли был известен как химик, а в 1863 году умер другой член той же семьи – Христофор Бернулли, занимавший должность профессора естественных наук в Базеле.

Гальтон, часто смешивающий талантливость с гениальностью (недостаток, от которого и я не всегда мог отделаться), говорит в своем прекрасном исследовании, что шансы родственников знаменитых людей, сделавшихся или имеющих сделаться выдающимися, относятся как 15,5:100 – для отцов; 13,5:100 – для братьев; 24:100 – для сыновей. Или же, если придать этим, равно как и остальным, отношениям более удобную форму, мы получим следующие результаты.

В первой степени родства: шансы отца – 1:6; шансы каждого брата – 1:7; каждого сына – 1:4. Во второй степени: шансы каждого деда – 1:25, каждого дяди – 1:40, каждого внука – 1:29. В третьей степени: шансы каждого члена приблизительно 1:200, за исключением двоюродных братьев, для которых – 1:100.

Это значит, что из шести случаев в одном отец знаменитого человека есть, вероятно, и сам человек выдающийся, в одном случае из семи брат знаменитого человека также отличается выдающимися способностями, в одном случае из четырех сын наследует выдающиеся над общим уровнем свойства отца и т.д.

Впрочем, цифры эти, в свою очередь, сильно изменяются, смотря по тому, применяем ли мы их к гениальным артистам, дипломатам, воинам и пр. Тем не менее даже эти громадные цифры не могут дать

нам новых доказательств в пользу полной аналогии между влиянием наследственности на развитие гениальности и помешательства, потому что последнее проявляется, к сожалению, с гораздо большей силой и напряженностью, чем первое (как 48:80). Далее, хотя закон, выведенный Гальтоном, вполне верен относительно судей и государственных людей, но зато под него совсем не подходят артисты и поэты, у которых влияние наследственности с чрезвычайной силой отражается на братьях, сыновьях и в особенности на племянниках, тогда как в дедах и дядях оно менее заметно. Вообще это влияние сказывается в передаче помешательства вдвое сильнее и напряженнее, чем в передаче гениальных способностей, и притом почти в одинаковой степени для обоих полов, тогда как у гениев наследственные черты переходят к потомкам мужского пола в пропорции 70:30 сравнительно с потомками женского пола. Далее, большинство гениальных людей не передают своих качеств потомкам еще и потому, что остаются бездетными,* вследствие вырождения, подобно тому как мы видим это в аристократических семействах.**

* Шопенгауэр, Декарт, Лейбниц, Мальбранш, Конт, Кант, Спиноза, Микеланджело, Ньютон, Фосколо, Альфьери, Лассаль, Гоголь, Лермонтов, Тургенев остались холостыми, а из женатых многие великие люди были несчастливы в супружестве, например Сократ, Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин, Мароццо.

** Гальтон сам указывает на то, что из числа 31 пэра, возведенного в это достоинство в конце царствования Георга IV, 12 фамилий прекратились совершенно, и преимущественно те, члены которых женились на знатных наследницах. Из 487 семейств, причисленных к бернской буржуазии, с 1583 по 1654 год, к 1783 году остались в живых только 168; точно так же из 112 членов Общинного Совета в 1615 году остались 58. При виде гранда Испании, говорит Рибо, можно с уверенностью сказать, что видишь перед собою выроodka. Почти все французское, а также итальянское дворянство сделалось теперь слепым орудием духовенства, что составляет не последнюю причину непрочности итальянских учреждений. А в числе правителей (королей) Европы как мало таких, которые походили бы на своих знаменитых когда-то предков и наследовали бы от них что-нибудь кроме трона да обаяния некогда славного имени!

Наконец, за немногими исключениями, вроде фамилий Дарвина, Бернулли, Кассини, Сент-Илера и Гершеля, какую ничтожную часть своих дарований и талантов передавали обыкновенно гениальные люди своим потомкам и как еще преувеличивались эти дарования, благодаря обаянию имени славного предка. Что значит, например, Тицианелло в сравнении с Тицианом, какой-нибудь Никомах – с Аристотелем, Гораций Ариосто – с его дядей, великим поэтом, или скромный профессор Христофор Бернулли рядом с его знаменитым предком Якобом Бернулли!

Помешательство, напротив, всего чаще передается по наследству все, целиком... Мало того, оно как будто даже усиливается с каждым новым поколением. Случаи наследственного умопомешательства у всех сыновей и племянников – нередко в той самой форме, как у отца или дяди, – встречаются на каждом шагу. Так, например, все потомки одного знатного гамбургца, причисляемого к великим военным гениям, сходили с ума по достижении ими 40-летнего возраста; наконец в живых остался только один член этой несчастной семьи, состоявший на государственной службе, и сенат запретил ему жениться. В 40 лет он тоже помешался. Рибо рассказывает, что в Коннектикутскую больницу для умалишенных последовательно поступали 11 членов одной и той же семьи.

Затем вот еще история семьи одного часовщика, сошедшего с ума вследствие ужасов революции 1789 года и потом выздоровевшего: сам он отравился, дочь его помешалась и окончательно сошла с ума, один брат вонзил себе нож в живот, другой начал пить и умер от белой горячки, третий перестал принимать пищу и умер от истощения; у здоровой сестры его один сын был помешанный и эпилептик, другой не брал груди, двое маленьких умерли от воспаления мозга и дочь, тоже страдавшая умопомешательством, отказалась принимать пищу.

Наконец, самое неоспоримое доказательство в пользу нашей теории представляет прилагаемое [родословное дерево семьи Берти](#) давшей несравненно большее число помешанных, чем семья знаменитого Тициана дала гениальных живописцев.

Из этой любопытной генеалогической таблицы видно что в четырех поколениях из 80 потомков одного помешанного меланхолика 10 человек сошли с ума и почти все страдали той же самой формой психического расстройства – меланхолией, а 19 человек – нервными болезнями, следовательно, 36%. Кроме того, мы замечаем, что болезнь все более развивалась в последующих поколениях, захватывая самый нежный возраст и проявляясь с особенной силой в мужской линии, где помешательство явилось уже в первом поколении, тогда как в женской линии – только в 3-м и в пропорции едва лишь 1:4. В 1-м и 4-м колене помешанных и нервных много во всех семьях во 2-м колене, напротив, преобладают здоровые члены, которые встречаются и в 3-м, а затем уже страшная болезнь охватывает все большее число жертв, имеющих ту или другую форму душевных страданий. Вряд ли у гениальных людей найдется семья настолько же плодovitая и в такой же степени испытывавшая на себе роковое, прогрессивно возрастающее влияние наследственности

Но есть случаи, когда это влияние проявляется еще с большею силою, что особенно заметно по отношению к алкоголикам (помешанным от пьянства). Так, например, от одного

родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в течение 75 лет 200 человек воров и убийц, 280 несчастных, страдавших слепотой, идиотизмом, чахоткой, 90 проституток и 300 детей, преждевременно умерших, так что вся эта семья стоила государству, считая убытки и расходы, более миллиона долларов.

И это далеко не единичный факт. Напротив, в современных медицинских исследованиях можно встретить примеры еще более поразительные.

Тарге в своей книге "О наследственности алкоголизма" приводит несколько подобных случаев. Так, он рассказывает, что четыре брата Дюфе были подвержены несчастной страсти к вину, очевидно вследствие влияния наследственности; старший из них бросился в воду и утонул, второй повесился, третий перерезал себе горло и четвертый бросился вниз с третьего этажа.

У Тарге мы заимствуем и еще несколько фактов в том же роде:



У некоего П.С., умершего от размягчения мозга вследствие пьянства, и жены его, умершей от брюшной водянки, тоже, может быть, вызванной пьянством, были дети:

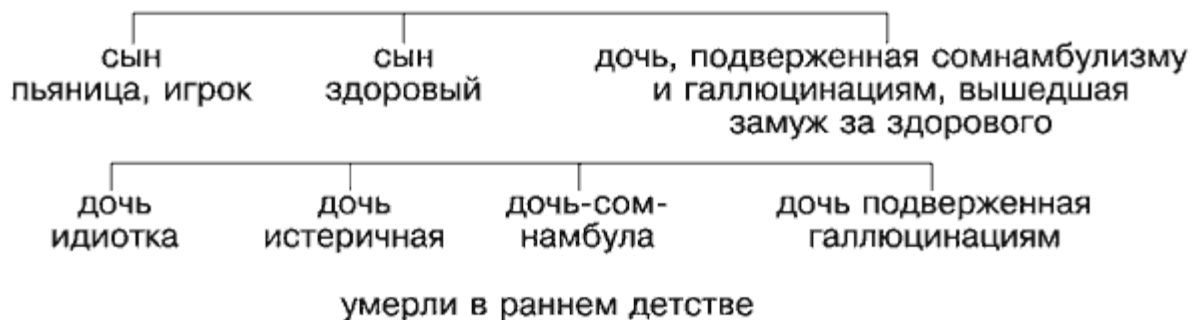


Один пьяница, женатый на развратной женщине, имел:
Сына-чудака и оригинала, умершего от белой горячки,
и сына до такой степени трусливого, что он убежал
даже при виде ножниц и потом сошел с ума; дети его:
один сын сын сын, страдавший
умер молодым здоровый водянкой мозга

Эти примеры доказывают, что в алкоголизме легко возможен атавизм – скачок назад через одно поколение, так что дети пьяниц остаются здоровыми, а болезнь отражается на внуках.

Вот еще последний пример.

У пьяницы Л.Берт, умершего от апоплексии, был один только сын, тоже пьяница, у которого родились дети:



Морель сообщает об одном пьянице, у которого было семеро детей, что один из них сошел с ума 22-х лет, другой был идиот, две умерли в детстве, 5-й был чудака и мизантроп, 6-я – истеричная, 7-й – хороший работник, но страдал расстройством нервов. Из 16 детей другого пьяницы 15 умерли в детстве, а последний, оставшийся в живых, был эпилептик.

Иногда у людей, находящихся, по-видимому, в здравом уме, помешательство проявляется отдельными чудовищными, безумными поступками.

Так, один судья, немец, выстрелом из револьвера убил свою долгое время хворавшую жену и уверял потом, что поступил так из любви к ней, желая избавить ее от страданий, причиняемых болезнью: он был убежден, что не сделал ничего дурного, и пытался покончить таким же образом со своей матерью, когда она заболела. Эксперты долгое время колебались, считать ли этого человека душевнобольным, и пришли к заключению о его умопомешательстве на основании того, что дед и отец у него были пьяницы.

Не только пьянство запоем, но вообще употребление спиртных

напитков приводит к ужасным последствиям... Флеминг и Демол доказали, что не одни пьяницы передают своим детям наклонность к помешательству и преступлениям, но что даже совершенно трезвые мужчины, находившиеся в момент совокупления под влиянием винных паров, порождали детей – эпилептиков, паралитиков, помешанных, идиотов и главным образом микроцефалов или слабоумных, весьма легко терявших рассудок.

Таким образом, какая-нибудь лишняя рюмка вина может сделаться причиною величайших бедствий для многих поколений.

Какая же тут возможна аналогия в сравнении с редкой и почти всегда неполной передачей гениальных способностей даже ближайшему потомству?

Правда, роковое сходство между сумасшествием и гениальностью в этом случае менее заметно, но зато именно закон наследственности обнаруживает тесную связь между ними в том факте, что у многих помешанных родственники обладают гениальными способностями и что у громадного большинства даровитых людей дети и родные бывают эпилептиками, идиотами, маньяками и наоборот, в чем читатель может убедиться, просмотрев еще раз родословное дерево семейства Берти.

Но еще поучительнее в этом отношении биографии великих людей. Отец Фридриха Великого и мать Джонсона были помешанные, сын Петра Великого был пьяница и маньяк; сестра Ришелье воображала, что у нее спина стеклянная, а сестра Гегеля – что она превратилась в почтовую сумку; сестра Николини считала себя осужденной на вечные муки за еретические убеждения своего брата и несколько раз пыталась ранить его. Сестра Ламба убила в припадке бешенства свою мать; у Карла V мать страдала меланхолией и умопомешательством, у Циммермана брат был помешанный; у Бетховена отец был пьяница; у Байрона мать – помешанная, отец бесстыдный развратник, дед – знаменитый мореплаватель; поэтому Рибо имел полное право сказать о Байроне, что "эксцентричность его характера может быть вполне оправдана наследственностью, так как он происходил от предков, обладавших всеми пороками, которые способны нарушить гармоническое развитие характера и отнять все качества, необходимые для семейного счастья". Дядя и дед Шопенгауэра были помешанные, отец же был чудаком и впоследствии сделался самоубийцей. У Кернера сестра страдала меланхолией, а дети были помешанные и подвержены сомнамбулизму. Точно так же расстройством умственных способностей страдали: Карлини, Меркаданте, Доницетти, Вольта; у Манцони помешанными были сыновья, у Вилльмена – отец и братья, у Конта – сестра, у Пертикари и Пуччинотти – братья. Дед и брат д'Азелио отличались такими странностями, что о них говорил весь Турин.

Прусская статистика 1877 года насчитывает на 10676 помешанных 6369 человек, в сумасшествии которых явно выразилось влияние наследственности.

Влияние наследственности в помешательстве гораздо чаще встречается у гениальных людей, нежели у самоубийц или преступников, и что оно лишь вдвое-втрое сильнее у пьяниц. Из 22 случаев наследственного помешательства Обанель и Торе констатировали два случая, когда этой болезнью страдали дети гениальных людей.

**VI ГЕНИАЛЬНЫЕ
ЛЮДИ, СТРАДАВШИЕ
УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВОМ:**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**

Чезаре Ломброзо

Кент, Шуман, Тассо, Кардано, Свифт, Ньютон, Руссо,
Ленау, Шехени, Шопенгауэр

Приведенные здесь примеры аналогичности сумасшествия с гениальностью если и не могут служить доказательством полного сходства их между собою, то по крайней мере убеждают нас в том, что первое не исключает присутствия второй в одном и том же субъекте, и объясняют нам, почему это является возможным.

В самом деле, не говоря уже о многих гениях, страдавших галлюцинациями более или менее продолжительное время, как Андраль, Челлини, Гете, Гоббс, Грасси, или потерявших рассудок в конце своей славной жизни, как, например, Вико и другие, немалое число гениальных людей было в то же время и мономаньяками или всю жизнь находились под влиянием галлюцинаций. Вот несколько примеров такого совпадения.

Мотанус (Motanus), всегда жаждавший уединения и отличавшийся странностями, кончил тем, что считал себя превратившимся в ячменное зерно, вследствие чего не хотел выходить на улицу из боязни, чтобы его не склевали птицы.

Друг Люлли постоянно говорил о нем в его оправдание: "Не обращайтесь на него внимания, он обладает здравым смыслом, он всецело – гений".

Гаррингтон воображал, что мысли вылетают у него изо рта в виде пчел и птиц, и прятался в беседку с метлой в руке, чтобы разгонять их.

Галлер, считая себя гонимым людьми и проклятым от Бога за свою порочность, а также за свои еретические сочинения, испытывал такой ужасный страх, что мог

избавляться от него только громадными приемами опия и беседой со священниками.

Ампер сжег свой трактат о "Будущности химии" на том основании, что он написан по внушению сатаны.

Мендельсон страдал меланхолией. Латре в старости сошел с ума. Великий голландский живописец Ван Гог думал, что он одержим бесом.

Уже в наше время сошли с ума Фарини, Бругэм, Соути, Гуно, Говоне, Гуцков, Монж, Фуркруа, Лойд, Купер, Роккиа, Риччи, Фенича, Энгель, Перголези, Нерваль, Батюшков, Мюрже, Б.Коллинз, Технер, Гольдерлин, Фон дер Вест, Галло, Спедальери, Беллинжери, Сальери, физиолог Мюллер, Ленц, Барбара, Фюзели, Петерман, живописец Вит Гамильтон, По, Улих (Uhliche), а также, пожалуй, Мюссе и Боделен.

Знаменитый живописец Фон Лейден воображал себя отравленным и последние годы своей жизни провел не вставая с постели.

Карл Дольче, религиозный липеманьяк (липемания – мрачное помешательство), дает наконец обет брать только священные сюжеты для своих картин и посвящает свою кисть Мадонне, но потом для изображения ее пишет портрет со своей невесты – Бальдуини. В день своей свадьбы он исчез, и после долгих поисков его нашли распростертым перед алтарем Богоматери.

Томмазо Лойд, автор прелестнейших стихотворений, представляет в своем характере странное сочетание злости, гордости, гениальности и психического расстройства. Когда стихи выходили у него не совсем удачными, он опускал их в стакан с водой, "чтобы очистить их", как он выражался. Все, что случалось ему найти в своих карманах или что попадалось ему под руки, – все равно, была ли это бумага, уголь, камень, табак, – он имел обыкновение примешивать к пище и уверял, что уголь очищает его, камень минерализирует и пр.

Гоббс, материалист Гоббс, не мог остаться в темной комнате без того, чтобы ему тотчас же не начали представляться привидения.

Поэт Гольдерлин, почти всю жизнь страдавший умопомешательством, убил себя в припадке меланхолии в 1835 году.

Моцарт был убежден, что итальянцы собираются отравить его. Мольер часто страдал припадками сильной меланхолии. Россини (двоюродный брат которого, идиот, страстно любящий музыку, жив еще и до сих пор) сделался в 1848 году настоящим липеманьяком вследствие огорчения от невыгодной для себя покупки дворца. Он вообразил, что теперь его ожидает нищета, что ему даже придется просить милостыню и что умственные способности оставили его; в этом состоянии он не только утратил способность писать музыкальные произведения, но даже не мог слышать разговоров о музыке. Однако успешное лечение почтенного доктора Сансоне из Анконы мало-помалу снова возвратило гениального музыканта его искусству и друзьям.

На Кларка чтение исторических сочинений производило такое впечатление, что он воображал себя очевидцем и даже действующим лицом давно прошедших исторических событий. Блэк и Баннекер представляли себе действительно существующими фантастические образы, которые они воспроизводили на полотне, и видели их перед собой.

Знаменитый профессор П. тоже нередко подвергался подобным иллюзиям и воображал себя то Конфуцием, то Тамерланом.

Шуман, предвестник того направления в музыкальном искусстве, которое известно под названием "музыки будущего", родившись в богатой семье, беспрепятственно мог заниматься своим любимым искусством и в своей жене, Кларе Вик, нашел нежную, вполне достойную его подругу жизни. Несмотря на это, уже на 24-м году он сделался жертвою липемании, а в 46 лет совсем почти лишился рассудка: то его преследовали говорящие столы, обладающие всеведением, то он видел не дававшие ему покоя звуки, которые сначала складывались в аккорды, а затем и в целые музыкальные фразы. Бетховен и Мендельсон из своих могил диктовали ему различные мелодии. В 1854 году Шуман бросился в реку, но его спасли, и он умер в Бонне. Вскрытие обнаружило у него образование остеофитов – утолщений мозговых оболочек и атрофию мозга.

Великий мыслитель Огюст Конт, основатель позитивной философии, в продолжение десяти лет лечился у Эскироля от психического расстройства и затем по выздоровлении без всякой причины прогнал жену, которая своими нежными попечениями спасла ему жизнь. Перед смертью он объявил себя *апостолом и священнослужителем*

материалистической религии, хотя раньше сам проповедовал уничтожение всякого духовенства. В сочинениях Конта рядом с поразительно глубокими положениями встречаются чисто безумные мысли, вроде той, например, что настанет время, когда оплодотворение женщины будет совершаться без посредства мужчины.

Хотя Мантегацца и утверждает, что математики не подвержены подобным психозам, но и это мнение ложно. Чтобы " убедиться в этом, достаточно вспомнить, кроме Ньютона, о котором я буду говорить более подробно, Архимеда, затем страдавшего галлюцинациями Паскаля и специалиста чистой математики чудака Кодацци. Алкоголик, скупой до скряжничества, равнодушный ко всем окружающим, он отказывал в помощи даже своим родителям, когда те чуть не умирали с голоду. В то же время он был до того тщеславен, что, еще будучи молодым, ассигновал известную сумму на сооружение себе надгробного памятника и не позволял оспаривать своих мнений даже насчет покроя платья. Наконец, помешательство Кодацци выразилось в том, что он придумал способ сочинять музыкальные мелодии посредством вычисления.

Все математики преклоняются перед гениальностью геометра Больяи (Bolyai), отличавшегося, однако, безумными поступками. Так, например, он вызвал на дуэль 13 молодых людей, состоящих на государственной службе, и в промежутках между поединками развлекался игрою на скрипке, составлявшей единственную подвижность в его доме. Когда ему назначили пенсию, он велел напечатать белыми буквами на черном фоне пригласительные билеты на свои похороны и сделал сам для себя гроб (подобные странности я наблюдал еще у двоих математиков, недавно умерших). Через семь лет он снова напечатал второе приглашение на свои похороны, считая, вероятно, первое уже недействительным, и в духовном завещании обязал наследников посадить на его могиле яблоню, в память Евы, Париса и Ньютона. И такие штуки проделывал великий математик, исправивший геометрию Евклида!

Кардано, о котором современники говорили, что это умнейший из людей и в то же время глупый, как ребенок, Кардано, первый из смельчаков, решившийся критиковать Галена, исключить огонь из числа стихий и назвать помешанными колдунов и католических святых, этот великий человек был сам душевнобольным всю свою жизнь. Кстати прибавлю, что сын, двоюродный брат и отец его тоже страдали умопомешательством.

Вот как описывает себя он сам: "Заика, хилый, со слабой памятью, без всяких знаний, я с детства страдал гипнофантастическими галлюцинациями". Ему представлялся то петух, говоривший с ним человеческим голосом, то самый тартар, наполненный костями, и все, что бы ни явилось в его воображении, он мог увидеть перед собой, как нечто действительно существующее, реальное. С 19- до 26-летнего возраста Кардано находился под покровительством особого духа, вроде того, что некогда оказывал услуги его отцу, и этот дух не только давал ему советы, но даже открывал будущее. Однако и после 26 лет сверхъестественные силы не оставляли его без содействия: так, однажды, когда он прописал не то лекарство, какое следовало, рецепт, вопреки всем законам тяготения, подпрыгнул на столе и тем предупредил его об ошибке.

Как ипохондрик, Кардано воображал себя страдающим всеми болезнями, о каких только он слышал или читал: сердцебиением, ситофобией,* опухолью живота, недержанием мочи, подагрой, грыжей и пр.; но все эти болезни проходили без всякого лечения или только вследствие молитв Пресвятой Деве. Иногда ему казалось, что мясо, которое он употреблял в пищу, пропитано серой или растопленным воском, в другое время он видел перед собою огни, какие-то призраки, – и все это сопровождалось страшными землетрясениями, хотя окружающие не замечали ничего подобного.

* Боязнь открытых площадей, широких улиц.

Далее Кардано воображал, что его преследуют и за ним шпионят все правительства, что против него ополчился целый сонм врагов, которых он не знал даже по имени и никогда не видел и которые, как он сам говорит, чтобы опозорить и довести его до отчаяния, осудили на смерть даже нежно любимого им сына. Наконец, ему представилось, что профессора университета в Павии отравили его, пригласив специально для этой цели к себе, так что если он остался цел и невредим, то единственно лишь благодаря помощи св. Мартина и Богородицы. И такие вещи высказывал писатель, бывший в теологии смелым предшественником Дюньюи и Ренана!

Кардано сам признавался, что обладает всеми пороками – склонен к пьянству, к игре, ко лжи, к разврату и зависти. Он говорит также, что раза четыре во время полнолуния замечал в себе признаки полного умопомешательства.

Впечатлительность у него была извращена до такой

степени, что он чувствовал себя хорошо только под влиянием какой-нибудь физической боли, так что даже причинял ее себе искусственно, до крови кусая губы или руки. "Если у меня ничего не болело, – пишет он, – я старался вызвать боль ради того приятного ощущения, какое доставляло мне прекращение боли и ради того еще, что, когда я не испытывал физических страданий, нравственные мучения мои делались настолько сильными, что всякая боль казалась мне ничтожной в сравнении с ними". Эти слова вполне объясняют, почему многие сумасшедшие с каким-то наслаждением причиняют себе физические страдания самыми ужасными способами.*

* Байрон тоже говорил, что перемежающаяся лихорадка доставляет ему удовольствие вследствие того приятного ощущения, каким сопровождается прекращение пароксизма.

Наконец, Кардано до того слепо верил в пророческие сны, что напечатал даже нелепое сочинение "О сновидениях". Он руководствовался снами в самых важных случаях своей жизни, например при подаче медицинских советов, при заключении своего брака, и, между прочим, под влиянием сновидения писал сочинения, как, например, "О разнообразии вещей" и "О лихорадках".*

* "Однажды во сне я услышал прелестнейшую музыку, – говорит он, – я проснулся, и в голове у меня явилось решение вопроса относительно того, почему одни лихорадки имеют смертельный исход, а другие нет, – решение, над которым я тщетно трудился в продолжение 25 лет. Во время сна у меня явилась потребность написать эту книгу, разделенную на 21 часть, и я работал над ней с таким наслаждением, какого никогда прежде не испытывал".

Будучи импотентным до 34 лет, он во сне снова получил способность к половым отправлениям и во сне же ему была указана его будущая подруга жизни, правда, не особенно хорошая, дочь какого-то разбойника, которой, по его словам, он никогда не видел раньше. Эта безумная вера в сновидения до того овладела Кардано, что он руководствовался ими даже в своей медицинской практике, в чем он сам с гордостью сознавался.

Мы могли бы привести из жизни этого гениального безумца еще множество фактов, то забавных и нелепых, то ужасных и возмутительных, но ограничимся одним, соединяющим в себе все эти качества его, – сновидением,

касающимся драгоценного камня (gemma).

В мае 1560 года, когда Кардано шел уже 62-й год, сын его был публично признан отравителем. Это несчастье глубоко потрясло бедного старика, и без того не обладавшего душевным спокойствием. Он искренно любил своего сына как отец, доказательством чего служит, между прочим, прелестное стихотворение "На смерть сына", где в такой высокохудожественной форме выражена истинная скорбь, и в то же время он, как самолюбивый человек, надеялся видеть в сыне те же таланты, какими обладал сам. Кроме того, в этом осуждении, еще более усилившем его сумасбродные идеи липеманьяка, несчастный считал виновными своих воображаемых врагов, составивших против него заговор. "Подавленный таким горем, – пишет он по этому поводу, – я тщетно искал облегчения в занятиях, в игре и в физических страданиях, кусая свои руки или нанося себе удары по ногам (мы знаем, что он и раньше прибегал к подобному средству для своего успокоения). Я не спал уже третью ночь и наконец, часа за два до рассвета, чувствуя, что я должен или умереть, или сойти с ума, я стал молиться Богу, чтобы Он избавил меня от этой жизни. Тогда, совершенно неожиданно, я заснул и вдруг почувствовал, что ко мне приближается кто-то, скрытый от меня окружающим мраком, и говорит: "Что ты сокрушаешься о сыне?.. Возьми камень, висящий у тебя на шее, в рот и, пока ты будешь прикасаться к нему губами, ты не будешь вспоминать сына". Проснувшись, я не поверил, чтобы могла существовать какая-нибудь связь между изумрудом и забвением, но, не зная иного средства облегчить нестерпимые страдания и припомнив священное изречение "Credidit, et reputatum ei est ad justitiam", я взял в рот изумруд. И что же? Вопреки моим ожиданиям, всякое воспоминание о сыне вдруг исчезло из моей памяти, так что я снова заснул. Затем, в продолжение полутора лет я вынимал свой драгоценный камень изо рта только во время еды и чтения лекций, но тогда ко мне возвращались прежние страдания". Странное лечение это основывалось на игре слов (непереводимой по-русски), так как gioia – радость и gemme – драгоценный камень происходят от одного корня. Сказать по правде, Кардано в этом случае не нуждался даже в откровении, сделанном ему во время сна, потому что еще раньше, основываясь на этимологии, ложно им понятой, он приписывал драгоценным камням благотворное влияние на людей.*

* "Драгоценные камни, представляющиеся нам во сне, имеют символическое значение детей, чего-нибудь неожиданного, даже радостного, потому что по-

итальянски слово *gloire* (пользоваться), происходящее от *gemme*, означает в то же время и наслаждаться". Страсть к подобной игре слов мы встречаем у всех маньяков.

На закате своей многострадальной жизни Кардано, подобно Руссо и Галлеру, написал свою автобиографию и предсказал день желанной для него смерти. В назначенный день он действительно умер или, может быть, умертвил себя, чтобы доказать безошибочность своего предсказания.

Познакомимся теперь с жизнью Тассо. Для тех, кому неизвестна брошюрка Верга "Липемания Тассо", мы приводим отрывок из его письма, где он говорит о себе: "Я нахожусь постоянно в таком меланхолическом настроении, что все считают меня помешанным, и я сам разделяю это мнение, так как, не будучи в состоянии сдерживать своих тревожных мыслей, я часто и подолгу разговариваю сам с собою. Меня мучат различные наваждения, то человеческие, то дьявольские. Первые – это крики людей, в особенности женщин, и хохот животных, вторые – это звуки песен и пр. Когда я беру в руки книгу и хочу заниматься, в ушах у меня раздаются голоса, причем можно расслышать, что они произносят имя Паоло Фульвии".

В своем сочинении "Messaggero" ("Посланник" или "Мессия"), сделавшемся впоследствии для Тассо предметом галлюцинаций, он несколько раз признавался, что потерял рассудок вследствие злоупотреблений вином и любовью. Поэтому мне кажется, что он изобразил самого себя в "Tirsi dell'Aminta" и в той прелестной октаве, которую любил повторять другой липеманьяк – Руссо:

Мучимый страхом, сомнением и злобой,
Должен я жить одиноким скитальцем,
Вечно пугаясь с безумной тревогой
Призраков мрачных и грозных видений,
Созданных мной же самим в час недуга.
Солнце напрасно мне будет светить,
В нем я увижу не брата, не друга,
Но лишь помеху терзаньям моим...
В тщетных стараньях уйти от себя,
Вечно останусь с собой я самим.

Под влиянием галлюцинаций или в припадке бешенства Тассо, схватив однажды нож, бросился с ним на слугу, вошедшего в кабинет тосканского герцога, и был заключен за это в тюрьму. Сообщая об этом факте, посланник, бывший тогда в Тоскане, говорит, что несчастного поэта

подвергли заключению скорее с целью вылечить, чем наказать за такой сумасбродный поступок.

После того Тассо постоянно переезжал с места на место, нигде не находя покоя: всюду преследовала его тоска, беспричинные угрызения совести, боязнь быть отравленным и страх перед муками ада, ожидающими его за высказываемые им еретические мнения, в которых он сам обвинял себя в трех письмах, адресованных "слишком кроткому" инквизитору.

"Меня постоянно мучат тяжелые, грустные мысли, – жаловался Тассо врачу Кавалларо, – а также разные фантастические образы и призраки: кроме того, я страдаю еще слабостью памяти, поэтому прошу вас, чтобы к пилюлям, которые вы назначите мне, было прибавлено что-нибудь для ее укрепления". "Со мною случаются припадки бешенства, – писал он Гонзаго, – и меня удивляет, что никто еще не записал, какие вещи я говорю иногда сам с собой, по своему произволу наделяя себя при этом воображаемыми почестями, милостями и любезностями со стороны простых людей, императоров и королей".

Это странное письмо служит доказательством, что мрачные мучительные мысли перемежались у Тассо с забавными и веселыми. К сожалению, первые являлись гораздо чаще, как он прекрасно выразил это в следующем сонете:

Я устал бороться с толпою теней
Печальных и мрачных иль светло-прекрасных,
Моей ли фантазии жалких детей,
Иль вправду врагов мне опасных?
Найду ли я сил победить их один,
Беспомощный, слабый отшельник, –
Не знаю, но страх надо мной властелин,
Не он ли и есть мой волшебник!

В последних строках заметно сомнение в действительности вызванных бредом галлюцинаций, что служит доказательством, как упорно боролся этот мощный, привыкший к логическому мышлению ум с болезненными, нелепыми представлениями. Но увы! Такие сомнения являлись слишком редко.

Через несколько времени Тассо писал Каттанео:

Упражнения нужнее теперь для меня, чем лекарство,
потому что болезнь моя *сверхъестественного*

*происхождения. Скажу несколько слов о домовом: этот негодяй часто ворует у меня деньги, производит полнейший беспорядок в моих книгах, открывает ящики и таскает ключи, так что, уберечься от него нет никакой возможности. Я мучусь постоянно, в особенности *по ночам* и знаю, что страдания мои обуславливаются *помешательством* (frenesia).*

В другом письме он говорит:

Когда я не сплю, мне кажется, что передо мной мелькают в воздухе яркие огни, и глаза у меня бывают иногда до того воспалены, что я боюсь потерять зрение; в другое время я слышу страшный грохот, свист, дребезг, звон колоколов и такой неприятный шум, как будто от боя нескольких стенных часов. А во сне я вижу, что на меня бросается лошадь и опрокидывает на землю или что я весь покрыт нечистыми животными. После этого все члены у меня болят, голова делается тяжелой, но вдруг посреди таких страданий и ужасов передо мною появляется образ Святой Девы, юной и прекрасной, держащей на руках своего сына, увенчанного радужным сиянием.

По выходе из больницы он рассказывал тому же Каттанео, что "домовой" распространяет письма, в которых сообщаются сведения о нем, Тассо.

Я считаю это, – говорил он, – одним из тех чудес, какие нередко бывали со мной и в больнице: без сомнения, это дело какого-нибудь волшебника, на что у меня есть немало доказательств, и в особенности тот факт, что однажды, в три часа, у меня на глазах исчез куда-то мой хлеб. Когда Тассо захворал горячкой, его излечила Богородица своим появлением, и в благодарность ей за это он написал сонет, напоминавший собою "Messagiero". Дух являлся несчастному поэту в такой осязательной форме, что он говорил с ним и чуть только не прикасался к нему руками. Этот дух вызывал в нем идеи, раньше, по его словам, не приходившие ему в голову.

Свифт, отец иронии и юмора, уже в своей молодости предсказал, что его ожидает помешательство; гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, на вершине своей почти лишенный листьев, и сказал: "Я точно так же начну умирать с головы". До крайности гордый с высшими, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил время в обществе картежников. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили, что, прежде чем дать ему сан епископа, его следует снова окрестить. Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный

относительно друзей – так охарактеризовал он сам себя. Непоследовательность в нем была удивительная: он приходил в страшное отчаяние по поводу смерти своей нежно любимой Стеллы и в то же самое время сочинял комические письма "О слугах". Через несколько месяцев после этого он лишился памяти, и у него остался только прежний резкий, острый как бритва язык. Потом он впал в мизантропию и целый год провел один, никого не видя, ни с кем не разговаривая и ничего не читая; по десяти часов в день ходил по своей комнате, ел всегда стоя, отказывался от мяса и бесился, когда кто-нибудь входил к нему в комнату. Однако после появления у него чирьев (вереда) он стал как будто поправляться и часто говорил о себе: *"Я сумасшедший"*, но этот светлый промежуток продолжался недолго, и бедный Свифт снова впал в бессмысленное состояние, хотя проблески иронии, сохранившейся в нем даже и после потери рассудка, еще вспыхивали порою; так, когда в 1745 году устроена была в честь его иллюминация, он прервал свое продолжительное молчание словами: "Пусть бы эти сумасшедшие хотя не сводили других с ума".

В 1745 году Свифт умер в полном расстройстве умственных способностей. После него осталось написанное задолго перед этим завещание, в котором он отказал 11000 фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Сочиненная им тогда же для себя эпитафия служит выражением ужасных нравственных страданий, мучивших его постоянно: *"Здесь лежит Свифт, сердце которого уже не надывается больше от гордого презрения"*.

Ньютон, покоривший своим умом все человечество, как справедливо писали о нем современники, в старости тоже страдал настоящим психическим расстройством, хотя и не настолько сильным, как предыдущие гениальные люди. Тогда-то он и написал, вероятно, "Хронологию", "Апокалипсис" и "Письмо к Бентлею", сочинения туманные, запутанные и совершенно не похожие на то, что было написано им в молодые годы.

В 1693 году, после второго пожара в его доме и после непомерно усиленных занятий, Ньютон в присутствии архиепископа начал высказывать такие странные, нелепые суждения, что друзья нашли нужным увезти его и окружить самым заботливым уходом. В это время Ньютон, бывший прежде до того робким, что даже в экипаже ездил не иначе, как держась за ручки дверец, затеял дуэль с Вилларом, желавшим драться непременно в Севеннах. Немного спустя он написал два приводимых ниже письма,

сбивчивый и запутанный слог которых вполне доказывает, что знаменитый ученый совсем еще не оправился от овладевшей им мании преследования, которая действительно развилась у него снова несколько лет спустя. Так, в письме к Локку он говорит:

Предположив, что вы хотите запутать (embrace) меня при помощи женщин и других соблазнов, и заметив, что вы чувствуете себя дурно, я начал ожидать (желать) вашей смерти. Прошу у вас извинения в этом, а также в том, что я признал безнравственными как ваше сочинение "Об идеях", так и те, которые вы издадите впоследствии. Я считал вас последователем Гоббса. Прошу вас извинить меня за то, что я думал и говорил, будто вы хотели продать мне место и запутать меня. Ваш злополучный Ньютон.

Несколько определеннее он говорит о себе в письме к Пепи:

С приближением зимы все привычки мои перепутались, затем болезнь довела эту путаницу до того, что в продолжение двух недель я не спал ни одного часа, а в течение последних *пяти* дней даже ни одной *секунды* (какая математическая точность). Я помню, что писал вам, но не знаю, что именно; если вы пришлете мне письмо, то я вам объясню его.

Ньютон находился в это время в таком состоянии, что, когда у него спрашивали разъяснения по поводу какого-нибудь места в его сочинениях, он отвечал: "Обратитесь к Муавру – он смыслит в этом больше меня".

Кто, не бывши ни разу в больнице для умалишенных, пожелал бы составить себе верное представление о душевных муках, испытываемых липеманьяком, тому следует только прочесть сочинения Руссо, в особенности последние из них – "Исповедь", "Диалоги" и "Прогулки одинокого мечтателя" ("Rêveries").

Я обладаю жгучими страстями, – пишет Руссо в своей "Исповеди", – и под влиянием их забываю о всех отношениях, даже о любви: вижу перед собою только предмет своих желаний, но это продолжается лишь одну минуту, вслед за которой я снова впадаю в апатию, в изнеможение. Какая-нибудь картина соблазняет меня больше, чем деньги, на которые я мог бы купить ее! Я вижу вещь... она мне нравится; у меня есть и средства приобрести ее, но нет, это не удовлетворяет меня. Кроме того, когда мне нравится какая-нибудь вещь, я предпочитаю взять ее сам, а не просить, чтобы мне ее

подарили.

В том-то и состоит различие между kleптоманом* и обыкновенным вором, что первый крадет по инстинкту, в силу потребности, второй – по расчету, ради приобретения: первого прельщает всякая понравившаяся ему вещь, второго же – только вещь ценная.

* Kleптомания – болезненная страсть к воровству.

Будучи рабом своих чувств, – продолжает он, – я никогда не мог противостоять им; самое ничтожное удовольствие в настоящем больше соблазняет меня, чем все утехы рая.

И действительно, ради удовольствия присутствовать на братском пиршестве (отца Понтьера) Руссо сделался вероотступником, а вследствие своей трусости без сострадания покинул на дороге своего приятеля-эпилептика.

Однако не одни страсти его отличаются болезненной пылкостью – самые умственные способности были у него с детства и до старости в ненормальном состоянии, доказательства чего мы тоже встречаем в "Исповеди", как, например:

Воображение разыгрывается у меня тем сильнее, чем хуже мое здоровье. Голова моя так устроена, что я не умею находить прелесть в действительно существующих хороших вещах, а только в воображаемых. Чтобы я красиво описал весну, мне необходимо, чтобы на дворе была зима.

Отсюда становится понятным, почему Свифт, тоже помешанный, писал самые веселые из своих писем во время предсмертной агонии Стеллы и почему как он, так и Руссо с таким мастерством изображали все нелепое.

Реальные страдания оказывают на меня мало влияния, – продолжает Руссо, – гораздо сильнее мучусь я теми, которые придумываю себе сам: ожидаемое несчастье для меня страшнее уже испытываемого.

Не потому ли некоторые из боязни смерти лишают себя жизни?

Стоило Руссо прочесть какую-нибудь медицинскую книгу – и ему тотчас же представлялось, что у него все болезни, в ней описанные, причем он изумлялся, как он остается жив, страдая такими недугами. Между прочим, он воображал, что у него полип в сердце. По его собственному объяснению, такие странности являлись у

него вследствие преувеличенной, ненормальной чувствительности, не имевшей правильного исхода.

Бывает время, – говорит он, – когда я так мало похож на самого себя, что меня можно счесть совершенно иным человеком. В спокойном состоянии я чрезвычайно робок, идеи возникают у меня в голове медленно, тяжело, смутно, только при известном возбуждении; я застенчив и не умею связать двух слов; под влиянием страсти, напротив, я вдруг делаюсь красноречивым. Самые нелепые, безумные, ребяческие планы очаровывают, пленяют меня и кажутся мне удобоисполнимыми. Так, например, когда мне было 18 лет, я отправился с товарищем путешествовать, захватив с собою фонтанчик из бронзы, и был уверен, что, показывая его крестьянам, мы не только прокормимся, но даже разбогатеем.

Несчастный Руссо перепробовал почти все профессии, от высших до самых низших, и не остановился ни на одной из них: он был и вероотступником (рenegатом) из-за денег, и часовщиком, и фокусником, и учителем музыки, и живописцем, и гравером, и лакеем, и, наконец, чем-то вроде секретаря при посольстве.

Точно так же в литературе и в науке он брался за все отрасли, занимаясь то медициной, то теорией музыки, то ботаникой, теологией и педагогией. Злоупотребление умственным трудом (особенно вредное для мыслителя, идеи которого развивались туго и с трудом), а также все увеличивающееся самолюбие сделали мало-помалу из ипохондрика меланхолика и наконец – настоящего маньяка.

Волнение и злоба потрясли меня до такой степени, – говорит он, – что я в течение *десяти лет страдал бешенством* и успокоился только теперь.

Успокоился! Когда хроническое умственное расстройство не позволяло ему, даже на короткий срок, найти границу между действительными страданиями и воображаемыми.

Ради отдохновения он покинул большой свет, где всегда чувствовал себя неловко, и удалился в уединенную местность, в деревню: но и там городская жизнь не давала ему покоя: болезненное тщеславие и отголоски светского шума омрачали для него красоту природы. Тщетно Руссо старался убежать в леса – безумие следовало туда за ним и настигало его всюду.

Таким образом, Руссо являлся как бы олицетворением того

образа, который создал Тассо в своей октаве:

...и скрыться от себя стараясь,
Всегда останусь я с самим собой.

Вероятно, он и намекал на это стихотворение, когда уверял Корансе (Coransez), что считает Тассо своим пророком. Потом несчастный автор "Эмиля" начал воображать, что Пруссия, Англия, Франция, короли, женщины, духовенство, вообще весь род людской, оскорбленный некоторыми местами его сочинений, объявили ему ожесточенную войну, последствиями которой и объясняются испытываемые им душевные страдания.

В своей утонченной жестокости, – пишет он, – враги мой забыли только соблюдать постепенность в причиняемых мне мучениях, чтобы я мог понемногу привыкнуть к ним.

Самое большое проявление злобы этих коварных мучителей Руссо видит в том, что они осыпают его похвалами и благодеяниями. По его мнению, "им удалось даже подкупить продавцов зелени, чтобы они отдавали ему свой товар дешевле и лучшего качества, – наверное, враги сделали это с целью показать его низость и свою доброту".

По приезде Руссо в Лондон его меланхолия перешла в настоящую манию. Вообразив, что Шуазель разыскивает его с намерением арестовать, он бросил в гостинице деньги, вещи и бежал на берег моря, где платил за свое содержание кусками серебряных ложек. Так как ему не удалось тотчас же уехать из Англии по случаю противного ветра, то он и это приписал влиянию заговора против него. Тогда, в сильнейшем раздражении, он с вершины холма произнес на плохом английском языке речь, обращенную к сумасшедшей Вартон, которая слушала его с изумлением и, как ему казалось, с умилением.

Но и по возвращении во Францию Руссо не избавился от своих невидимых врагов, шпионивших за ним и объяснявших в дурную сторону каждое его движение.

Если я читаю газету, – жалуется он, – то говорят, что я замышляю заговор, если понюхаю розу – подозревают, что я занимаюсь исследованием ядов с целью отравить моих преследователей.

Все ставится ему в вину, а чтобы лучше наблюдать за ним, у двери его дома помещают продавца картин, устраивают

так, что эта дверь не запирается, и пускают в дом его посетителей только тогда, как успеют возбудить в них ненависть к нему. Враги восстанавливают против него содержателя кафе, парикмахера, хозяина гостиницы и пр. Когда Руссо желает, чтобы ему почистили башмаки, у мальчика, исполняющего эту обязанность, не оказывается ваксы; когда он хочет переехать через Сену – у перевозчиков нет лодки. Наконец, он просит, чтобы его заключили в тюрьму, но... даже в этом встречает отказ. С целью отнять последнее оружие – печатное слово – враги арестуют и сажают в Бастилию издателя, *совершенно ему незнакомого*.

Обычай сжигать во время поста соломенное чучело, изображавшее того или другого еретика, был уничтожен – его снова восстановили, конечно, для того, чтобы сжечь мое изображение; и в самом деле, надетое на чучело платье походило на то, что я ношу обыкновенно.

В деревне Руссо встретил раз улыбающегося, ласкового мальчика; но, повернувшись, чтобы в свою очередь приласкать его, он вдруг увидел перед собою взрослого мужчину и по его *печальной* физиономии (обратите внимание на этот странный эпитет) узнал в нем одного из приставленных к нему врагами шпионов.

Под влиянием мании, считая себя гонимым, он написал "*Диалоги: Руссо судит Жан Жака*", где, с целью смягчить несметное множество преследующих его врагов, подробно и тщательно изобразил свои галлюцинации. Чтобы распространить в публике это оправдательное сочинение, несчастный безумец начал раздавать экземпляры его на улице всем прохожим, судя по *лицу* которых можно было думать, что они *не находятся под влиянием* не дающих ему покоя недругов.

В этом сочинении он обращается ко всем французам, *поклонникам справедливости*, но – странное дело! – несмотря на такой лестный эпитет, а может быть, именно благодаря ему не нашлось ни одного человека, который принял бы эту брошюрку с удовольствием; напротив, многие отказывались взять ее! Убедившись тогда, что ему нечего ждать на земле от людей, Руссо, подобно Паскалю, обратился с письмом, очень нежно и фамильярно написанным, к самому Богу, а чтобы оно вернее достигло своего назначения и принесло ожидаемую пользу, положил его и рукопись "*Диалогов*" под алтарь церкви Богоматери в Париже, как будто, по представлению этого маньяка, Создатель вселенной, отвлеченное, вездесущее Божество, только и может находиться под сводами

парижского собора.

На основании всех этих фактов нельзя не признать справедливым мнение Вольтера и Корансе, что Руссо "был сумасшедший и сам всегда сознавался в этом". К тому же из многих мест "Исповеди", а также из писем Грима видно, что у Руссо, кроме других болезней, был еще паралич мочевого пузыря и сперматорея (непроизвольное истечение семени), что, по всей вероятности, обуславливалось поражением спинного мозга и должно было, без сомнения, усиливать припадки меланхолии.

Вся жизнь величайшего из современных лирических поэтов, Ленау, недавно скончавшегося в Доблинговой больнице для умалишенных, представляет с самого раннего детства смесь гениальности и сумасшествия. Отец его был знатный барин, гордый и порочный, а мать – до крайности впечатлительная особа, страдавшая меланхолией и зараженная аскетизмом. Ленау с детства обнаруживал меланхолическое настроение, склонность к мистицизму и любовь к музыке. Этой последней он занимался всего охотнее, хотя изучал также медицину, юриспруденцию и сельское хозяйство. В 1831 году Кернер заметил, что настроение его почти постоянно было печальное, меланхолическое и что он проводит целые ночи один в саду, играя на своем любимом инструменте. Через несколько времени Ленау писал своей сестре: "Я чувствую, что приближаюсь к своей гибели: демон безумия овладел моим сердцем, я – сумасшедший; говорю тебе это, сестра, зная, что ты все-таки по-прежнему будешь любить меня". Этот демон скоро принудил его оставить Германию и отправиться, почти без всякой цели, в Америку. По возвращении оттуда он был встречен на родине празднествами и всеобщим восторгом, но, по его словам, "ипохондрия глубоко запустила свои зубы в его сердце и ничто не могло его развеселить". Вскоре это бедное сердце начало страдать и физически: у Ленау сделался перикардит (воспаление сердечной оболочки), от которого он потом уже не мог вылечиться. С тех пор несчастный страдалец лишился своего лучшего друга – сна, этого единственного избавителя от невыносимых страданий, и по целым ночам мучился страшными видениями.

Можно подумать, – объясняет он свое состояние образами, как это делают все помешанные, – можно подумать, что дьявол устраивает охоту у меня в животе: я слышу там постоянный лай собак и злобный адский шум. Без шуток – есть от чего прийти в отчаяние!

Мизантропия, которой, как мы уже видели, страдали Галлер, Свифт, Кардано и Руссо, появилась у Ленау в 1840 году со всеми признаками мании. Он стал бояться, ненавидеть и презирать людей. В Германии в честь его устраивали празднества, воздвигали триумфальные арки, а он бежал прочь из нее и бесцельно скитался по свету; раздражение и злоба нападали на него без всякой причины, он чувствовал себя неспособным к работе, как человек, по его собственным словам, "с поврежденным черепом", и потерял аппетит. Болезненная склонность к мистицизму, обнаружившаяся в нем с детства, появилась у него снова: он принялся за изучение гностиков, начал перечитывать биографии колдунов, так пленявшие его в молодости, выпивал громадные количества кофе и ужасно много курил.

Замечательно, – признавался он, – до какой степени физическое движение и в особенности курение сигар вызывает у меня в голове целый рой новых мыслей.

Он писал ночи напролет, переезжал с места на место, путешествовал... женился, задумывал громадные работы и ни одной из них не довел до конца.

Это были последние вспышки великого ума. С 1844 года Ленау все чаще жалуется на головные боли, постоянный пот и страшную слабость. "Света, света недостает мне", – писал он. Немного спустя у него сделался паралич левой руки, мускулов глаз и обеих щек; он стал писать с орфографическими ошибками и употреблять нелепые созвучия. Наконец (12 октября) им вдруг овладела страсть к самоубийству; когда его удержали от покушения на свою жизнь, он впал в бешенство, дрался, ломал все, жег свои рукописи, но мало-помалу успокоился, пришел в нормальное состояние и даже написал тщательный анализ своего припадка в стихотворении "Traumgewalte" ("Во власти бреда"), представляющем нечто ужасное, хаотическое. Это был последний луч света, озаривший для него ночной мрак, или, как метко выразился Шиллинг, – последняя победа гения над помешательством. Здоровье Ленау все ухудшалось; после новой попытки лишить себя жизни им овладело то роковое состояние довольства и приятного возбуждения, которое всегда предшествует прогрессивному развитию паралича.

Я наслаждаюсь теперь жизнью, – говорил он, – наслаждаюсь потому, что прежние ужасные видения сменились теперь светлыми, прелестными образами.

Ему представлялось, что он находится в Валгале вместе с

Гете, или он воображал себя королем Венгрии, победителем во многих битвах, причем доказывал свои права на венгерский престол.

В 1845 году он потерял обоняние, всегда отличавшееся у него необыкновенной тонкостью, сделался равнодушным к своим любимым цветам – фиалкам и даже перестал узнавать старых друзей.

Однако и в этом печальном положении Ленау написал одно стихотворение, хотя и проникнутое крайним мистицизмом, но не лишенное прежней античной прелести стиха. Однажды, когда его подвели к бюсту Платона, он сказал: "Вот человек, который выдумал глупую любовь". В другой раз, услышав, что о нем сказал кто-то: "Здесь живет великий Ленау", он заметил на это: *"Теперь Ленау сделался совсем маленьким"* и долго плакал потом. Он умер 21 августа 1850 года. Последние его слова были: "Несчастный Ленау". Вскрытие обнаружило у него только немного серозной жидкости в желудочках мозга и следы воспаления сердечной оболочки.

В той же больнице Доблинга умер несколько лет тому назад другой великий человек – венгерский патриот Сечени, организатор судоходства по Дунаю, основатель Мадьярской Академии и главный деятель революции 1848 года. Во время торжества ее, будучи министром, он вдруг стал однажды просить своего товарища, тоже министра, Кошута, чтобы тот не приговаривал его к виселице. Сначала все приняли это за шутку, но – увы! – шутки тут не было... Предвидя бедствия, грозившие его родине, и несправедливо считая себя виновником их, Сечени впал в манию преследования, которая вскоре перешла в страсть к самоубийству. Когда Сечени несколько успокоился, на него напала болтливость чисто патологического свойства, особенно странная в дипломате и заговорщике, так что стоило ему только встретить кого-нибудь в больнице – все равно, был ли это идиот, сумасшедший или злейший враг его родины – и он тотчас же вступал с ним в длинейшие рассуждения, причем обвинял себя во всевозможных выдуманных им преступлениях. В 1850 году у него явилась прежняя страсть к шахматной игре, но и она приняла характер мании: пришлось нанять бедного студента, который играл с ним в шахматы по 10-12 часов кряду. На студента это подействовало так дурно, что он сошел с ума, но состояние самого Сечени улучшилось: он стал менее нелюдим, чем прежде, когда не мог без отвращения видеть даже своих близких родных.

Из болезненных признаков у него осталось только

отвращение к ярко освещенным полям, нежелание выходить из своей комнаты и склонность к одиночеству, так что даже нежно любимых им сыновей он допускал к себе лишь по несколько раз в месяц. Во время этих редких посещений он усаживал дорогих гостей у стола, около себя, и читал им свои произведения. Но выманить его самого в парк стоило всегда чрезвычайных усилий. Несмотря на душевную болезнь, Сечени не только сохранил полную ясность мысли, но ум его как будто приобрел еще большую мощь. Он внимательно следил за литературными новостями Германии и Венгрии и жадно ловил каждый признак улучшения в судьбе своей родины. Когда вследствие австрийской интриги замедлилось окончание постройки восточной железной дороги, проложенной благодаря усилиям этого великого патриота, он написал Зичи (Zichy) письмо, уже по одному маленькому отрывку из которого можно судить о том, какой глубокий мыслитель был Сечени:

Все, некогда существовавшее в мире, не исчезает из него, но появляется в другой форме, при других условиях. Разбитая бутылка, конечно, уже не годится для своего прежнего назначения, но эти жалкие осколки не уничтожаются и, будучи положены в горн, могут еще превратиться в новый сосуд, где заблестит царское вино – токай, тогда как раньше бутылка, может быть, заключала в себе плохое вино... Для венгерца нет большей похвалы, как если о нем скажут, что он остался непоколебим. Ты знаешь, милый друг, наш старинный девиз: "Стоять твердо даже в грязи", – останемся же верны ему, несмотря на упреки наших братьев, и будем работать для общего блага. Удержаться на своем посту, посреди комьев грязи, бросаемых в лицо братьев и товарищей по оружию легкомысленными или фанатичными патриотами, упрямо удерживать за собою раз занятый пост, хотя бы сердце надрывалось при этом от оскорблений, – вот лозунг и пароль нашего времени.

В 1858 году, когда австрийский министр стал оказывать давление на Венгерскую Академию с целью добиться уничтожения того параграфа, по которому разработка мадьярского языка считалась ее главным назначением, Сечени написал другое письмо, отлично рисующее возвышенный характер этого патриота.

Могу ли я молчать, – пишет он, – видя, как уничтожается засеянная мною нива? Могу ли я забыть услуги, оказанные нам этим могущественным учреждением? Я предлагаю этот вопрос, я – страдающий совсем не помрачением рассудка, но роковой способностью видеть слишком ясно,

слишком отчетливо, не обманывая себя никакими иллюзиями. Разве я не обязан забить тревогу, когда вижу, что наше правительство (династия), под влиянием каких-то злобных наветов, с ожесточением преследует самый живучий из подвластных ему народов, народ, которому судьба готовит великую будущность? Его хотят не только уничтожить, но задушить, отнять у него все характеристические особенности, вырвать с корнем вековое имперское дерево. Как основатель этой Академии, я должен возвысить теперь свой голос. Пока голова держится у меня на плечах, пока ум мой еще не окончательно омрачился и глаза мои не покрылись вечным мраком, я буду твердо стоять на том, что право изменять устав Академии принадлежит мне. Император наш рано или поздно придет к тому убеждению, что слить в одно целое, ассимилировать все народы, живущие в подвластном ему государстве, есть не что иное, как утопия, придуманная его министрами; наступит время, когда все эти народы отделятся от империи и только одни венгерцы, не имеющие расового сродства с другими европейскими нациями, будут стремиться достигнуть предназначенного им судьбою развития под охраной королевской династии.

Это было в 1858 году. На следующий год, еще до разгара войны, Сечени предсказывал ее неудачный исход и результаты. "Кризисы обыкновенно оканчиваются выздоровлением, - говорил он, - если только болезнь излечима". Около этого времени была издана им в Лондоне книга, где в странной, юмористической, но вместе с тем и мрачной форме он рассказывает, какие бедствия испытала Венгрия под железным управлением Баха, очерчивает будущность ее и советует держаться политики соглашения, примирения с Австрией, но не подчинения ей.

В сущности, это жалкая ничтожная книжонка, - говорил он о своем труде, - но знаете ли вы, как образовался остров Маргариты? Согласно древнему преданию, на том месте, где он теперь находится, протекал прежде Дунай; каким-то образом на дно его попала однажды падаля и застряла в песке; и вот около нее постепенно стал образовываться остров. Моя книга есть тоже нечто вроде этой падали, - кто знает, что может выйти из нее со временем!

Через несколько месяцев Баха сменил Гюбнер, и либеральная система управления была впервые введена в Венгрии. Бедный Сечени не помнил себя от восторга; из своего скромного убежища он поддерживал нового министра, посылал ему проекты реформ, сочинял и

редактировал планы возрождения Австрии, не забывая, конечно, при этом и свою родную Венгрию.

Многие из великих австрийских государственных деятелей приезжали тогда к нему за советами и черпали вдохновение в его умной беседе. К несчастью, восторг слишком скоро сменился разочарованием: место Гюбнера занял Тьерри, бездарный ученик Баха, приверженец старой системы и прежних австрийских порядков: все реформы были тотчас же отложены в долгий ящик.

Трудно представить, в какое отчаяние пришел несчастный Сечени, узнав об этом... Он зовет к себе Рехберга, просит его предупредить, пока еще есть время, императора об ошибочности такого образа действий и предлагает программу двух отдельных конституций для Австрии и Венгрии; согласно этой программе внутренние вопросы должны были разрешаться каждым государством отдельно, внешние же, касающиеся блага всей империи, – сообща. Однако Рехберг не обладал прозорливостью гениального безумца Сечени и сказал, покачивая головой: "Сейчас видно, что эта программа написана в доме умалишенных". Мало того, министр Тьерри, заподозрив в великом мадьярском патриоте простого заговорщика, посылает отряд жандармов произвести у него в больнице обыск, грозит ему тюремным заключением и велит отнять у него даже любимые бумаги.

Несчастный безумец, умопомешательство которого проявлялось лишь в неудержимой потребности быть полезным своей родине и в мучительном сознании, что он недостаточно много работал для нее, убедился теперь, что для него закрыты все пути к деятельности, и в порыве отчаяния, после неудачной попытки заглушить жгучие страдания непрерывной игрой в шахматы, наконец лишил себя жизни выстрелом из револьвера. Это было 8 апреля 1860 года, а в 1867 году император Франц Иосиф I сделался королем Венгрии, осуществив все, о чем мечтал погибший в больнице Доблинга безумец, и Рехбергу, осмеявшему составленную им программу, поручено было применить ее на практике.

Известно, что Гофман, самый причудливый из поэтов, обладал замечательными способностями не только к поэзии, но также к рисованию и музыке; он является творцом особого рода фантастической поэзии, хотя рисунки его всегда переходили в карикатуры, рассказы отличались несообразностью, а музыкальные произведения представляли какой-то хаотический набор звуков. И вот этот оригинальный писатель страдал запоем

и уже за много лет до смерти писал в своем дневнике:

Почему это, как наяву, так и во сне, мысли мои невольно сосредоточиваются на печальных проявлениях сумасшествия. Беспорядочные идеи вырываются у меня из головы подобно крови, хлынувшей из открытой жилы...

К атмосферным явлениям Гофман был до того чувствителен, что на основании своих субъективных ощущений составлял таблицы, совершенно сходные с показаниями термометра и барометра. В продолжение многих лет он страдал манией преследования и галлюцинациями, в которых созданные им поэтические образы представлялись ему действительно существующими.

Знаменитый анатом Фодера отличался многими странностями: так, он часто уверял, что может приготовить хлеба на двести тысяч человек, пользуясь одной только простой печью, и обратиться в бегство какую угодно, хотя бы миллионную, армию при помощи сорока солдат. Лет в 50 он воспылил страстью к девушке, жившей на противоположной стороне улицы, и, чтобы вызвать взаимность в предмете своей любви, не нашел лучшего средства, как показаться ему совершенно голым, выйдя для этого на балкон. На улице он останавливался перед этой девушкой и любовался ею в немом восторге. Той наконец до того надоело это преследование, что она вылила ведро помоев на голову своего обожателя, который, однако, принял это не за оскорбление, а, напротив, за выражение любви и, совершенно счастливый, вернулся домой. Увидев на дворе цыпленка, Фодера нашел в нем большое сходство со своей возлюбленной, тотчас же купил его и начал ласкать и целовать. Этому цыпленку дозволялось все: пачкать книги, мебель, платье и даже садиться на постель.

Шопенгауэр наследовал, по собственному его сознанию, ум от матери, энергичной, хотя и бессердечной женщины, и притом писательницы, а характер – от отца, имевшего банкирскую контору, человека странного, мизантропа и даже липеманьяка, который впоследствии застрелился.

Шопенгауэр был тоже липеманьяк: из Неаполя его заставила уехать боязнь оспы, из Вероны – опасение, что он понюхал отравленного табаку (1818), из Берлина – страх перед холерой, а самое главное – боязнь восстания.

В 1831 году на него напал новый припадок страха: при малейшем шуме на улице он хватался за шпагу и трепетал

от ужаса при виде каждого человека; получение каждого письма заставляло его опасаться какого-то несчастья, он не позволял брить себе бороду, но выжигал ее, возненавидел женщин, евреев и философов, в особенности этих последних, а к собакам привязался до того, что по духовному завещанию отказал им часть своего состояния.

Философствовал Шопенгауэр постоянно, даже по поводу самых ничтожных вещей, например своего громадного аппетита (философ был очень прожорлив), лунного света и пр.; он верил в столоверчение, считал возможным с помощью магнетизма вправить вывихнутую ногу у своей собаки и вернуть ей слух. Однажды его служанка видела во сне, что он вытирает чернильные пятна, а на утро он действительно пролил чернила, и вот великий философ делает из этого такой вывод: "Все происходящее происходит в силу необходимости". На основании такой странной логики впоследствии была построена им замечательная по своей глубине система.

По своему характеру Шопенгауэр был олицетворенное противоречие. Признавая конечной целью жизни уничтожение, *нирвану*, он предсказал (а это равносильно желанию), что проживет сто лет; проповедуя половое воздержание, злоупотреблял любовными наслаждениями и, хотя сам выстрадал много от людской несправедливости, позволил себе, однако, без всякого повода жестоко оскорбить Молешотта и Бюхнера и радовался, когда правительство запретило им читать лекции.

Он жил всегда в нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара, боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться какой-нибудь болезнью, деловые заметки свои писал то на греческом, то на латинском, то на санскритском языке и прятал их в свои книги из нелепой боязни, как бы кто не воспользовался ими, тогда как этой цели гораздо легче было достигнуть, заперев бумаги в ящик; считал себя жертвою обширного заговора, составленного против него философами в Готе, согласившимися хранить молчание относительно его произведения, и в то же время боялся – заметьте это противоречие, – как бы они не стали говорить об этих произведениях.

Для меня легче, если черви будут есть мое тело, – говорил он, – чем если профессора станут грызть мою философию.

Чувства привязанности были ему совершенно незнакомы:

он решился даже оскорбить свою мать, обвинив ее в неверности к памяти мужа, и на этом основании признал ничтожество всех женщин, у которых "волос долог, но ум короток". Несмотря на то, он отрицал моногамию и превозносил *тетрагамию* (четвероженство), находя в ней только одно неудобство... возможность иметь четырех тещ.

То же бессердечие заставляло его с презрением относиться к чувству патриотизма, которое он называл "страстью слепцов и самой слепой из страстей", и в народных восстаниях сочувствовать не народу, а солдатам, его усмирителям. Этим последним, а также свою собаку, он по духовному завещанию сделал даже наследниками своего состояния.

Исключительной и постоянной заботой его было собственное я, которое он старался возвеличить всеми способами, видя в себе не только основателя новой философской системы, но и вообще необыкновенного человека. В сотне писем упоминает он с удивительным самодовольством о своих фотографических и писанных масляными красками портретах и говорит даже об одном из последних: "Я приобрел его затем, чтобы устроить для него род часовни, как для священного изображения".

Николай Гоголь, долгое время занимавшийся онанизмом, написал несколько превосходных комедий после того, как испытал полнейшую неудачу в страстной любви; затем, едва только познакомившись с Пушкиным, пристрастился к повествовательному роду поэзии и начал писать повести; наконец, под влиянием московской школы писателей он сделался первоклассным сатириком и в своем произведении "Мертвые души" с таким остроумием изобразил дурные стороны русской бюрократии, что публика сразу поняла необходимость положить конец этому чиновничьему произволу, от которого страдают не только жертвы его, но и сами палачи.

В это время Гоголь был на вершине своей славы, поклонники называли его за написанную им повесть из жизни казаков "Тарас Бульба" русским Гомером, само правительство ухаживало за ним, – как вдруг его стала мучить мысль, что слишком уж мрачными красками изображенное им положение родины может вызвать революцию, а так как революция никогда не останется в разумных границах и, раз начавшись, уничтожит все основы общества – религию, семью, – то, следовательно, он окажется виновником такого бедствия. Эта мысль овладела им с такою же силою, с какою раньше он отдавался то любви к женщинам, то увлечению сначала

драматическим родом литературы, потом повествовательным и, наконец, сатирическим. Теперь же он сделался противником западного либерализма, но, видя, что противоядие не привлекает к нему сердца читателей в такой степени, как привлекал прежде яд, совершенно перестал писать, заперся у себя дома и проводил время в молитве, прося всех святых вымолить ему у Бога прощение его революционных грехов. Он даже совершил путешествие в Иерусалим и вернулся оттуда значительно спокойнее, но вот в Европе вспыхнула революция 1848 года – и упреки совести возобновились у Гоголя с новой силой. Его начали мучить представления о том, что в мире восторжествует нигилизм, стремящийся к уничтожению общества, религии и семьи. Обезумевший от ужаса, потрясенный до глубины души, Гоголь ищет теперь спасения в "Святой Руси", которая должна уничтожить языческий Запад и основать на его развалинах панславистскую православную империю. В 1852 году великого писателя нашли мертвым от истощения сил или, скорее, от сухотки спинного мозга на полу возле образов, перед которыми он до этого молился, преклонив колени.

Если после стольких примеров, взятых из современной нам жизни и в среде различных наций, найдутся люди, еще сомневающиеся в том, что гениальность может проявляться одновременно с умопомешательством, то они докажут этим только или свою слепоту, или свое упрямство.

VII ПРИМЕРЫ ГЕНИЕВ, ПОЭТОВ, ЮМОРИСТОВ И ДРУГИХ МЕЖДУ СУМАСШЕДШИМИ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

Жестоко ошибаются, однако, те, которые думают, что душевные болезни всегда сопровождаются ослаблением умственных способностей, тогда как на самом деле эти последние, напротив, нередко приобретают у сумасшедших необыкновенную живость и развиваются именно во время болезни. Так, Винслоу знал одного дворянина, который, будучи в здравом рассудке, не мог сделать простого сложения, а после психического расстройства стал замечательным математиком. Точно так же одна дама во время умопомешательства обнаруживала несомненный поэтический талант, но по выздоровлении превратилась в самую прозаическую домовитую хозяйку.

В Бисетре мономаньяк Моро выразил жалобу на свое печальное заключение в следующем прелестном четверостишии:

Сам Данте в своих вдохновенных строфах,

Сам гений Флоренции, был бы не в силах
Представить те муки, тот ужас и страх,
Какие в застенках Бисетра постылых
Мы вынесли...

Эскироль рассказывает про одного маньяка, что в период самого острого припадка болезни он сочинял канон, который был впоследствии введен в богослужение (odattato). Морель лечил одного сумасшедшего, страдавшего периодическим слабоумием; перед наступлением каждого периода он писал прекрасные комедии.

Можно привести множество примеров того, как самые простые, неученые люди обнаруживали во время умопомешательства необыкновенную находчивость, остроумие, наблюдательность, даже глубокомыслие, не свойственные им прежде, или такие таланты, которыми они не обладали в здоровом состоянии.

Я лечил в Павии одного бедного крестьянского мальчика, который сочинял оригинальнейшие музыкальные арии; он же придумал для своих товарищей, находившихся в одной с ним больнице, до того меткие прозвища, что они так и остались за ними до сих пор. Один старик крестьянин, страдавший миланской проказой, на вопрос наш, считает ли он себя счастливым, отвечал, точно какой-нибудь греческий философ: "Счастливы все те люди, даже богатые, которые желают быть счастливыми".

Многие из моих учеников, вероятно, помнят того душевнобольного Б., теперь уже выздоровевшего окончательно, которого смело можно было назвать гением, вышедшим из народа. Он перепробовал все профессии: был звонарем, слугой, носильщиком, продавцом железных изделий, трактирщиком, учителем, солдатом, писцом, но ничто его не удовлетворяло. Он составил для меня свою биографию, и так хорошо, что если исправить некоторые орфографические ошибки, то она годилась бы в печать, а с просьбою отпустить его из больницы Б. обратился ко мне в стихах, весьма недурных для простолюдина.

Несколько дней тому назад мне пришлось услышать от одного сумасшедшего, простого торговца губками, следующее философское решение вопроса о жизни и смерти. "Когда душа оставит тело, – сказал он, – то оно истлевает и принимает другую форму: мой отец зарыл однажды труп мула в землю, и на ней после того появилось множество грибов, а картофель стал родиться вдвое крупнее, чем прежде". Как видите, несколько не культивированный, но как бы просветленный маниакальным экстазом, ум этого человека получил способность делать такие выводы, до

которых с трудом додумываются лишь немногие великие мыслители.

Некто В., лишившийся рассудка вор, бросился бежать, воспользовавшись дозволенной ему прогулкой. Когда его поймали и стали укорять, зачем он злоупотребил оказанным ему доверием, он отвечал: "Я хотел только испытать быстроту своих ног".

В тюфяке одной истеричной больной, набитом листьями, нашли множество украденных ею вещей: платки, палки, маленькие подушечки, шляпы и два платья, нашитые одно на другое таким образом, что их можно было принять за одно. На вопрос, для чего нужны ей палки, она отвечала: "Я положила их для того, чтобы постель лучше держалась, и, кроме того, разравниваю ими листья". – "А платья вы для чегошили одно на другое?" – "Чтоб мне было теплее". – "А на что вам платки, пряжки от подвязок, подушечки и пр.?" – "Я не люблю сидеть без дела и набрала себе разных вещей для рукоделья". – "Зачем же вам понадобилась шляпа?" – "Чтобы прятать в нее свою работу".

Когда я спросил у одного больного, страдавшего извращением чувств (*follia affettiva*), почему он выказывает такое отвращение к своей жене, то получил от него такой ответ: "Остаться в прежних дружеских отношениях к жене, после того как она вам изменила, – это выше сил человеческих, а я не хочу отличаться от других людей".

Один старик 70 лет, совершенно беззубый, страдавший хроническим умопомешательством (*mania cronica*), часто разыгрывал из себя шута, и, когда мы укоряли его, находя это неприличным в такие лета, он возражал: "Что за лета мои, я совсем не старик, – разве вы не видите, что у меня еще и зубы не прорезались".

Женщину, страдавшую религиозным помешательством, спросили, почему она никогда ничем не занимается: "Потому что меня зовут *лентяйкой*", – отвечала она. – "Ты так безобразна, что на тебя противно смотреть". – "Кто не хочет смотреть на меня, пусть выколет глаза". – "Ты самая безумная из сумасшедших в этой больнице". – "Блажен торговец, знающий хорошо достоинство своего товара".

Теперь займемся поэтами-безумцами, поэтами, родина таланта которых – больница для умалишенных. Лишь немногие из них получили раньше литературное образование, большинство же, по-видимому, вдохновляется и как бы воспитывается исключительно психической болезнью. Я мог бы привести массу примеров в этом роде,

но, чтобы не увеличивать объем своей книги и не наскучить читателям, ограничусь лишь немногими, прибавив при этом, что произведения поэтов-безумцев всегда страдают отсутствием единства, отличаясь вместе с тем замечательной неровностью не только в отношении поразительной быстроты переходов от самого мрачного настроения к самому веселому, но также по массе противоречий, какую они представляют, и по легкости, с какою меняется их слог, то правильный, утонченный, изящный, то грубый до неприличия, циничный, безграмотный и совершенно бессмысленный.*

* В русском переводе помещены не все произведения умалишенных, приведенных в оригинале у Ломброзо, в связи с трудностью перевода.

Некогда известный поэт М.Ж., брат знаменитого литератора, помешавшись вследствие чрезмерных занятий и злоупотребления спиртными напитками, начал тиранить свою жену, кричать и бранить воображаемых преследователей. Через несколько времени, когда эти припадки бешенства прекратились, у него явилась мания величия и он принялся писать стихи, чрезвычайно гармоничные, но совершенно бессмысленные. Между прочим, он сочинил трагедию, где в число 60 действующих лиц помещены и Архимед с Гарибальди, и Эммануил Карл Феликс с Евой, Давидом и Саулом. Тут являются также и невидимые персонажи, звезды, кометы, которые тем не менее произносят длиннейшие монологи.

Этот несчастный поэт, воображавший себя Горацием, в течение нескольких лет перепробовал всевозможные стихотворные формы и принялся даже за невозможные, называя их то аметрами, то олиметрами. Проза выходила у него еще бессмысленнее, так как он воображал, что пишет на каком-то новогреческом языке и, например, камень называл "лителиас", друзей - "фили" и пр.

А между тем он же писал потом сонеты, которые не уступят даже сонетам Верни.

У него же мы находим юмористическую пародию на сонет Данте, а рядом с нею стихи, проникнутые мрачной, мощной энергией, как, например, следующее стихотворение, поразительно правдиво рисующее безотрадное одиночество липеманьяка:

К самому себе

Чем недоволен ты, пришелец безумный?..

Всем вообще и в частности ничем.
Я недоволен тем, что свод небес лазурный
Покрылся тучами, что стих мой нем,
Что он бессилен и не может
Излить пред небом то страданье,
Что день и ночь мне сердце гложет...
Пусть все живое изнеможет
В борьбе с несчастьем и злом,
Пусть обратится мир в Содом –
И я предамся ликованью.

M.S.

Вообще у этого маньяка встречаются стихи, замечательно
изящные по слогу и достойные самого Петрарки.

Но вот пример еще более поразительный: в то время как не
только государственные люди, но и более или менее
опытные психиатры ломали себе головы над разрешением
вопроса, точно ли Лазаретти сумасшедший, меткую
характеристику его написал один липеманьяк, пациент
уважаемого доктора Тозелли, который и сообщил мне это
оригинальное стихотворение.

В наш век путей железных
И книг душеполезных,
Век электричества, паров
И помрачения умов,
В наш век газет серьезных,
Обманов грандиозных,
Век канцелярских баррикад –
Чтоб полный вышел маскарад,
Недоставало лишь живого
Святого.

Но вот вдруг на Монтелябро,
Как свет из канделябра,
Из яслей воссиял
Давид и нем, и мал.
Он начал от солдата,
Прошел чрез демократа,
Котурны, плащ надел,
Глаза горе воздел –
И век газет увидел снова
Святого.

Был прежде он заикой,
Но тут вдруг стал великий
Оратор и пророк –
Таков Давида рок.
В кутиле вдруг отпетом

Мир встретился с аскетом...
Он изменил свой вид,
Он властно говорит, –
И все признали в нем за "слово"
Святого.

Он стал теперь законодатель,
Герой, мудрец и предсказатель;
Как Моисей, стал управлять
И смело выступил в печать.
Завел апостолов ораву
И Магдалин себе во славу,
Голгофы ищет и цепей,
Идя во след Царю Царей.
Глупцы лежат у ног больного –
"Святого".

Как Генрих некогда в Каноссе,
Давид споткнулся в Арчидоссе:
Рукою сильною Давид
Был остановлен и побит.
Толпа апостолов бежала,
И в довершение скандала,
Орава уличных девиц
Повергла дерзновенно ниц
От изумления немого
Святого.

Страна цветов, моя Тоскана,
В твоём мозгу зияет рана.
Пристрой маньяков там, где им
Быть надлежит со всем "святым" –
И все почтут тебя хвалою.
Пусть орошаются слезою
Кресты замученных борцов,
А не маньяков и глупцов, –
Не память твоего слепого
Святого!

Однако у того же поэта встречаются и бессмысленные
стихотворения.

Наконец, еще полнее и нагляднее подтверждают мое
предположение, что существует особый поэтический экстаз,
вызываемый душевными болезнями, следующие прелестные
стихи, переданные мне Таркини-Бонфанти и написанные
чуть ли не в его присутствии одним сумасшедшим:

К птичке, залетевшей на двор

С дерева на скалу, со скалы на холм переносят тебя твои

крылья, – ты то летаешь, то садишься днем и ночью.

А мы, ослепленные своей гордостью, как бы прикованные к железному столбу, мы все кружимся на одном месте, вечно стараясь уйти подальше и вечно оставаясь тут же. *Кав. У.*

Прелесть этих строф будет еще понятнее читателю, если он припомнит, что автор намекает в них на тот дворик, с деревом посередине, вокруг которого гуляют сумасшедшие по выложенной камнем дорожке. "Несчастный поэт, – пишет мне Таркини, – живет в нашем доме умалишенных уже около 20 лет, он воображает себя кавалером, князем и пр., видит повсюду нечто таинственное, в продолжение многих лет постоянно собирается вынимать посредством своей трубки ключи директора, любит принарядиться и показать, что у него хорошие манеры. Он рисует довольно правильно, когда копирует что-нибудь, если же начнет сочинять свой рисунок, то у него всегда выходят каракули, с помощью которых он силится олицетворять таинственные образы, постоянно занимающие его".

Очевидно, этот больной страдал хроническим горделивым помешательством. Любопытно, что автор этого прелестного стихотворения, одержимый положительно страстью к бумагомаранью, обыкновенно писал преплохие, даже безграмотные сочинения в стихах и прозе, постоянно намекая в них на разные воображаемые почести или на свои титулы, что он сделал, впрочем, и в приведенной выше пьеске, подписавшись под нею кавалером У.

В заключение я приведу еще пример, чрезвычайно интересный даже с точки зрения судебной психиатрии, так как в этом случае кроме несомненного литературного дарования, временно вызванного сумасшествием, мы имеем еще и доказательство того, что помешанные могут притворяться безумными под влиянием какого-нибудь аффекта, в особенности из страха наказания. Пример этот я заимствую из моей практики. Один бедный башмачник, по фамилии Фарины, отец, дядя и двоюродный брат которого были сумасшедшие и кретины, еще молодой человек, уже давно страдал умопомешательством и галлюцинациями, но с виду казался веселым и спокойным. Вдруг ему пришла фантазия убить женщину, не сделавшую ему ничего дурного, мать той девушки, которую он, под влиянием свойственного помешанным эротического бреда, считал своей любовницей, хотя, в сущности, лишь мельком видел ее. Вообразив, что эта женщина подстрекает против него невидимых врагов, голоса которых не давали ему покоя, Фарины зарезал ее ножом, а сам бежал в Милан. Никто даже не заподозрил бы его в совершении такого преступления, если бы он, вернувшись в Павию, не пришел сам в полицейское бюро и не сознался в

убийстве, представив для большей убедительности и чехол от того ножа, которым нанесен был роковой удар. Но потом, когда его посадили в тюрьму, он раскаялся в этом поступке и притворился страдающим полной потерей рассудка, хотя этой формы умопомешательства в то время у него уже не было. Когда меня пригласили в качестве эксперта для решения вопроса о психическом состоянии преступника, я долго колебался, к какому заключению прийти на его счет и как убедиться в том, что, будучи помешанным, он вместе с тем притворяется безумным. Наконец его поместили в мою клинику, где я мог тщательно наблюдать за ним и где он написал для меня свою подробную биографию; только тогда мне стало ясно, что передо мною – настоящий мономаньяк.

Биография эта*, по-моему, является драгоценнейшим документом в области патологической анатомии мысли, как очевидное доказательство возможности не только появления галлюцинаций при нормальности всех остальных психических отправления, но также и неудержимого импульса к совершению проступка с сознанием ответственности за него, на что уже указывал профессор Герцен в своем прекрасном сочинении "О свободе воли".

* Биография помещена в конце книги в приложении.

При чтении автобиографии Фарины невольно удивляешься тому, как мог человек, не получивший никакого литературного образования, излагать свои мысли до такой степени ясно, правильно, нередко даже красноречиво, обнаруживая при этом замечательную, необыкновенную память. Так, он с точностью определяет величину куска мыла, купленного 3-4 года тому назад, подробно описывает давнишние сны, разговоры, помнит места, собственные имена, вообще все мельчайшие обстоятельства много лет тому назад случившихся событий, которые не удержались бы в памяти здорового человека и несколько дней. Особенно живо у него воспоминание о виденных им чрезвычайно многочисленных снах, из чего ясно следует, до какой степени они овладели расстроенным воображением этого несчастного.

Не менее любопытна и та подробность, что вначале Фарина совершенно здраво показывал своим товарищам по заключению всю нелепость веры их в пророческие сны, а потом сам начал верить им, скорее в силу подражания, чем вследствие грубого невежества, так как остальные заключенные, хотя и не помешанные, были гораздо менее развиты в умственном отношении, чем он.

Насколько помешанный Фарина был умственно выше своих

сотоварищей по заключению, видно, между прочим, из того, что, оспаривая их мнение, будто суды в Австрии справедливее, чем в Италии, он заметил: "А разве в Австрии мошенников не сажают в тюрьмы, точно так же, как и здесь?"

Далее, интересно то обстоятельство, что иногда несчастный вполне ясно сознавал свои галлюцинации, в другое же время принимал их за действительность и что он замечал усиление их *вследствие слабости, усталости и при высоком положении головы во время сна* – факт, на который следует обратить внимание спиритуалистам и врачам-любителям кровопусканий. Кроме того, меня изумило, что Фарина называет чувство, побудившее его к совершению убийства, *инстинктом*, точно он посоветовался с каким-нибудь представителем старинной школы германских психологов, хотя до такой степени сознавал важность этого преступления, что не *раз готов был отказаться от совершения его при мысли о суде, о кандалах и о позорном заключении в тюрьме*. Наконец, следует заметить, что многим из употребленных им в рукописи слов он придает своеобразный, ему одному понятный смысл, например, *прерогатива, развлечение, настойчивость* и пр., что составляет характеристическую особенность однопредметного помешательства.

Для целей судебной медицины особенно важен в автобиографии Фарина его правдивый рассказ о том, как он все подготовил, чтобы убежать в Швейцарию, и как ему помешала исполнить это овладевшая им слабость и боязнь преследования со стороны полчища воображаемых врагов. Предположите же теперь, что припадки галлюцинаций вдруг прекратились бы, а бегство удалось, – и тогда человек, не занимающийся психиатрией, наверное, затруднился бы признать факт временного помешательства преступника.

Что же касается притворного сумасшествия, то Фарина выбрал именно самую удобную для себя форму – *манию инстинктивных ночных галлюцинаций*, которою действительно страдал прежде, так что если бы у этого несчастного не явилось вдруг странного убеждения в желании врачей защитить его во что бы то ни стало, то он продолжал бы притворяться и перед нами и ни в каком случае не высказался бы с той полной откровенностью, как это сделано было им в своей автобиографии. А без этого драгоценного документа мы рисковали бы счесть Фарину или за маньяка, когда он не был им, или за притворщика, когда он и не думал притворяться.

Здесь мы видим новое доказательство того, как мало

значения могут иметь для правосудия заключения экспертов, почерпнутые только из определения *психологических способностей* испытуемого, в сравнении с методом новейших психиатров, основанным на опытах.

Для нашей же собственной цели прекрасная, местами художественно написанная автобиография Фарины является неопровержимым подтверждением выставленного нами положения, что бывают случаи, когда помешательство возвышает ум необразованных людей над общим уровнем и в значительной степени развивает их интеллектуальные способности.

Общая и резкая особенность поэтов-сумасшедших состоит в присущей им всем силе творческого воображения, столь несвойственной их прежним жизненным условиям и ограниченному умственному кругозору.

Правда, у многих это творчество сводится к постоянному кропанию эпиграмм, острот и созвучий, которые хотя и считаются в большом свете за признак блестящего ума, *bel esprit*, но, в сущности, доказывают противное, не только потому, что в них часто не бывает логического смысла, но еще и потому, что ими особенно усердно занимаются умалишенные. Впрочем, и в прозаических сочинениях этих последних заметна склонность к созвучиям, к рифмам. Между такими литераторами дома умалишенных нередко встречаются импровизированные философы, у которых среди безумных фантазий являются иной раз проблески идей, как будто заимствованных из философских систем эпикурейцев или позитивистов. Но большинство все-таки состоит из поэтов или, скорее, версификаторов, преобладающим свойством произведений которых служит оригинальность, нередко доходящая до абсурда, вследствие разнузданности воображения, не сдерживаемого более ни логикой, ни здравым смыслом, как это всегда бывает с ненормальными или неразвитыми умами. Физиологический пример такого явления представляют дети; что же касается патологических примеров, то их множество: придуманная Петром Сиенским теория превращений и странствований души, новогреческий язык, изобретенный душевнобольным из Пезаро, и пр.

Благодаря своему более живому воображению и быстрой ассоциации идей сумасшедшие часто выполняют с большой легкостью то, что затрудняет даровитейших здоровых, нормальных людей, как это доказывает приведенная нами раньше характеристика Лазаретти, написанная без всяких усилий сумасшедшим, тогда как над нею тщетно трудились многие альенисты, в том числе известный доктор Микетти, обладавшие, конечно, большей проницательностью и – что

еще важнее – несравненно большим количеством данных для постановки правильного диагноза. Другая характеристическая особенность таких писателей – и это замечается даже в произведениях преступников – это страсть говорить о себе или о своих близких и составлять свои автобиографии, давая при этом полную волю себялюбию и тщеславию. Нужно заметить, впрочем, что обыкновенные сумасшедшие обнаруживают в своих сочинениях меньше искусственности в выражениях и меньше последовательности, чем преступники, но зато у них больше творческой силы и оригинальности сравнительно с этими последними. Далее литераторы дома умалишенных чрезвычайно склонны употреблять созвучия, часто совершенно бессмысленные, и придумывать новые слова или же придавать особый смысл уже существующим словам и преувеличивать значение самых ничтожных мелочных подробностей; так, Фарина посвящает чуть не полстраницы описанию купленного им куска мыла. "Сумасшедшие всегда трудятся над какими-нибудь утомительными, иссушающими мозг пустяками", – сказал Гекарт в предисловии к своей "Gualana", – произведению, кстати сказать, тоже не отличающемуся здоровым смыслом.

У многих душевнобольных, хотя и не так часто, как у *маттоидов* (тронутых, поврежденных), заметно стремление дополнять свои поэтические вымыслы рисунками, точно ни поэзия, ни живопись в отдельности недостаточно сильны для выражения их идей. В слогe сказывается недостаток правильности, отделки; но периоды отличаются такой силой и законченностью, что в этом отношении не уступают произведениям образцовых писателей.

Такое мастерство изложения и способность к версификации, проявляющиеся в людях, которые до заболевания даже не имели понятия о просодии, не покажутся нам особенно изумительными, если мы припомним сделанное Байроном определение поэзии: по его мнению, основанному на собственном опыте, "поэзия есть выражение страсти, которая проявляется тем могущественнее, чем сильнее было вызвавшее ее возбуждение". Отсюда становится понятным, почему у помешанных так сильно развивается воображение, часто переходящее даже в полную разнузданность. Богатство фантазии и страстное возбуждение всегда являлись могучими факторами творческой деятельности. По мнению Вико, блистательно доказанному впоследствии Боклем, в древние времена и у древних народов первые мыслители и ученые были поэты, излагавшие стихами исторические события, народные верования и вообще создавшие там эпос, который затем передавался из уст в уста, из поколения в поколение, как это мы видим в Галлии,

в Тибете, в Америке, Африке и Австралии, по свидетельству различных путешественников.

Эллис рассказывает, что в Полинезии для решения споров относительно давно прошедших событий туземцы справляются со своими балладами точно так же, как мы с историческими документами. Мало того, не только в Древней Индии, но даже в средневековой Европе все науки перекладывались в стихотворную форму. Монтюкла упоминает о математическом трактате XIII столетия, написанном *силлабическими стихами*; один англичанин переложил в стихи кодекс Юстиниана, а какой-то поляк – Геральдику.

Да, наконец, разве собственно история, хотя изложенная прозой, не переполнена точно так же поэтическими вымыслами, фантастическими эпизодами, натяжками в объяснениях и пр.? Разве в ней мы не встречаем всевозможных нелепостей, вроде того, например, что название сарацинов произошло от Сары, а Нюрнберга – от Нерона, что Неаполь появился на яйце, что после некоторых войн с турками у детей бывало не 32 зуба, а 22 или 23? Разве историк Турпино, этот Маколей своего времени, не сообщил в своей хронике, что стены Пампелуны пали сами собою, едва лишь спутники Карла Великого начали молиться Богу? Да и вообще, в нашей истории столько басен, порожденных безумием человечества (тем более склонного ко всему фантастическому, чем оно невежественнее), что наши филологи только понапрасну ломают себе головы в тщетных усилиях найти разумное объяснение для этого ребяческого бреда.

Что мерный стих успокаивает и гораздо полнее выражает ненормальное психическое возбуждение, чем проза, в этом нас убеждают наблюдения над пьяницами и собственное признание многих из таких бессознательных помешанных поэтов. Один преступник-маттоид, находившийся в больнице Арбу, прекрасно выразил эту инстинктивную склонность к поэтической форме в следующем двустишии:

Не удивляйтесь моему письму в стихах:
Я прозой не могу писать никак!

Другой, липеманьяк, лечившийся в доме сумасшедших в Пезаро, так объясняет значение многих своих стихотворений. "Поэзия, – говорил он, – это – мгновенная эманация души, это – крик, выражающийся из потрясенной тысячами мук груди".

Патологическое происхождение таких литературных

произведений служит достаточным объяснением неодинаковости их стиля, то сильного и блестящего, то вялого и бесцветного по мере того, как ослабевает возбуждение, так что строфы классически прекрасные вдруг сменяются идиотской болтовней. Тем же обуславливаются и крайние противоречия между произведениями одного и того же автора, например у Фарины и Лазаретти. Впрочем, стиль большинства из них представляет какое-то детское, *примитивное построение периода*, наклонность к афоризмам или коротким фразам, частое повторение одних и тех же слов или оборотов, напоминающих библейские изречения или суры Корана, а также, как заметил Тозелли, однообразие в рассуждениях почти всегда о предметах малознакомых, чуждых пишущему и – что особенно любопытно – совершенно бесполезных как для него самого, так и для других. Наибольшую склонность к писательству обнаруживают, по моему мнению (которое разделяют Адриани и Тозелли), хронические маньяки, алкоголики и полупаралитики в первом периоде болезни, хотя у этих последних стихи часто похожи на рифмованную, бессмысленную прозу. Затем следуют меланхолики, сравнительно реже попадающие в больницы для умалишенных. Потребность высказаться на бумаге, вероятно, является у них вследствие свойственной им молчаливости и желания защитить себя таким способом от воображаемых преследований – факт гораздо более важный, чем это может показаться на первый взгляд, особенно когда мы сопоставим его с признанным уже всеми другим фактом – наклонностью к меланхолии всех великих мыслителей и поэтов.

VIII СУМАСШЕДШИЕ АРТИСТЫ И ХУДОЖНИКИ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

Хотя артистические наклонности весьма резко и почти всегда проявляются при некоторых формах умопомешательства, но лишь немногие из психиатров обратили должное внимание на это обстоятельство. Насколько мне известно, о нем писали только Тардье, который признал, что рисунки сумасшедших имеют громадное значение в судебной медицине, и доказал это на деле; затем Симон, который, исследуя вопрос о развитии воображения у помешанных, нашел, что люди, страдающие манией величия (мегаломаньяки), особенно склонны заниматься рисованием и что воображение усиливается обратно пропорционально здоровому состоянию мозга; и, наконец, доктор Фрижеро, поместивший по этому вопросу прекрасную статью в "Дневнике дома умалишенных в Пезаро" 1880 года. Кроме того, в том же году я составил вместе с Максимом дю-Кан небольшой очерк "Arte nei pazzi" ("Искусство у сумасшедших"), помещенный в журнале "Архив психиатрии и судебной медицины". Нам с дю-Кан

удалось всесторонне исследовать занимавший нас вопрос о проявлении артистических наклонностей у сумасшедших при помощи богатого материала, собранного в больницах для умалишенных, находящихся в Пезаро и Павии, а также благодаря недавней френиатрической выставке в Реджио* и содействию многих специалистов, помогавших нам не только советами, но и доставлением множества интересных документов и факсимиле. На основании собранных таким образом данных мы нашли артистические наклонности у 107 помешанных, в том числе 46 человек занимались живописью, 10 – скульптурой, 11 – резьбой, 8 – музыкой, 5 – архитектурой и 27 – поэзией.

* Выставка нелепых произведений из области искусства, живописи, скульптуры и др.

По роду психического расстройства эти больные распределялись так:

- 25 страдали извращением чувств (sensoria) и манией преследования;
- 21 – безумием (demenza);
- 16 – мегаломанией (мания величия);
- 14 – острым или перемежающимся помешательством;
- 8 – меланхолией;
- 8 – общим параличом;
- 5 – нравственным помешательством (follia morale);
- 2 – эпилепсией.

Из этих цифр очевидно преобладание неизлечимых форм помешательства и сопряженных с полной потерей рассудка (demenza) – мегаломания, паралич и мономания.

Сопоставляя сведения, так любезно доставленные мне коллегами из различных мест, с моими собственными наблюдениями, я пришел к заключению, что провинции, где особенно процветают искусства – Парма, Перуджия, – дают и наибольшее число помешанных с артистическими наклонностями, тогда как их очень мало в Павии, Турине и Реджио.

Из числа этих 107 человек были: 8 живописцев или скульпторов, 10 столяров, архитекторов и резчиков на дереве, 10 учителей или духовных, 1 телеграфист, 3 студента, 6 моряков, военных или инженеров, откуда ясно, что лишь у немногих появление артистических наклонностей обуславливалось профессией и приобретенными до болезни привычками, которые, без сомнения, должны были оказывать влияние на творческую деятельность их во время психического расстройства.

Так, инженер чертил планы машин и оконные косяки; двое моряков делали маленькие суда, совершенно пропорциональные во всех частях, трактирщик рисовал на полу столы, украшенные пирамидами фруктов, и пр. В Реджио один столяр вырезывал прелестные орнаменты и арабески; в Генуе капитан-моряк сначала устраивал изящные лодочки, а потом принялся за живопись, хотя прежде никогда не занимался ею, и постоянно рисовал сцены из морской жизни, что, по его словам, служило ему облегчением в тоске по любимой стихии. Некоторые, принявшись за прежние занятия, выказывают, под влиянием сумасшествия, странное увлечение своей работой и разрисовывают столы, стены, а при случае даже и пол. Один из подобных живописцев обнаружил во время болезни такие дарования, что его копия с Мадонны Рафаэля была удостоена премии на выставке. В больнице Адриани столяр, страдавший перемежающимся безумием, выполнял художественные работы из дерева. То же самое наблюдали и другие врачи. Знаменитый живописец Миньони, уроженец Реджио, принадлежавший к типу большеголовых (окружность головы 60 сантиметров, вместимость черепа – 1671, лицевой угол – 73, вес мозга – 1555), у которого мать была истеричная, а брат – эпилептик, поступил в больницу Реджио вследствие полного умопомешательства (*demenza*) и мегаломании и провел там 14 лет в полнейшей праздности; наконец, по совету доктора Зани, он снова принялся за кисти и расписал все стены великолепными картинами, на которых изобразил историю графа Уголино до того реально, что одна больная, чтобы избавить несчастных отца и сына от голодной смерти, бросала куски мяса в стены, вследствие чего на них и до сих пор еще сохранились жирные пятна.

Уважаемый доктор Фунойоли писал мне, что в Сиенском доме умалишенных в продолжение 10 лет находился один живописец, страдавший манией преследования, который превосходно разрисовал больничные палаты. Но это все исключительные случаи; вообще же под влиянием потери рассудка люди, никогда не бравшие в руки кисти, чаще делаются живописцами, нежели настоящие живописцы снова берутся за кисти. Например, Делапьер сообщает, что известный живописец Мак-Кленель, сойдя с ума, сделался поэтом, а физик Мельмур, потерявший рассудок от горя вследствие смерти его жены в день свадьбы, превратился в словесника (*letterato*) и перестал заниматься своей специальностью. В Сиене живет знаменитый скульптор Л., у которого после легкого паралича статуи начали выходить непропорциональными. Умственное расстройство если и заглушает некоторые артистические дарования, зато вызывает другие, не существовавшие прежде, и сообщает

творчеству отпечаток оригинальности.

Из восьми находившихся в Перуджии живописцев, характеристики которых прислал мне Адриани, четверо сохранили вполне свой талант под влиянием острого или перемежающегося сумасшествия; у двоих дарование значительно ослабело, так что они по выздоровлении уничтожали написанные во время болезни картины; у одного оно совсем исчезло, и наконец, последний – липеманьяк – утратил правильность рисунка и колорита. Один живописец, пишет мне Верга, в таком излишестве употреблял красную краску, что все написанные им фигуры, казалось, изображали пьяных. Алкоголики, напротив, всегда злоупотребляют желтой краской, что Фрижеро заметил и у одного больного, страдавшего нравственным помешательством. Известен также случай, когда живописец-алкоголик потерял всякую способность различать цвета и до того усовершенствовался в употреблении одной только белой краски для своих картин, которые писал в промежутках между периодами запоя, что сделался первым во всей Франции художником по части зимних, северных пейзажей. Кретины, идиоты, слабоумные или чертят фигурки детей, или постоянно воспроизводят один и тот же рисунок, как, например, Гранди, хотя и они обнаруживают иногда замечательные способности в раскрашивании и составлении арабесок: мне самому случалось два раза видеть кретинов, прекрасно рисовавших шифры. Часто даже люди в нормальном состоянии, не чувствовавшие никакой склонности к искусству, после болезни вдруг начинают заниматься рисованием и всего усерднее именно в момент ее наибольшего развития.

Один каменщик, находившийся в Пезарской больнице для умалишенных, обнаружил большой талант к рисованию и во время маниакальных припадков всегда принимался чертить карандашом карикатуры на служителей и заведующих больницей, причем изображал их в нелепом виде, испытывающими различные мучения. Так, например, когда повар не дал ему какого-то рагу, он нарисовал его в позе и с лицом Ессе Номо (хотя тот был круглолицый толстяк) перед железной решеткой, которая не позволяла ему воспользоваться помещенными за нею лакомыми кушаньями.

Некто П. делался страстным рисовальщиком при наступлении каждого припадка возбуждения, что случалось с ним раз в полгода или в год, – тогда рука его быстро скользила по стенам, выводя на них изящные завитки и арабески (Фрижеро). По свидетельству Адриани, один каноник, не имевший прежде никакого понятия об

архитектуре, сделавшись липеманьяком, начал устраивать из картона и папье-маше грандиозные, удивительно изящные модели храмов, амфитеатров и пр. В Перуджио было двое больных, один занимавшийся прежде кузнечным ремеслом (алкоголик), другой – скорняжным (мегаломаньяк), которые лепили из глины головы людей, листья, цветы и какие-то сложные, необыкновенные фигуры. В этих последних только и проявлялась болезненная, безумная фантазия художников, все же остальное было сделано артистически и в высшей степени оригинально. Рассмотрим теперь более подробно самые рисунки.

1) Выбор сюжета обуславливается у многих характером умственного расстройства: липеманьяк рисовал постоянно человека с черепом в руке; женщина, страдавшая мегаломанией, непременно помещала изображение божества на своих вышивках; мономаньяки по большей части пользуются какими-нибудь эмблемами для обозначения мучащих их воображаемых бедствий. У меня есть пасквиль, составленный одним чиновником из Вогера, воображавшим, что его преследует префект посредством ветров; поэтому он изобразил на рисунке с одной стороны толпу гонящихся за ним врагов, а с другой – защищающих его судей. Одна женщина, страдавшая манией преследования и отчасти эротическим помешательством, нарисовала образ Богородицы, а в подписи под ним сделала намек, что это – ее собственное изображение.

2) Психическое расстройство часто вызывает у больных, как мы уже убедились в этом относительно гениев и даже относительно гениальных сумасшедших, необыкновенную оригинальность в изобретении, что резко выражается даже в произведениях полупомешанных людей. Причина этого ясна: ничем не сдерживаемое воображение их создает такие причудливые образы, от которых отшатнулся бы здоровый ум, признав их нелогичными, нелепыми. Так, например, в Пезаро была одна дама, придумавшая особый способ вышивания или, скорее, выкладывания: она выдергивала нитки из материи и потом наклеивала их слюной на бумагу.

Другая вышивальщица, страдавшая запоем, так живо воспроизводила бабочек, что они казались трепещущими, и придумала такой способ вышивания белыми нитками, что шитье выходило с полутенями, как будто не одноцветное. В Мачерато один сумасшедший воспроизвел посредством палочек фасад больницы, а другой изобразил в скульптуре целую песенку, хотя и не особенно отчетливо; точно так же в Генуе один помешанный вырезывал трубки из каменного угля.

В Реджио некто Занини сшил себе один только сапог для того, чтобы никто не мог воспользоваться им; с одной стороны этого сапога был сделан разрез, который связывался веревочкой, а сверху – отвороты, разрисованные иероглифами.

В Пезаро был один больной, которому очень хотелось вернуться домой, но его не отпускали под тем предлогом, что переезд стоит слишком дорого. Тогда он соорудил себе чрезвычайно оригинальный экипаж – нечто вроде четырехколесного велосипеда.

Один больной, страдавший горделивым помешательством, рисовал арабески, по большей части таким образом, что из различных завитков выходили то коробка, то животное, то человеческая голова, то железная дорога, то пейзажи, виды городов и пр.

Наконец, оригинальность проявляется уже и в том, что сумасшедшие обнаруживают дарование в таких искусствах, которыми они прежде никогда не занимались.

3) Но в конце концов и самая оригинальность превращается у всех или почти у всех помешанных в нечто странное, причудливое и кажущееся логическим лишь в том случае, когда нам известен пункт их помешательства и когда мы представим себе, до какой степени разнузданно у них воображение. Симон заметил, что в мании преследования, а также в паралитической мегаломании воображение бывает тем живее и сила творческой, эксцентрической фантазии тем деятельнее, чем менее нормально состояние умственных способностей. Один психически больной живописец, например, уверял, что он видит недра земли, а в них – множество хрустальных домов, освещенных электричеством и наполненных чудным ароматом и прелестными образами. Далее он описывал представляющийся ему город Эммы, у жителей которого по два рта и по два носа – один для обыкновенного употребления, а другой – для более эстетического; мозг у них – серебряный, волосы – золотые, рук – три или четыре, а нога только одна и под нею приделано маленькое колесо.

Фантастичность представлений в значительной степени обуславливается и нелепыми галлюцинациями: так, Лазаретти изображал на своем знамени четвероногое животное о семи головах; один больной сделал себе кирасу из камешков, чтобы защититься от своих врагов, другой по целым дням чертил топографические карты пятен, образовавшихся от сырости на стенах его камеры. Впоследствии оказалось, что он считал эти карты планами

областей, дарованных ему Богом на земле. В этом же богатстве фантазии заключается одна из причин того, что артистические способности бывают иногда гораздо сильнее развиты у безумных (*démenti*), нежели у маньяков и меланхоликов.

4) Одну из характерных особенностей художественного творчества сумасшедших составляет почти постоянное употребление письменных знаков вместе с рисунками, а в этих последних – изобилие символов, иероглифов. Такие смешанные произведения чрезвычайно походят на живопись японцев, индийцев, на старинные стенные картины египтян и обуславливаются у сумасшедших теми же причинами, как у древних народов, т.е. потребностью дополнить значение слова или рисунка, в отдельности недостаточно сильных для выражения данной идеи с желательной ясностью и полнотой. Это объяснение вполне применимо и к факту, сообщенному мне Монти, когда один немой, страдавший умопомешательством в продолжение 15 лет, к нарисованному им совершенно правильно плану какого-то строения прибавил множество непонятных рифмованных надписей, эпиграфов, вписанных внутри плана и кругом его, очевидно, с тою целью, чтобы служить комментариями, которых бедняк не мог дать устно.

У некоторых мегаломаньяков это зависит также от стремления выражать свои идеи на языке, не похожем на общечеловеческий, – явление, в сущности, вдвойне атавистическое, т.е. выражающее наклонность к тому способу выражения мыслей, которым пользовались наши отдаленные предки, придумывавшие новые слова, а за неимением их прибегавшие к рисункам. Такой случай я наблюдал в одном сумасшедшем, называвшем себя владыкой мира, и описал его вместе с Тозелли в "Archivio di psichiatria e scienze penali" за 1880 год. Это был крестьянин 63 лет, крепкого телосложения, с большим лбом, выдающимися скулами и выразительными пронизательными глазами. Вместимость его черепа равняется 1544, лицевой угол 82, температура 37,6°.

Осенью 1871 года на него вдруг напала страсть к бродяжничеству, к болтовне; он начал останавливать самых высокопоставленных лиц на площадях или в присутственных местах, жалуясь им на оказанную ему несправедливость, уничтожал съестные припасы, опустошал поля и бегал по дорогам, грозя кому-то жестокой местью. Мало-помалу несчастный вообразил себя богом, царем вселенной и даже говорил проповеди в соборе Альба о своем высоком назначении. Когда его поместили в дом умалишенных в Ракониджи, он вначале держал себя тихо, пока был твердо

убежден, что здесь никто не сомневается в его могуществе; но при первом же противоречии стал грозить, что опрокинет земной шар, разрушит все государства и сделает себе пьедестал из развалин целого мира. При этом несчастный называл себя владыкой вселенной, олицетворением стихий и – то братом, то сыном, то отцом солнца.

"Мне уже надоело, – кричал он, – содержать на свой счет такую массу солдат и празднующихся! Справедливость требует, чтобы, по крайней мере, правительство и богатые люди прислали мне значительную сумму денег для уплаты *долгов смерти!*" Так называл он требуемый им налог и обещал навсегда сохранить жизнь уплатившим его, бедняки же все должны были умереть как совершенно бесполезные существа. Затем его крайне возмущала необходимость содержать в своем дворце столько помешанных, и он не раз просил доктора отрубить им всем головы, что не мешало ему, однако, заботливо ухаживать за ними в случае их болезни. Вообще непоследовательность у него была полная. Небольшие деньги, получаемые им за поденную работу, он употреблял для уплаты какому-нибудь мошеннику, которого посылал с письмами и поручениями то к солнцу, то к звездам, то к смерти, к грому и вообще к силам природы, прося у них помощи, а по ночам вступал с ними в дружеские интимные беседы. Когда в окрестных деревнях случалось какое-нибудь бедствие, он был чрезвычайно доволен, считая его одним из обещанных им наказаний и видя в этом доказательство, что погода, солнце или гром повинуются ему.

В чемодане у него хранились какие-то жалкие подобию корон, но он уверял, что "это настоящие императорские и королевские венцы Италии, Франции и других государств, а короны, которые носят теперь государи этих стран, признавал не имеющими никакой цены, как неправильно захваченные узурпаторами, обреченными на гибель в ближайшем будущем, если только они не заплатят ему *деньги смерти* (i debiti délia morte) векселями на множество миллиардов".

Но всего типичнее проявлялся безумный бред этого больного в его письменных произведениях. В молодости он выучился читать и писать; однако теперь считал недостойным себя обычный способ письма и потому изобрел свой собственный для своих записок, векселей, указов, адресованных или к солнцу, или к смерти, или к военным и гражданским властям. Карманы его были всегда наполнены подобными документами. Писал он, употребляя преимущественно одни только заглавные буквы, к которым иногда присоединял известные знаки и фигуры для обозначения предметов и лиц.

Слова по большей части отделялись друг от друга одной или двумя точками и состояли лишь из нескольких букв, почти всегда исключительно согласных, без всякого отношения к числу слогов.

Например, чтобы написать две фразы: "Domine Dio Sole ricoverato all'ospedale di Racconigi fa sentire al prefetto del tribunale di Torino se vuol pacare i debiti della morte. Prima di metire venga di presto all'ospedale di Racconigi"*, он на большом листе изобразил следующее:

* Владыка Бог Солнце, находящийся в больнице Ракониджи, спрашивает председателя суда в Турине, желает ли он заплатить долги смерти. Прежде чем умереть, пусть явится скорее в госпиталь Ракониджи.



Вместо подписи нарисован был двуглавый орел с лицом на груди – любимая эмблема больного, который носил ее даже на шляпе и на платье.

Здесь кроме пропуска некоторых букв, преимущественно гласных, как это принято у семитов, мы встречаемся еще и с употреблением тех символов, которые в египетских иероглифах называются *определятельными (determinativi)*. Так, например, смерть изображена посредством черепа и костей, а председатель туринского суда – посредством грубо нарисованного в полумесяце, и притом вверх ногами, профиля.

В других произведениях того же больного возврат к древним письменам (атавизм) еще заметнее, так что буквы почти совершенно заменены рисунками.

Например, чтобы сильнее выразить все величие своей власти, больной нарисовал целый ряд рожц, служащих эмблемами стихий и близких ему высших существ, составляющих армию, готовую по первому знаку его ринуться на борьбу с земными владыками, оспаривающими у него господство над миром. Тут изображены по порядку: 1) Вечный Отец, 2) Святой Дух, 3) Св. Мартин, 4) Смерть, 5) Время, 6) Гром, 7) Молния, 8) Землетрясение, 9) Солнце, 10) Луна, 11) Огонь (военный министр), 12) Могущественный человек, живущий от начала мира, и брат автора письма, 13) Лев ада, 14) Хлеб, 15) Вино. Затем следует двуглавый орел, который заменяет на рескриптах печать или подпись. Под каждым изображением находятся, кроме того, буквы, например, под первым – P.D.E.I. (Padre Eterno), под вторым –

L.S.P.S. (lo Spirito Santo) и т.д.

Это одновременное употребление букв, рисунков и эмблем представляет интересный факт в том отношении, что напоминает фоноидеографический период, наверное, пережитый всеми народами (без всякого сомнения, мексиканцами и китайцами) до изобретения ими буквенного письма, что доказывается не только греческим словом *grafo* для выражения глаголов *рисовать* или *писать*, но и самой формой теперешних письменных знаков, напоминающих звезды и планеты.

У дикарей Америки и Австралии письменные буквы и до сих пор заменяются грубо сделанными рисунками. Так, чтобы выразить письменно, что кто-нибудь обладает быстротою птицы, они изображают человека с крыльями вместо рук. Два челнока с фигуркой внутри (медведь и семь рыб) служат выражением того, что рыбаки поймали в реке медведя и несколько рыб. Это даже и не письмена, а скорее связанные одной общей идеей знаки, служащие для напоминания событий, сохраняющихся в песнях или преданиях.

У некоторых племен существуют еще менее совершенные письменные знаки, напоминающие наши ребусы; так, американцы племени Майя для обозначения слова врач рисуют человека с пучком травы в руке и крыльями на ногах, очевидно, намекая этим на обязанность его поспевать всюду, где нуждаются в его помощи; эмблемой дождя служит ведро и пр.

Точно так же древние китайцы, чтобы выразить понятие о *злости*, рисовали трех женщин, вместо слова *свет* изображали солнце и луну, а вместо глагола *слушать* – ухо, нарисованное между двух дверей.

Эти грубые эмблематические письмена приводят нас к тому заключению, что риторические фигуры, составляющие гордость педантов-филологов, доказывают, скорее, ограниченность ума, чем его высокое развитие; в самом деле, цветистостью часто отличаются разговоры идиотов и глухонемых, получивших образование.

После того как эта система письменного выражения идей практиковалась долгое время, некоторые наиболее цивилизовавшиеся расы, как, например, мексиканцы и китайцы, сделали шаг вперед: они сгруппировали фигуры, служившие вместо письменных знаков, и составили из них остроумные комбинации, которые хотя прямо и не выражали собою данной идеи, но косвенно напоминали ее, подобно тому, как это мы видим в шарадах. Кроме того, чтобы

читающий не затруднялся в понимании тех или других знаков, впереди или позади их воспроизводился абрис предмета, о котором шла речь, в чем виден уже некоторый прогресс сравнительно с древним способом письма, состоявшим исключительно из одних только рисунков. Это произошло, вероятно, после того, как установилась устная речь и люди заметили, что многие слова, произносимые с помощью одних и тех же звуков, могут служить для выражения различных понятий. Так, чтобы письменно выразить Itzlicoahtl, имя мексиканского короля, рисовали змею, называвшуюся на мексиканском языке Coati, и копье – Istzli.

Прибегнув к такому способу письма, наш мегаломаньяк (страдающий манией величия) еще раз доказал, что сумасшедшие, точно так же, как и преступники, при выражении своих мыслей, часто обнаруживают признаки атавизма, возвращаясь к доисторической эпохе первобытного человека. В данном случае мы легко можем проследить, вследствие каких причин и посредством какого процесса мышления больной пришел к заключению о необходимости употребить особые письменные знаки. Находясь под влиянием мании величия, считая себя неизмеримо выше всякой власти, какую только можно вообразить себе, и располагая по своему произволу даже стихиями, он, понятно, находил простую речь недостаточно ясной, чтобы ее вполне уразумели невежественные и неверующие люди. Точно так же и обычный способ письма мог показаться ему неудовлетворительным для выражения его идей, совершенно новых и необычайных. Изображение львиных когтей, орлиного клюва, змеиного жала, громоносной стрелы, солнечного луча или оружия дикарей – вот письма, достойные повелителя мира и способные внушить людям страх и уважение к его особе.

Этот пример – далеко не единичный; подобный же случай описан у Раджи в его прекрасном трактате "Письменные произведения сумасшедших" ("Scritti dei pazzi"). Я сам лечил в Павии одного сумасшедшего башмачника, который воображал, что в его власти находятся солнце и луна, и каждое утро рисовал образцы мундиров, в какие он оденет со временем обоих своих подчиненных.

Может быть, здесь играет также большую роль и напряженность известных галлюцинаций, которых больные не могут выразить с достаточной ясностью ни на словах, ни письменно, и потому прибегают к рисованию. В самом деле, нам случалось видеть мономаньяков, почти всегда, впрочем, уже в периоде к полному безумию, которые постоянно чертили, как умели, предметы своих галлюцинаций и

покрывали такими изображениями целые листы бумаги.

Так, германский профессор Гунц., лечившийся у нас от мономании преследования, несколько раз в резких выражениях описывал магнетические приборы, которыми ухитряются не давать ему покоя коллеги, и наконец составил чрезвычайно странный чертеж с целью показать нам, каким образом при помощи известных проводников и батарей враги могут преследовать его из Милана и Турина в Павианской больнице. Другой мономаньяк, алкоголик, жаловался не только на магнетические, но и на спиритические преследования некоего Бель... и в припадке бреда нарисовал своего недруга, вооруженного кинжалом, в сопровождении его жены, в виде сфинкса или сирены в очках и с торчащим изо рта таинственным свистком, заключающим в себе губительные для бедного маньяка чары. Чтоб пояснить рисунок, к нему были приложены стихи, но они только затемняли его.

Сам Лазаретти, хотя и лучше владевший пером, прибегал ко множеству нелепых символов и украшал ими свои знамена, которыми у него был наполнен целый чемодан. Когда его вскрыли на суде во время процесса, то королевский прокурор был очень изумлен при виде таких невинных трофеев, тогда как он, должно быть, думал найти в чемодане разрывные снаряды. На печати и посохе Лазаретти тоже были вырезаны известные эмблемы, которым, как мы увидим впоследствии, он придавал большое значение.

Еще более интересный факт в том же роде сообщил мне почтенный профессор Морселли из своей практики.

Больной, – пишет он, – занимался столярным ремеслом, был искусный резчик по дереву и делал прекрасную мебель. Семь лет тому назад началась психическая болезнь – нечто вроде *липемании*; он пытался лишиться себя жизни, бросившись с балкона муниципального дворца, но остался жив, хотя сломал себе ногу и разбил нос. В настоящее время с ним бывают припадки волнения (ажитации), сопровождающиеся систематизированным бредом, в котором преобладают политические, республиканские, даже анархистские идеи с примесью немалой доли тщеславия. Он воображает себя одним из важных государственных преступников – то Гаспароне, то Пассаторе, то Пассананте. Рисует и вырезывает постоянно, но почти всегда одно и то же – какие-то рисунки; служащие олицетворением его бреда. По большей части, это – род трофеев с гербами, эмблематическими и аллегорическими фигурами со множеством нелепых надписей – отрывков из теперешних политических газет или изречений, сохранившихся у него в

памяти еще со времени детства.

В числе резных работ особенно любопытна одна, изображающая человеческую фигуру в солдатской форме с крыльями на плечах, стоящую на пьедестале, испещренном надписями и аллегорическими девизами. На голове у этой статуэтки помещается какой-то трофей, а кругом нее вырезаны различные вещи, служащие символами болезненного бреда художника. Так, например, тут изображена *чернильница* – это оружие, посредством которого он когда-нибудь одолеет тиранов; *мундир* – его обычная одежда во время войн за независимость; *крылья* служат выражением той идеи, что, уже будучи сумасшедшим, он продавал на площади Порто Реканати свои резные работы, и в том числе изображения *ангелов*, по одному сольдо за штуку; *медаль ордена свиньи* – это знак отличия, который ему хотелось бы повесить на груди всем богачам и владыкам земного шара в насмешку над ними; *шлем с фонарем, прикрепленным к забралу* (что напоминает шайку мошенников в оперетке Оффенбаха), служит эмблемой карабинеров, доставивших его в больницу; *положенная наискось сигара* (обратите внимание на эту подробность) означает презрение к королю и тиранам, а *искривленное положение ноги* напоминает о переломе, бывшем следствием прыжка с балкона.

Надписи на пьедестале составлены из отрывков стихотворений и газетных статей политического содержания, которые всегда на устах у нашего больного, придающего им таинственное значение в смысле намека на рабство, в каком его держат теперь в больнице, и на возмездие, какое он готовит за это.

Но самое замечательное из произведений бедного столяра – это *трофей* на голове статуэтки, служащий, так сказать, графическим изображением песенки*, не знаю, им ли самим сочиненной или только заимствованной из какого-нибудь сборника народных песен. Каждому куплету песенки соответствует особое символическое изображение. Для первой строфы, например, *яд* представлен в виде чаши, тут же нарисована и *пара кинжалов*; саркофаг или ящик с крышкой служит эмблемой слов *окончить жизнь* и *гроб*; *любовь* олицетворяется двумя букетиками цветов.

* Вот перевод этой песенки, воспроизведенной проф. Ломброзо по рукописи автора.

БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

песенка

Яд я теперь для себя приготовил,
Пару кинжалов держу у груди,
С жизнью расстаться я сильно желаю,
С жизнью печали и мрачной тоски.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.

Колокол мерно тогда зазвучит,
Смерть всем мою возвещая;
Звон погребальный к тебе долетит,
Станешь ему ты внимать, дорогая.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.

Мимо тебя пронесут до могилы
Прах мой в сопутствии пестрой толпы;
Дряхлый священник, взобравшись на вилы,
Вечную память тогда пропоет.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.

Для второй строфы под изображением *колокола* помещены две скрещенные трубы, как олицетворение *похоронного звона*; *пестрая толпа* третьей строфы и священник или, скорее, шляпа священника тоже не забыты, так что для полноты картины недостает только *вил*. Нужно заметить, что *нож* и *вилка* – любимые орудия больного: изображение их служит эмблемой того, что он ест и пьет, находясь в неволе, "на галерах", по его выражению, и потому он всегда носит эти орудия, сделанные им самим из дерева, в петлице своего платья или на шапке.

Здесь кстати будет снова припомнить, что у дикарей легенды их пишутся именно таким способом, т.е. рисунки перемежаются со стихами.

Подобное изобилие эмблем затемняет иногда смысл картин даровитейших художников, страдающих галлюцинациями.

5) У некоторых, хотя и немногих, душевнобольных является, по замечанию Тозелли, странная склонность к рисованию арабесок и орнаментов почти геометрически правильной формы, но в то же время чрезвычайно изящных; впрочем, особенность такого рода обнаруживают только мономаньяки, у безумных же и маньяков преобладает хаотический беспорядок, правда, иногда тоже не лишенный изящества, как это доказывает сообщенная мне Монти и нарисованная сумасшедшим картинка, с изображением какого-то здания, составленным из тысячи мельчайших завитков, красиво

перепутанных между собою на всевозможные лады.

б) Далее, у многих, в особенности у эротоманьяков, паралитиков и безумных, рисунки и поэтические произведения отличаются полнейшей непристойностью; так, один душевнобольной столяр вырезывал на углах своей мебели и на верхушках деревьев мужские половые органы, что, впрочем, опять-таки напоминает скульптуру дикарей и древних народов, в которой половые органы встречаются повсюду. Другой, капитан из Генуи, постоянно рисовал неприличные сцены. Иногда такие художники стараются замаскировать циничность своих рисунков и объяснить ее мнимыми требованиями самого искусства, как, например, больной, воображавший, что изображает картину Страшного суда, или патер, который рисовал обнаженные фигуры и потом затушевывал их так артистически, что детородные органы, груди и пр. выделялись совершенно ясно, и на упреки в непристойности возражал, что ее находят лишь люди, враждебно относящиеся к его рисункам. Этот же самый субъект часто изображал группу из трех лиц – женщину в объятиях двоих мужчин, из которых один был в шляпе патера (Раджи).

Маньяк М., писавший иногда, как мы уже видели, такие прелестные стихотворения, иллюстрировал их множеством рисунков с изображениями каких-то невозможных животных, монахов или женщин и придавал им все самые неприличные позы.

У некоторых, именно у паралитиков, цинизм проявлялся с еще меньшей сдержанностью. Так, я помню одного старика, который рисовал женские половые органы и писал самые непристойные двустилиши в заголовках писем к своей жене. Любопытное явление представляли также два живописца, один из Турина, другой из Реджио, страдавшие манией величия: у обоих было стремление к *содомскому греху*, основанное на той безумной идее, что они – боги, властители мира, создаваемого ими тем же способом, как птицы несут яйца. Один из них, обладавший замечательным талантом, даже изобразил себя на картине, писанной красками, в момент подобного создания мира, совершенно голым, посреди женщин и различных символов своего могущества. Эта чудовищная картина воспроизводит перед нами древнее изображение божества египтян, *Птифалло*, и отчасти служит объяснением происхождения этого мифа.

7) Общую черту большей части произведений сумасшедших составляет их бесполезность, ненужность для самих работающих, что вполне подтверждается изречением Гекарта: "Трудиться над созданием ни к чему непригодных

вещей – занятие, свойственное только сумасшедшим". Так, одна женщина, страдавшая манией преследования, работала по целым годам, прелестно разрисовывая хрупкие яйца и лимоны, но, по-видимому, без всякой цели, потому что всегда тщательно прятала свои произведения, так что даже мне, которого она считала своим лучшим другом, удалось увидеть их только после ее смерти. В том же роде был и труд того больного, который сшил себе только один сапог, о чем мы говорили раньше. Можно подумать, что сумасшедшие, подобно гениальным артистам, тоже придерживаются теории *искусства для искусства*, только в извращенном смысле.

8) Иногда сумасшедшие создают и чрезвычайно полезные вещи, но совершенно непригодные для них лично, и притом не по той специальности, какой они прежде занимались. Например, один помешавшийся интендантский чиновник придумал и сделал модель кровати для беснующихся больных, до того практичной, что, по-моему, кровать эту следовало бы ввести в употребление; двое других чиновников сообща делали прехорошенькие, покрытые резьбой спичечницы из бычьих костей, хотя пользы не могли извлечь никакой из этой работы, потому что отказывались продавать свои произведения. Впрочем, мне случалось видеть и много исключений из этого правила: так, меланхолик, страдавший манией убийства и самоубийства, устроил себе из костей, остававшихся от обеда, нож и вилку, что было для него очень полезно, так как, по приказанию директора, ему не давали металлических ножей и вилок. Мегаломаньяк, служитель кафе, лечившийся в больнице Колленьо, приготавливал там превосходную сладкую водку, хотя материалы, доставлявшиеся ему любителями этого напитка, были самого разнообразного качества. Пятидесятилетняя женщина, страдавшая припадками бешенства, сшила громадный ночной чепчик в виде шлема и не могла уснуть иначе, как натянув его себе на лицо по самую шею; маньяк-преступник из лучинок сделал себе ключ. Я не говорю здесь о тех, которые устраивали для себя настоящие кирасы из железа или камешков, так как в этом случае работа вызывалась необходимостью защититься от воображаемых преследователей, и потому труд вполне вознаграждался полученными результатами.

9) В художественном творчестве сумасшедших, конечно, преобладают всевозможные нелепости как относительно колорита, так и самих фигур, но это особенно сказывается у некоторых маньяков вследствие неравномерной, преувеличенной ассоциации идей, не дающей места промежуточным оттенкам при воплощении задуманного художником образа. У безумных же встречаются перерывы в

ассоциации идей, как это видно, например, из того, что один из них, желая изобразить брак в Кане, превосходно нарисовал всех апостолов, а вместо фигуры Христа – огромный букет цветов.

Паралитики обыкновенно не умеют справиться с размерами изображаемых предметов, вследствие чего куры выходят у них одинаковой величины с лошадьми, вишни – с дынями, или же, несмотря на всю тщательность отделки, рисунок выходит какой-то неаккуратный, точно картинки, нарисованные детьми. Один помешанный, воображавший себя вторым Верне, для изображения лошадей проводил только четыре черты, а другой рисовал все фигуры вверх ногами.

В тех случаях, когда умопомешательство сопровождается потерей памяти, так что больные и в разговорной речи забывают некоторые слова, в рисунках тоже замечается недостаток существенных частей его. Так, один сумасшедший отлично нарисовал сидящего генерала, но забыл нарисовать, на чем он сидит.

10) У некоторых, в особенности у мономаньяков, мы видим, наоборот, уже слишком большое изобилие мелочных подробностей, так что из желания точнее выразить идею рисунка они делают его совершенно непонятным. На одном пейзаже, например, помещенном в Турине между не принятыми на выставку картинами, на видневшемся вдали поле все былинки отчетливо отделялись одна от другой, или же в громадной картине штриховка была сделана такая же тонкая, как в маленьком рисунке карандашом.

Иногда, кроме изобилия подробностей, замечается еще полнейшее отсутствие перспективы, как, например, в рисунке, воспроизведенном здесь посредством ксилографии, где все отдельные части сделаны совершенно правильно, но, вследствие полнейшего отсутствия перспективы, в общем выходит какой-то сумбур. Можно подумать, что это рисовал настоящий художник, но учившийся в Китае или Древнем Египте.

Я знал троих подобных живописцев, из которых один был мономаньяком, отличавшийся еще тем, что для письма употреблял печатные буквы, и двое – помешанных. Кроме того, мне случалось видеть одного французского капитана-полупаралитика, рисовавшего фигуры угловатыми линиями, точно египетские профили. Вышеупомянутый мегаломаньяк, сшивший себе один только сапог, сделал раскрашенный барельеф, на котором фигуры своими непропорционально большими конечностями и крошечными лицами очень

походили на священные картины XII столетия. Наконец, один больной вырезывал на трубках и вазах барельефы, совершенно сходные с теми, какие встречаются на древних орудиях из тесаного камня. Таким образом, эти примеры доказывают полную аналогию между психическим состоянием человека и внешними проявлениями его деятельности.

11) Некоторые из сумасшедших выказывают удивительный талант в подражании, в умении схватить внешний вид предмета, например, они совершенно точно срисовывают фасад больницы, головы животных; но такие, хотя весьма тщательные, рисунки бывают обыкновенно лишены изящества и напоминают младенческое состояние искусства.

Мне случилось видеть, что подобные картины нередко выходят довольно удачными у идиотов и кретин, которые, пожалуй, стоят в умственном отношении на одном уровне с первобытными людьми.

Многие постоянно воспроизводят один и тот же сюжет; так, у Фриджерио был душевнобольной, всегда рисовавший пчелу, которая отгрызает голову у муравья; другой, воображавший, что его расстреляли, чертил ружья, третий – арабески. Иногда это постоянство обуславливается прежними занятиями, например, у столяров и моряков и пр.

Последнее обстоятельство служит объяснением того факта, что душевнобольные и даже совершенно помешавшиеся достигают иногда значительной степени совершенства в своих рисунках вследствие постоянного повторения известного сюжета. Сумасшедший, вечно рисуемый одни корабли, наконец становится артистом в их изображении. Впрочем, иногда эта способность, как и внезапное появление поэтического литературного таланта, вызванное потерей рассудка, – например, у Фарина – обуславливается энергией и напряженностью галлюцинации. Под влиянием их люди, никогда не бравшие кисти в руки, сразу делаются живописцами и даже художниками, как это случилось с Блэком (о котором рассказывает Бриер), именно благодаря тому, что давно умершие люди, ангелы и пр., представлялись ему живо и совершенно отчетливо. Той же способностью обладал поэт-маттоид Джон Клер; он уверял даже, что был очевидцем войн давно прошедшего времени и присутствовал при совершении казни над Карлом I.

Действительно, все эти события он воспроизводил на полотне поразительно правдиво, хотя не получил никакого образования и, следовательно, не мог заимствовать ничего

из книг.

Впечатлительностью объясняется отчасти и страсть к копированию картин и списыванию стихов, замечаемая у тех из психически больных, от которых всего меньше можно было ожидать этого, – у безумных (*démenti*).

Тут, очевидно, играет большую роль тот факт, что с потерей рассудка фантазия приобретает полный простор и больной проникается сочувствием к произведениям той же фантазии, тогда как у нормальных людей здравый смысл, не допускающий их до иллюзии или галлюцинаций, в известной степени подавляет в них эстетические и артистические наклонности. Хорошо копировать можно лишь то, что хорошо видишь.

Отсюда уже понятно, каким образом самое искусство может, в свою очередь, способствовать развитию душевных болезней и даже вызывать их. Вазари рассказывает о живописце Спинелли, что когда он после многих бесплодных попыток нарисовал наконец Люцифера во всем его безобразии, то последний явился ему во сне и укорял, зачем он изобразил его таким уродом. Этот образ потом в продолжение нескольких лет преследовал Спинелли и едва не довел его до самоубийства. Верга знал другого художника, который, долгое время упражняясь в рисовании змеевидных линии, стал видеть их перед собою днем и ночью, под конец даже превратившимися в настоящих змей. Это до такой степени мучило его, что он пытался утопиться.

Бывают случаи, что страсть к рисованию вызывается не фантазией, но простым автоматизмом, развивающимся с особенной силой именно тогда, когда всякие другие проявления психической деятельности начинают слабеть. Нечто подобное мы видим в детях, которые автоматически рисуют и пишут разные каракульки.

Что в известной степени тут имеет влияние атавизм, доказывается не только сходством этих рисунков с монгольскими, но также и страстью сумасшедших к музыке. Вопрос этот был весьма обстоятельно разработан известным алиенистом и знатоком музыки Винья (*Vigna*) в его сочинении "*Intorno all' influenza della musica*" ("По поводу влияния музыки"), изданном в Милане в 1878 году.

Музыкальное искусство у сумасшедших. Музыкальные дарования, подобно способности к живописи, даже еще в сильнейшей степени, чем эта последняя, слабеют у тех душевнобольных, которые до заболевания слишком страстно занимались музыкой. Адриани заметил, что музыканты,

лечившиеся у него от умопомешательства, почти совершенно теряли свои музыкальные способности и если иногда занимались музыкой, то совершенно машинально, иные же, лишившись рассудка, постоянно повторяли одну и ту же пьесу или отдельные фразы из них. Винья говорит, что Доницетти, находясь в последнем периоде сумасшествия, оставался совершенно равнодушным, когда при нем играли его любимые мелодии. В последних произведениях этого композитора отразилось роковое влияние болезни. То же самое замечают музыкальные критики и в симфонии-увертюре к "Мессинской невесте", написанной Шуманом во время припадков сумасшествия.

Но это нисколько не противоречит высказанному мною положению, что умопомешательство вызывает артистические способности в субъектах, не имевших их раньше, а, напротив, только доказывает, как это мы уже видели относительно живописцев, в какой ничтожной степени сохраняется у музыкантов прежняя любовь к искусству, злоупотребление которым, может быть, и сделалось причиной их сумасшествия.

Впрочем, Мазон Кокс, заметивший, что многие виртуозы вместе с потерей рассудка теряли и музыкальные способности, наблюдал также несколько случаев, когда под влиянием психоза эти способности усиливались. Несомненно, однако, что музыкальный талант появляется, иногда почти внезапно, всего чаще у меланхоликов, затем у маньяков и даже у безумных. Я помню одного больного, совершенно потерявшего дар слова, но постоянно игравшего *à livre ouvert* самые трудные пьесы, и одного очень даровитого математика, который страдал меланхолией: совершенно не зная ни музыки, ни контрапункта, он импровизировал на фортепиано арии, достойные великого композитора. Другой субъект, впавший в безумие вследствие мономании, в молодости учился музыке и во время болезни постоянно играл или импровизировал до самой смерти своей от паралича.

Тамбурины лечил одну женщину, сифилитичку, страдавшую мегаломанией; во время припадков возбуждения она садилась за фортепиано и пела прекрасные арии, но, вместо того чтобы аккомпанировать себе, импровизировала два различных мотива, не имевших никакого соотношения ни между собою, ни с арией, которую она пела при этом.

Один юноша, лечившийся у меня в клинике от миланской проказы, сочинял новые и прелестные песенки.

Раджи писал мне об одной лечившейся у него даме,

страдавшей меланхолией, что во время припадков она играла нехотя и кое-как, но, по окончании его, проводила целые дни за роялем и с чисто артистическим увлечением исполняла труднейшие вещи. Тот же врач наблюдал необыкновенное развитие музыкальных способностей у другой больной, у которой было острое горделивое помешательство: она постоянно пела арии Беллини, хотя и детонировала при этом.

В музыкальном искусстве перевес тоже оказывается, по-видимому, на стороне мегаломаньяков и паралитиков, по той же самой причине, как и в живописи, а именно вследствие сильнейшего психического возбуждения. Так, с одним из паралитиков во все продолжение болезни бывали настоящие музыкальные пароксизмы, во время которых он подражал всевозможным инструментам и при исполнении тихих мест (piano) выказывал неописанное увлечение. Другая паралитичка, воображавшая себя французской императрицей, губами и прищелкиванием пальцев исполняла марши для своего войска и пела в такт этим звукам.

Еще один больной-паралитик, считавший себя генерал-адмиралом, тоже нередко пел какие-то монотонные мелодии. Оригинальный поэт и живописец мегаломаньяк М., писавший то прелестные, то нелепые стихотворения, приведенные нами раньше, тоже писал или, скорее, кропал какие-то музыкальные пьесы по новой, им самим изобретенной системе, ни для кого, впрочем, не понятной.

Маньяки всегда предпочитают быстрые темпы на высоких нотах, особенно при веселом настроении, и любят повторять припевы (Раджи). Впрочем, и вообще все больные, хотя бы ненадолго попадающие в дома умалишенных, обнаруживают большую склонность к пению, крикам и ко всякому выражению своих чувств посредством звуков, причем всегда замечен известный размер, ритм. Причина этого явления, точно так же как и обилия между сумасшедшими поэтов, будет нам вполне понятна, когда мы припомним мнение Спенсера и Ардига, доказывающих, что закон ритма есть наиболее распространенная форма проявления энергии, присущей всему в природе, начиная от звезд, кристаллов и кончая животными организмами. Инстинктивно подчиняясь этому закону природы, человек стремится выразить его всеми способами и тем с большей напряженностью, чем слабее у него рассудок. Потому-то первобытные народы всегда до страсти любят музыку. Спенсер слышал от одного миссионера, что для обучения дикарей он поет им псалмы, и на другой день почти все они уже знают их на память.

Дикари даже и в разговорной форме употребляют нечто вроде монотонного пения, напоминающего наши речитативы, а самое слово песня выражало в древнее время и понятие о поэзии, откуда произошло название поэта – певец. Таинственные магические формулы и заклинания древних всегда имели размер песни, да и в настоящее время в деревнях разговорная речь обилием модуляции голоса напоминает простые музыкальные арии. Наконец, импровизаторы произносят свои стихи не иначе как нараспев и жестикулируют при этом всеми членами.

Спенсер в своем сочинении "Essais de morale et d'esthétique" (Paris, 1879) прекрасно объясняет это тем, что пение придает особенную силу естественному выражению чувств и состоит в систематическом комбинировании голосовых средств, смотря по тому, вызываются ли они радостью или печалью. "Всякое умственное возбуждение, – говорит он, – переходит в мускульное, и между ними существует неразрывная связь. Ребенок прыгает и скачет при виде чего-нибудь блестящего. Взрослый начинает жестикулировать под влиянием ощущений или сильного волнения, и чем оно сильнее, тем больше раздражается мускульная система. Легкая боль вызывает стон, острая – крик: слабый – если страдание мимолетно, высокий или низкий – если оно продолжительно, а в случае нестерпимых страданий звук голоса повышается на квинту, на октаву и даже больше. В пении же душевное волнение также проявляется дрожанием мускульных связок, отчего происходит так называемое тремоло".

Весьма естественно поэтому, что в тех случаях, когда возбуждение особенно сильно и где нередко даже явление атавизма, как при сумасшествии, склонность к музыке оказывается преобладающим выражением духовной жизни человека.

Тот же самый факт служит в свою очередь объяснением, почему среди гениальных безумцев так много музыкальных знаменитостей, каковы, например, Моцарт, Латтре, Шуман, Бетховен, Доницетти, Перголези, Феничия, Риччи, Рокки, Россо, Гендель, Дюссек, Гофман, Глюк и др.* Кроме того, не следует забывать, что музыкальные композиции принадлежат к числу самых субъективных произведений человеческого гения, – они всего теснее связаны с аффектами и всего менее с внешними формами проявления мысли, вследствие чего для создания их необходимо вдохновение самое пламенное, жгучее, наиболее губительно действующее на организм.

* На громадное количество сумасшедших среди

композиторов указал мне молодой артист Арнальдо Баргони уже много лет тому назад, а в последнее время много фактов по этому вопросу сообщил Мастриани в своей прекрасной статье о моей книге "Гениальность и помешательство", изданной в 1881 году.

Исследование характера артистических наклонностей у сумасшедших, может быть, принесет пользу не только для изучения их болезней, в которых еще столько темного, необъяснимого, но также и для самой эстетики или, по крайней мере, для эстетической критики, доказав ей, что злоупотребление символами, изобилие мелочных подробностей, хотя и совершенно верных с действительностью, цветистость слога, противоестественное преобладание одного какого-нибудь цвета (недостаток, свойственный многим нашим художникам), циничность сюжетов и слишком преувеличенная оригинальность принадлежат уже к патологическим явлениями в области искусства.

IX МАТТОИДЫ-ГРАФОМАНЫ, ИЛИ ПСИХОПАТЫ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

Маттоидами-графоманами я предложил бы назвать разновидность, составляющую промежуточное звено, переходную ступень между гениальными безумцами, здоровыми людьми и собственно помешанными.

Разновидность эта представляет в печальной области психиатрии совершенно особый тип индивидов, на которых впервые указал Маудсли под именем "*людей с темпераментом помешанных*" и которых потом Морель, Легран де-Соль и Шюле называли *страдающими наследственным неврозом*,* Баллинский и др. – психопатами, а Раджи – *невропатами*.

* "Это дети или племянники сумасшедших, – говорит Шюле в своем сочинении "Geisteskrankheit", – нередко с аномалиями в строении черепа, неба, языка, склонные к умопомешательству, в особенности периодическому, и к ипохондрии, которой они подвергаются при малейшем поводе, в период зрелости и беременности. Они с детства проявляют недостаток энергии, бывают склонны к бессоннице, сомнамбулизму, конвульсиям и отличаются необыкновенной раздражительностью. Позднее в них проявляются припадки лихорадочной деятельности, сменяющиеся полной инерцией, отсутствие дисциплины, жестокость, преждевременные половые инстинкты и наклонности к самоубийству: они вечно находятся в тревоге и ничем не могут удовлетвориться; едва лишь достигнув цели и успокоившись, они снова начинают волноваться; в

своей профессии они обнаруживают иногда деловитость, но в практической жизни вечно остаются детьми".

Эта характеристика применима вполне и к маттоидам, только у них я редко находил органические аномалии и наследственную склонность к умопомешательству; напротив, многие из них состоят в родстве с великими, гениальными людьми, о чем я скажу в своем месте.

Этот последний, тщательно и долго изучавший подобных субъектов, предложил разделить их на четыре категории, смотря по тому, относится ли их ненормальность к области чувственной, аффективной или интеллектуальной.

Первую категорию составляют отчасти истеричные субъекты, отчасти ипохондрики с более острой впечатлительностью, чем у других людей, и с склонностью объяснять свои воображаемые несчастья вымышленными причинами.

Ко второй категории принадлежат субъекты с извращенными инстинктами, злоупотребляющие то эксцессами, то воздержанием и склонные к различным половым ненормальностям, о чем я подробно говорил в своей брошюре о проявлении любви у помешанных. Они обнаруживают странную привязанность к собакам, кошкам, птицам и т.д., отличаются самыми нелепыми причудами, например, уничтожают дорогие вещи, бросаются с поездов, избегают солнечного света, так что выходят только ночью и притом с зонтиком, не могут оставаться в закрытых помещениях, так что падают в обморок, когда их запирают в комнате, или, наоборот, боятся открытых мест, площадей и не решаются переходить их. Я знал одну даму, падавшую в обморок при виде заостренных вещей (*punto*), а Раджи сообщает о другой, что с ней делалась рвота, когда она видела своего мужа, которого, между тем, очень любила. У некоторых, в особенности у педерастов, замечается настоящая страсть ко всему грязному, тогда как другие проявляют такую любовь к чистоте, что они по несколько раз вытирают стул, прежде чем сесть на него, и заставляют своих близких голодать или бодрствовать из мнимого убеждения, что им дадут неопытно приготовленные кушанья или грязные простыни. Аффективные моральные маттоиды образуют в полном смысле слова субстрат или переходную ступень к врожденным преступникам; это – бессердечные, безжалостные эгоисты, остающиеся совершенно спокойными при виде смерти и страданий близких им людей, иногда способные даже любоваться таким зрелищем; они часто питают ненависть к людям и скрываются где-нибудь в глуши, избегая общества. Иные

же, напротив, из потребности делать зло сближаются с людьми и стараются возбудить к себе их удивление с помощью самых нелепых приемов, например собиранием пуговиц, зонтиков и пр., или же прибегают для этой цели к глупым фарсам – пишут сами себе любовные записки и потом хвастаются ими; чуть не умирая с голода, курят дорогие сигары и т.п. Обыкновенно такие личности становятся во главе тайных обществ, заседающих в кафе или политическом клубе, делаются основателями новых сект или только их апостолами, тем более ревностными, чем невежественнее сами. Нередко также, будучи негодьями и ворами с детства, они все свои способности употребляют на всевозможные мошеннические проделки, с наслаждением занимаются ими, а попавшись, с негодованием встречают обвинительный приговор, хотя сами отлично знают законы. Тщеславные до крайней степени, они зачастую совершают преступления из желания прославиться, забывая при этом, что вместе с утратой престижа лишаются и честного имени, и уважения окружающих, чего они так страстно добивались.

Интеллектуальные маттоиды – это, по мнению Раджи, те неудержимые болтуны, которые, раз заговорив, уже не могут остановить потока своего красноречия, даже если бы и желали этого. Находясь под влиянием какого-то лихорадочного умственного возбуждения, они говорят без логической связи и нередко приходят к выводам, совершенно противоположным тому, что они хотели доказать. Иногда у них появляются чрезвычайно странные фантазии: например, сосчитать камешки на мостовой, половицы в комнате или пристально смотреть на кончик сапога. Рассеянны они до такой степени, что по несколько раз пишут об одном и том же к тому же лицу, не замечают перемен дня и ночи; иногда, напротив, у них бывает необыкновенно развита память, так что они запоминают целые страницы из прочитанного или же хорошо помнят только числа, иностранные слова, но забывают черты лица даже своих друзей. Некоторые отличаются живостью воображения, вследствие чего доходят до разных абсурдов, делают категорические заключения от общего к частному и т.д.

Такие субъекты очень мало отличаются от душевнобольных, страдающих горделивым помешательством и пр., и часто делаются ими при первом же поводе.

Раджи, у которого я многое заимствую по данному вопросу, находит между ними лишь ту разницу, что у большинства маттоидов умственное расстройство не сопровождается аффектами и что они более способны сдерживаться в своих

поступках. С своей стороны я прибавлю, что ненормальность их бывает врожденная и неизлечимая – к ним же я отношу и лиц, страдающих неврозом, – и что они обладают только болезненными свойствами гениальных людей, преимущественно эксцентричностью, не имея, однако, ни критического взгляда, ни творческих способностей. Морель, Легран де-Соль и Шюле приписывают таким маттоидам еще и различные физические ненормальности – особенно в строении ушной раковины (всегда плоской), языка, черепа и половых органов, – но я находил у них эти признаки лишь в виде исключения.

Разновидность того же типа, соединяющую интеллектуального маттоида с моральным или аффективным, представляют графоманы и кляузники, которыми я нахожу нужным заняться обстоятельнее, не только вследствие аналогии и контрастов между ними и гениальными людьми, но и потому еще, что события последнего времени доказали мне, какое значение они приобретают в социальной и политической жизни народа, тем более что всегда вредная деятельность их прикрывается вначале псевдолитературными стремлениями. Поэтому на них следует обратить внимание не с одной только медицинской или литературной точки зрения.

У маттоида-графомана в большинстве случаев череп бывает нормальный, детей у него нет, но сам он нередко происходит от гениального предка; так, Квестер был брат ученого Адольфа Квесгера, Мартин Вильям – брат Джонатана, знаменитого живописца, Флуран, коммунар, – сын знаменитого физиолога, Спандри – сын известного астронома и пр. Отличительная особенность его – преувеличенное мнение о себе, о своих достоинствах и вместе с тем исключительно ему свойственная способность высказывать свои убеждения больше на бумаге, чем на словах или на деле, не возмущаясь несколько теми невзгодами и противоречиями, которые на каждом шагу встречаются в практической жизни и обыкновенно не дают покоя как гениальным людям, так и сумасшедшим.

Чианкеттини приравнивал себя к Галилею, даже к самому Христу, и в то же время подметал лестницы в казарме.

Пассананте, называвший себя президентом политического общества, служил в качестве повара. Манжione, считающий себя мучеником своего гения ради блага Италии, исполняет обязанности маклера. Кессон выдает себя за кардинала, а между тем живет как паразит,

разыгрывая роль сумасшедшего и получая обильные подаяния. Пастор Блюэ, титулующий себя апостолом и графом Пермиссионном, был такого высокого мнения о себе как авторе "Скоттатиндже", что удостаивал своим вниманием только царствующих особ и в то же время не отказывался заниматься укрощением лошадей. Стеварт, автор нелепого сочинения "Новая система физической философии", исходивший весь свет с целью отыскать "полярность истины" (*polarita del vero*), воображал, что все короли земного шара сговорились уничтожить его произведение, и потому раздавал экземпляры своим друзьям с просьбой спрятать их как можно тщательнее и не открывать этой тайны иначе, как на смертном одре.

Мартин Вильям, брат Джонатана, того самого, что в припадке безумия поджог собор в Йорке, и Джона, создавшего новый род живописи, напечатал множество сочинений для доказательства вечного двигателя (*perpetuum mobile*). Убедившись на основании 36 сделанных им опытов, что научным путем доказать это невозможно, этот маттоид во сне получил от Бога откровение, что он избран для открытия первой причины всех вещей, а также *perpetuum mobile*, и написал по этому предмету несколько сочинений.

Ненормальность писателей-маттоидов не всегда легко было заметить, если бы, при всей кажущейся серьезности и увлечении данной идеей, – в чем они обнаруживают сходство с мономаньяками и гениальными людьми, – к сочинениям их не примешивалось зачастую множество нелепых выводов, постоянных противоречий, многословия, бессмысленной мелочности и главным образом себялюбия и тщеславия, составляющих преобладающее свойство гениальных людей, лишившихся рассудка. Недаром же в числе 215 маттоидов-графоманов мы находим 44 пророка.

Филапанти в своем сочинении "*Dio libérale*" причисляет к полубогам своего отца, занимавшегося столярным ремеслом, и свою мать!

Гито намеревается спасти республику, убив ее президента, и провозглашает себя великим законоводителем и философом.

Пассананте, проповедовавший "неприкосновенность человеческой жизни и собственности", обрекает на смерть членов парламента: требуя от своих последователей, чтобы они уважали существующий образ правления, он сам оскорбляет монархию, покушается на жизнь короля и предлагает уничтожить *скупцов и ханжей*.

Врач С. печатает статью о том, что кровопускания предохраняют от *избытка (eccesso)* света, а другой в двух толстых томах доказывает, что болезни бывают эллиптической формы.

Сочинение Демонса "Quintessenza sestessenza dialettica" критики называют настоящей квинтэссенцией глупости.

Глезес утверждал, что тело атеистично, а Фузи (теолог!) – что менструальная кровь обладает свойством тушить пожары.

Ганнекен, имевший обыкновение писать в воздухе пальцем и владевший *духовой трубой* (tromba aromale), посредством которой он входил в сношения с рассеянными в воздухе духами, возвестил, что настанет время, когда многие индивиды мужского пола превратятся в индивидов женского пола и сделаются полубогами.

Генрион сказал в академии надписей, что Адам был ростом 40 футов, Ной – 29, Моисей 25 и т.д.

Леру, знаменитый парижский депутат, веривший в переселение душ и в каббалу, так определил любовь: "идеальность реальности одной части целого в бесконечном существе и пр."

Асгиль утверждал, что человек может жить вечно, лишь бы у него была вера в бессмертие.

Филапанти признавал существование трех Адамов и с величайшей точностью определял, в каком именно году они жили и чем занимались.

Бывает, однако, что среди хаотического бреда в произведениях маттоидов-графоманов попадаются и совершенно новые, здравые суждения. Вот, например, какие прелестные отрывки можно встретить среди нелепых сентенций Чианкеттини:

"Инстинкт заставляет всех животных стремиться к поддержанию своего существования с наименьшей затратой сил, избегать всего неприятного и наслаждаться жизнью; но, чтобы достигнуть этого, им необходима свобода".

"Все животные, за исключением человека, стараются удовлетворить этому инстинктивному стремлению, и почти всем удается достигнуть этого: одни лишь люди, сгруппировавшись в общества, оказались связанными,

порабощенными до такой степени, что не только никогда еще никому не посчастливилось доставить людям мир и свободу, но даже никто из них не мог придумать способа для достижения этой цели".

"И вот я решаюсь предложить такой способ. Положение дел в настоящее время напоминает запертую дверь, которую нельзя открыть без ключа или отмычки, иначе как взломавши ее; точно так же и человек, утративший свободу с развитием членораздельной речи, только с помощью того же дара слова или его эквивалента – письма может опять сделаться свободным, не разорвав связи с обществом".

Между бессмысленными гимнами, помещенными пастором Блюэ в "Скоттатиндже", я нашел один стих, превосходно выражающий положение Италии: "Вечная царица и раба – враждебно относящаяся к своим детям".

Из биографии Пассананте мы вскоре увидим, что в своих статьях, и особенно в разговоре, он иногда высказывал меткие оригинальные суждения, заставлявшие многих сомневаться в том, действительно ли он сумасшедший. Припомните, например, его изречение: "Там, где ученый теряется, невежда имеет успех". Или вот еще другое: "История, преподаваемая народами, поучительнее той, которая изучается по книгам".

Взгляды, приводимые в такого рода сочинениях, конечно, зачастую заимствованы у более сильных мыслителей или публицистов, но всегда с преувеличениями и в своеобразной переделке. Так, у Бозизио я встретил доведенные до крайности тенденции наших зоофилов (покровителей животных) и как бы предвосхищенные у г-жи Ройе и Конта взгляды на необходимость применения теории Мальтуса. В статьях Детомази, маклера весьма сомнительной нравственности, попадаются рассуждения о проведении в жизнь дарвиновского полового подбора, хотя и с примесью чисто болезненного эротизма, а Чианкеттини стремится к практическому осуществлению социализма. Впрочем, ненормальность сказывается не столько в преувеличениях относительно той или другой тенденции, а, скорее, в непоследовательности, в постоянных противоречиях, так что рядом с возвышенными, иногда прекрасно изложенными взглядами встречаются суждения жалкие, нелепые, парадоксальные, противоречащие основному плану сочинения и социальному положению автора. При чтении таких статей невольно вспоминается Дон Кихот, великодушные поступки которого вместо сочувствия вызывают улыбку сострадания, хотя в иное время их, может быть, признали бы геройскими,

достойными удивления. Вообще, гениальные черты составляют в произведениях маттоидов редкое исключение. Кроме того, у большинства их заметен недостаток экстаза, вдохновения; целые тома наполняют они бессмысленной, тяжелой болтовней; чтобы скрыть бедность мысли, невыработанность слога, отсутствие таланта, эти честолюбцы прибегают к вопросительным и восклицательным знакам, подчеркиваниям слов и придумыванию новых выражений, как это делают и мономаньяки. Один мономаньяк, Бардье, издал брошюру, в которой учил земледельцев – как получать вдвое большую жатву с полей, а моряков – как избегать противного ветра, и дал ей такое заглавие: "Покоритель атмосферы", а себя самого назвал творцом покорителя атмосферы. Чианкеттини, Пари, Вальтук и другие придумывали совершенно невозможные слова, например *алитрология*, *антропомогнотология*, *ледепидермокрия*, *глоссостомопатика* и т.п.

Часто рукописи испещрены вертикальными и горизонтальными строками и надписями, сделанными различным почерком, как, например, у Чианкеттини. Нередко также встречаются и рисунки, точно будто для большей ясности авторы находят нужным прибегнуть к древнему идеографическому способу письма, что, как мы уже видели, делают и мегаломаньяки. Так, в 88-й книге Блюэ помещен непристойный рисунок, настолько же бессмысленный, как и самый текст ее.

Некто Вальт напечатал два сочинения о психографии, т.е. новой философской системе, им самим придуманной, и тем не менее нашелся совершенно здравомыслящий философ, который написал комментарии к этому произведению, что может служить доказательством "солидной" учености некоторых философов. В системе этой доказывалось, что каждой идее соответствует в мозгу известное изображение или символ души, например, пламя свечи означает физическую природу, символом души служит кольцо, движения – крючок; дыхания, а также обоняния – нос и т.д. Другой философ, А., отчаявшись, и совершенно резонно, в том, чтобы кто-нибудь понял его письменные объяснения, наполнил всю свою книгу рисунками, изображавшими мозг, испещренный символами такого же рода. Иезуитский миссионер Паолетти написал книгу против св. Фомы и приложил к ней картину с изображением орудий, употребляемых в аду для определения будущей судьбы детей Адама, согласно с предназначенной им участью. Божественная и человеческая воля представлена на этой картине в виде двух шаров, вращающихся в противоположных направлениях и потом встречающихся в

общем центре.

Все маттоиды употребляют чрезвычайно сложные, курьезные заглавия для своих сочинений. У меня есть одно, с заглавием в 18 строк, не считая примечания, поясняющего это заглавие. В одной драме оно состоит из 19 строк. В другом социалистическом произведении, напечатанном в Австралии на итальянском языке, заглавию придана форма триумфальной арки. Пожалуй, в этих-то заголовках и сказывается почти у всех маттоидов ненормальное состояние их умственных способностей.

У многих является фантазия прибавлять к фразам отдельные цифры или целые ряды их, что иногда делают и паралитики. В одном сочинении помешанного Совбира, озаглавленном 666, каждый стих оканчивается тем же числом; но что всего страннее, одновременно с этим произведением некто Потер издал в Англии брошюру о числе 666, которое он признал самым совершенным из чисел. Ему же отдавал особое предпочтение и Лазаретти. Спандри, Леврон и другие высказывали такой же взгляд на число 3.

Подобно сумасшедшим, маттоиды любят повторять некоторые изречения или отдельные слова по несколько раз на одной и той же странице. Так, в одной главе сочинения Пассананте слово "riprovate" употреблено 143 раза.

Случается, что они заказывают специально для своих произведений особую бумагу, раскрашенную в различные цвета, что, конечно, сильно увеличивает расходы по изданию. Так, некоему Виргманду издание подобной книги в 400 страниц стоило более 22 тысяч рублей. Филон ухитрился окрасить каждую страницу своей книги особым цветом.

Другую особенность их составляет своеобразная орфография и каллиграфия, со множеством подчеркнутых или написанных печатными буквами слов. Иногда они пишут в два столбца даже обыкновенные письма, строки располагают и вдоль, и поперек, и наискось и, наконец, в словах подчеркивают некоторые буквы, как будто отдавая им предпочтение перед другими (Пассананте). Периоды бывают нередко отделены один от другого, точно параграфы Библии, или же каждые два-три слова перемежаются многоточиями, как, например, в хранящейся у меня книжке Беллоне. Также часто употребляются скобки, даже двойные, и множество примечаний, выносок, ссылок и пр. В брошюре некоего Л. (профессора),

состоящей из 12 страниц, выноски занимают 9. Гепен изобрел новый *физиологический язык*, состоящий, в сущности, из тех же букв, только в другом порядке и с прибавлением цифр, например, *votre présence* следует написать так: *stat 5 nq facto*. Многие маттоиды превосходят даже сумасшедших страстью к цветистой речи, к употреблению фигуральных выражений и к игре словами, основанной на созвучиях. Поразительный пример в этом роде представляет Гекарт, тот самый Гекарт, который сказал, что заниматься пустяками свойственно только помешанным, и составил биографии сумасшедших, находящихся в Валансьене. Он написал курьезную книжку, озаглавленную так: *"Anagrammeana", поэма в VII песнях, ХСV* (это было первое) *просмотренное, исправленное и дополненное издание. В Анаграмматополисе, год XI анаграмматической эры*" (Валансьен, 1821) и целиком состоящую из бессмысленного набора слов с перестановкой букв в некоторых из них.

Здесь кстати будет упомянуть о том, что на полях экземпляра *анаграммеаны*, хранящегося в Парижской национальной библиотеке, рукою самого автора сделана следующая надпись: *"Анаграммы есть одно из величайших заблуждений человеческого ума: надо быть дураком, чтобы ими забавляться, и хуже чем дураком, чтобы составлять их"*. Что может быть справедливее этой оценки?

Началом непомерного увлечения вегетарианством послужило для Глейзеса сновидение, во время которого он слышал голос, кричащий ему: "Gleises означает *église*" (церковь), и вот на основании этой игры слов он вообразил себя избранником Божиим, призванным для проповеди учения вегетарианцев.

Не менее курьезную особенность маттоидов составляет обилие их сочинений. Пастор Блюэ оставил 180 книг, одна бессмысленнее другой. Манжионе, не имевший возможности писать вследствие повреждения руки, отказывал себе в пище, чтобы сберечь деньги для печатания своих произведений, и нередко тратил по 100 скуди в месяц на издание их. Пассананте исписывал целые дести бумаги и заботился о распространении каждого из своих нелепейших писем больше, чем о сохранении своей жизни. Гито тратил такую массу бумаги, что расход на нее составил значительную сумму, которой он не в состоянии был заплатить. Число книг, написанных Фоксом (иллюминатом), до того велико, что библиограф Лоудс не решился составить им каталог.

Иногда у маттоидов является прихоть – не распространять в

публике написанных и напечатанных ими сочинений, хотя они все-таки думают, что публика их должна знать. Кроме болезненной болтливости в этих произведениях заметно еще ничтожество или нелепость сюжета, обыкновенно несколько не соответствующего ни общественному положению авторов, ни полученному ими образованию.

Так, священник-депутат составляет рецепты против тифа; двое медиков придумывают гипотетическую геометрию и астрономию; хирург, ветеринар и акушер пишут об аэронавтике; капитан – об агрономии; сержант – о терапии; повар занимается высшей политикой; теолог рассуждает о менструации; извозчик – о теологии; двое привратников сочиняют трагедии; чиновник казначейства распространяет специальные идеи.

Под моим наблюдением были рассмотрены 179 сочинений, написанных маттоидами, с целью определить, какого рода темы выбирают они по преимуществу. Вот результаты этого исследования:

- 51 сочинение относится к личностям
- 36 - по медицине
- 27 - по философии
- 25 - заключают в себе жалобы
- 7 - драматических
- 7 - религиозного содержания
- 6 - поэтических
- 4 - по астрономии
- 4 - по физике
- 4 - по вопросам политики
- 4 - о политической экономии
- 3 - по агрономии
- 2 - по ветеринарным наукам
- 2 - о литературе
- 2 - по математике
- 1 - по грамматике
- 1 - словарь

Заметим, что в этот счет не вошло множество статей то полемического характера, то очерков по механике, рассуждений о магнетизме, надгробных речей, нелепых теологических трактатов, статей по истории литературы, прокламаций, предложений вступить в брак и пр.

Судя по данным, заключающимся в недавно вышедшем сочинении "Les fous littéraires du Philomneste" (1880), доставленном мне Досси, таких произведений насчитывают в Европе 215, разделяя их на следующие категории:

Теология - 82
Пророчества - 44
Философия - 36
Политика - 28
Поэзия (драм и комедий 9) - 17
Лингвистика и грамматика - 8
Эротические - 5
Об иероглифах - 3
Астрономия - 2
Акrostихи - 2
Химия - 1
Физика - 1
Зоология - 1
Стратегия - 1
Хронология - 1
Педагогика - 1
Гигиена - 1
Археология - 1

Между тем как сумасшедшие преимущественно занимаются поэзией, у маттоидов преобладает теология и затем самые абстрактные, наименее точные и установившиеся науки, что подтверждается также ничтожным числом сочинений по естественным наукам и математике.

Следует заметить, что среди этой массы теологических и философских писаний (162!) встречается только 3 атеистических, хотя, по всей вероятности, их не было бы так мало, если бы атеизм основывался на чистейшем абсурде. Спиритизм, напротив, у этих писателей в таком почете, что Филомнест отказывается перечислять все относящиеся к чему статьи.

Выбором сюжета маттоиды-графоманы, впрочем, не затрудняются: всякая тема для них подходяща, даже совершенно незнакомая им; но по общей части они отдают предпочтение темным, запутанным и неразрешимым вопросам, вроде, например, квадратуры круга, иероглифов, толкований на Апокалипсис, воздухоплавания, спиритизма, или же занимаются так называемыми *модными*, современными вопросами.

Об известном уже нам маттоиде Демонсе (Démons) Нодье говорил, что "это совсем не мономан, а настоящий флюгер и притом безумец, всегда готовый повторять каждую нелепость, достигшую его слуха, мечтатель, хамелеон, невольно меняющий цвета, смотря по тому, что его окружает". И действительно, в эпоху экономических затруднений Италии проекты исправления финансов

появлялись дюжинами: кто предлагал ввести бумажные деньги, кто – отобрать имущество у евреев и духовенства, кто – сделать принудительный заем. Потом преобладающее значение получили социальные и религиозные вопросы (Пассананте, Лазаретти, Бозизио, Чианкеттини), а в последнее время выступил на сцену вопрос о проказе.

Некто Пари считает, например, источником этой болезни какие-то грибки, падающие с грязных потолков на съестные припасы крестьян и заражающие их. Убедиться в этом очень нетрудно: стоит только сделать фотографический снимок с какой-нибудь трещины внутри избы, рассмотреть этот снимок под микроскопом, и тогда окажется (если опыт сделан правильно), что там гораздо больше грибков, чем в домах горожан, не страдающих проказой. Следовательно, на стенах крестьянских изб образуются целые гнезда грибков. Но каким же образом они производят проказу? Ничего не может быть проще: грибки заключают в себе особое вещество – фунгин, который загорается при 47° (sic). Поэтому, когда внешняя температура бывает 13°, а температура тела достигает 32° (sic), оба количества теплоты соединяются, и тело начинает гореть. Вот почему у зараженных проказою появляется *воспаление* от солнца!

Другой, бывший сержант М., предлагает лечить проказу мясом кроликов и потому рекомендует разведение их среди крестьян, забывая, что кролики требуют в день пищи 60 частей на 100 частей своего веса, а следовательно, если бы привести этот проект в исполнение, то крестьянам пришлось бы испытать бедствие чуть ли не худшее, чем самая проказа. Третий, Ж., измеряет уши прокаженных и на основании этих измерений трактует о болезнях кожи (лепидомирикринии). Четвертый, Б., находит причину болезни, с первого же взгляда, без всякого анализа, в нечистотах, случайно замеченных им на улицах Феррары; затем по своему произволу определяет качество и количество пищи, употребляемой прокаженными, состоящей будто бы из 700 граммов маиса, и приходит к заключению, что эти несчастные гибнут вследствие хронического голода, несколько не похожего, впрочем, на голод острый, так как, страдая первым, можно даже оставаться тучным. В конце концов он начинает считать проказу сходной с тифом, потому что некоторые дают ей это название, отрицает столбняк, перемежаемость припадков, гидроманию (припадок бреда, при котором больной бросается в воду), потому что все такие признаки проказы противоречат его теории, и развязно наполняет таким вздором не одну сотню страниц.

Следует еще заметить, что почти у всех маттоидов –

Бозизио, Чианкеттини, Пассананте, Манжионе, де Томази, Бонф – убеждения, высказываемые ими в своих сочинениях, при всем их упрямстве и настойчивости не отличаются страстностью и что насколько они бывают велеречивы и нелепы в письменной речи, настолько же в устной у них заметно благоразумие и осторожность. Ограничиваясь лишь односложными ответами на делаемые им возражения, они чрезвычайно ловко умеют представить свои бредни как что-то действительно разумное, особенно перед несведущими людьми, но лишь только примутся излагать то же самое на бумаге – у них ничего не выходит, кроме скучнейшей ерунды.

Когда я спросил Бозизио, что ему за охота носить такую странную обувь, как сандалии, и ходить в самый жар с открытой головой, почти без одежды, он отвечал мне: "Я делаю это из подражания римлянам, с гигиенической целью, и затем еще, чтобы привлечь своим костюмом внимание публики к моим теориям. Разве она стала бы останавливаться передо мной, если бы я не был одет таким образом?"

Далее, характеристическое отличие маттоидов от преступников и от большинства сумасшедших составляет их умеренность в пище, доходящая иногда до подвижничества чисто монастырского. Так, Бозизио питается исключительно полентой без соли, Пассананте – одним хлебом, Лазаретти часто довольствовался только двумя картофелинами в день, Манжионе съедал на 13 сольди чечевицы или риса и т.д.

Подобная умеренность объясняется, с одной стороны, той отрадой и довольством, какое доставляет этим людям их сочинительство, так что они, подобно аскетам и великим мыслителям, забывают об еде, и с другой – ограниченностью их средств, так как свои скудные достатки они предпочитают тратить на пропаганду своих идей, а не на удовлетворение, потребностей желудка; к тому же среди них встречаются люди безукоризненной честности и до крайности аккуратные, как, например, Чианкеттини, Бозизио, Манжионе. Некоторые из них, например, вели счет даже клочкам исписанной ими бумаги и составляли для такого расхода особые реестры.

Вообще эти субъекты, являясь совершенно помешанными в своих сочинениях – нередко в такой же степени, как и настоящие сумасшедшие, – оказываются довольно разумными в практической жизни, где обнаруживают и здравый смысл, и расчетливость, и даже хитрость, что делает их уже совершенно непохожими на гениальных

людей, а тем более на гениальных безумцев, у которых непрактичность и неумение устроить свои дела почти всегда бывают прямо пропорциональны литературному дарованию. Отсюда понятно, почему многие из авторов таких, чисто патологических, бредней считаются людьми в высшей степени практичными. Трое из них заведуют больницами; Блюэ, автор "Скоттатиндже" ("Délie Scottatinge"), служит капитаном и военным комиссаром. Далее, изобретатель чуть не доисторической машины и автор более чем курьезных произведений занимает такую должность, где ему постоянно приходится сталкиваться с образованными людьми, которые, однако, никогда еще не заподозривали его в ненормальном состоянии умственных способностей. Пятеро состоят профессорами, трое депутатами, двое сенаторами, и никто не замечал в них особенных странностей.

Наконец, такие субъекты служат советниками в государственных учреждениях, в префектуре, в кассационной палате, в провинциальных советах; в числе их есть пятеро священников, и почти все они состарились на своих местах, приобрели всеобщее уважение. Кроме того, можно указать на Фреко, бывшего синдиком, а также на Леру и Асгиля, заседавших в парламенте.

К маттоидам-теологам – Морену, Лебратону, Жоррису, Валле (18-летний юноша), Ванини – относились, к сожалению, настолько серьезно, что сожгли их живыми, а Келер был обезглавлен за то лишь, что корректировал статьи Жорриса.

В следующей главе мы увидим, что многие маттоиды – Смит, Фурье, Клейнов, Фокс – имели фанатичных последователей.

Замечательно еще то обстоятельство, что, между тем как люди, в продолжение 18 лет серьезно изучавшие проказу и придумывавшие средства избавиться от нее, были встречены лишь презрением со стороны академиков и насмешками со стороны толпы, никто из маттоидов, писавших о проказе, не оставался без последователей, хотя бы на один день, и все они находили многочисленных покровителей, даже в парламенте и в королевском дворце. Кроликоман, например, и его коллега, открывший фитозоа, морфибитозоа и грибки, производящие проказу, не только встретили сочувствие со стороны самых авторитетных итальянских газет (не говоря уже о медицинских), но их идеи даже пропагандировались посредством циркуляра Мичели и во многих санитарных советах. А Банф, со своим открытием, что хронический голод служит причиной

проказы, разве не нашел отклика во всех невежественных альенистах Италии, втайне помогавших ему даже своими статьями! Нужно прибавить, впрочем, что в практической жизни это был превосходнейший и честнейший человек.

Эта способность мыслить здраво, сохранять спокойствие, несмотря на увлечение безумной идеей, и отличает маттоидов от обыкновенных сумасшедших, хотя тем же свойством обладают еще мономаньяки, у которых оно проявляется особенно резко; иногда его можно заметить также в известных стадиях опьянения.

Но как мономаньяки, так и маттоиды способны сразу, вдруг, утратить свое здравомыслие и впасть в раздражение, даже в бешенство, – всего чаще под влиянием голода, неудовлетворенной страсти или тех нервных страданий, которыми сопровождается, а может быть, и обуславливается ненормальность таких субъектов, как, например, Кордилиани и Манжионе.* Дело в том, что, судя по некоторым симптомам, у многих из них можно предполагать существование изменений в нервных центрах. У Жиро и Спандри были конвульсии лица, понижение и опускание правого века; анестезией страдали: Лазаретти, Пассананте и Б., поджигатель; признаки эпилепсии замечались – у Манжионе и де Томази; скоропреходящий бред – у Кордилиани. Один даровитый юноша после тифа сделался маттоидом, а 18-летний Кульман, после болезни мозга, начал пророчествовать. Подобные случаи мгновенного проявления умопомешательства ставят иногда в большое затруднение специалистов судебно-медицинской психиатрии и заставляют их, за отсутствием общеизвестных признаков определенного френопатического состояния, делать ложные заключения, причем они или решают, что субъект притворяется, или что он совершенно здоров. Политикам же следовало бы позаботиться о лечении таких маттоидов, потому что, не принимая никаких мер против них своевременно, когда они более смешны, чем опасны, общество рискует подвергнуть себя таким бедствиям, каких, пожалуй, не могут причинить ему и настоящие сумасшедшие, так как они сразу обнаруживают свое безумие, что дает возможность оградить от них здоровых членов общества.

* См. приложение о маттоидах.

Есть еще разновидность графоманов, гораздо более опасная, это – люди, страдающие манией кляузничества. Форма черепа и лица у них вполне нормальна, печень, однако, почти всегда увеличена. Они отличаются страстью судиться со всеми окружающими и в то же время считать

себя жертвами их несправедливости. Такие субъекты проявляют лихорадочную деятельность; отлично зная законы, они постоянно стараются истолковать их в свою пользу, вечно переносят дела из одной инстанции в другую, бегают по судам и подают всюду невообразимое множество прошений, отношений и пр. Многие, заручившись покровительством какого-нибудь важного лица, стараются добиться успеха через него, а потом обращаются к королю, в парламент, надоедают всем и каждому и в конце концов достигают-таки своей цели всевозможными способами, в расчете на снисходительность присяжных. Расчет действительно оказывается иногда верным: например, некто Ж., проиграв свой процесс, ранил выстрелом из ружья графа Калли и был оправдан присяжными благодаря тому впечатлению, какое произвело на них его своеобразное красноречие; через десять лет после того он с оружием ворвался в дом, который сам же продал и которым все-таки снова хотел завладеть.

Подобно тому как эротоманьяк влюбляется в идеальную женщину и воображает себя любимым ею, хотя она его никогда и не видела, кляузник думает, что правосудие существует лишь для защиты его интересов; если адвокаты и судья не помогают ему, он считает их своими врагами и старается всячески досадить им. Нередко такие маттоиды видят в собственной тяжбе нечто священное и готовы сделать какой угодно вред лицам, не разделяющим их убеждения. Некто Б., у которого пастор отобрал поле, принадлежащее ему по закону, вообразил, что это дает ему право всячески преследовать духовенство, на том будто бы основании, что католицизм восстает против правительства. По той же причине он вздумал поджечь церковь. И в то же время все его прошения и протесты написаны были здраво, со смыслом и по существу казались справедливыми, только применение их к данному случаю было неосновательно.

Я заметил, что у всех подобных субъектов бывает совершенно сходный почерк, все они пишут сильно удлинненными буквами и, подобно графomanам, злоупотребляют грамотностью; но выражения у них резче, темы более личного характера, так что они лишь мимоходом затрагивают иногда социальные, религиозные и другие вопросы.

Впрочем, встречается немало и таких, которые к своему личному неудовольствию примешивают политику, и они-то наиболее опасны в наше время: недостаточное образование и крайняя бедность лишают их возможности высказывать свои идеи в печати, и вот, чтобы дать им выход, эти люди прибегают к насилиям и преступлениям. Именно таков был

Санду, настоящий политический маттоид, наделавший столько хлопот Наполеону и Бильо; к той же категории принадлежат Кордильяни, Пассананте, Манжионе и Гито (см. приложение). Крафт-Эбинт рассказывает об одном маттоиде, что он учредил общество (клуб) с целью защищать угнетенных, не добившихся справедливости в судах, и устав его представил королю.

Маттоиды-гении. Промежуточные формы и незаметные градации существуют не только между сумасшедшими и здоровыми, но также между помешанными и маттоидами. Даже среди этих последних, представляющих полнейшее отсутствие гениальности, встречаются личности, до того богато одаренные, что мне в моей практике не раз случалось в недоумении останавливаться над неразрешимым вопросом, к какой категории отнести их – к маттоидам или к гениальным людям. Пример такого рода представляет Бозизио из Лоди. Ему 53 года; в родстве у него – двоюродный брат кретин, мать здоровая и умная женщина, отец тоже не глупый, но пьяница, двое братьев умерли от менингита (воспаления мозговой оболочки). Смолоду он служил казначеем, но в 1848 году эмигрировал. В Турине, чуть не умирая с голоду, он бросился с балкона и сломал себе ногу. В 1859 году его назначили комиссаром казначейства (*commissario de finanza*), и он хорошо исполнял эту обязанность до 66 года, когда, оставаясь по-прежнему разумным и дельным относительно своих служебных обязанностей, он стал выказывать странности, не гармонизировавшие с его бюрократическим положением. Так, однажды он скупил всех птиц, продававшихся на рынке в Буссоленго, и выпустил их на свободу. Затем Бозизио начал проводить все время за чтением газет и подавать в правительственные учреждения очень резко написанные докладные записки об охране лесов, о мерах против истребления птиц и т.п. Уволенный от службы с маленькой пенсией, он круто изменил свой прежний, довольно роскошный образ жизни, стал питаться одной полентой без соли, сбросил с себя мало-помалу все принадлежности костюма, кроме кальсон и рубашки, и употреблял весь свой скудный доход на покупку газет да разных книжонок и на печатание брошюр в защиту интересов будущих поколений, а потом всюду раздавал эти брошюры даром. Вот заглавия некоторых из них: *"Критика моего времени"*, *"Вопль природы"*, *"113 § Вопля природы"*.

Прочтя эти произведения и в особенности выслушав устные доводы Бозизио, приходишь к тому заключению, что придуманное им учение (система) не лишено логичности. Он указывает на бедствия, то и дело поражающие Италию: болезнь винограда, шелковичных червей, раков,

наводнения, и приписывает все это опустошениям, происшедшим на земном шаре вследствие истребления лесов, уменьшения количества птиц и (здесь уже начинается безумный бред) тому мучению, какое испытывают эти последние, перелетая через полотно железных дорог. Точно так же он восстает против излишних расходов, против разорительных займов, губительно отражающихся на благосостоянии будущих поколений, и объявляет себя борцом за них.

Вспомните, – пишет он, – что древние римляне посвящали много времени физическим упражнениям, не знали нашей теперешней роскоши, не пили кофе, – все это вредно для потомства, потому что губительно действует на человеческие зародыши! Так же дурно отражается на них злоупотребление половыми наслаждениями, браки из-за денег и ложно понимаемая благотворительность. Филантропы хлопочут о сохранении жизни несчастных младенцев, болезненных, искалеченных, тогда как, если бы их убили в детстве, они не произвели бы потомства; точно так же, если бы в больницах не тратили столько денег и трудов на лечение болезненных, слабых субъектов, а помогали бы сильным, крепким работникам, когда они захворают, то раса улучшилась бы. А воров и убийц, разве это также не больные, которых следует истребить для улучшения расы? С другой стороны, сколько зла приносит ненасытная животная жадность человека! Что только не истребляется для удовлетворения его аппетита, инстинктивно кровожадного и ненасытного, без малейшей заботы о судьбе грядущих поколений, без всякого соображения о том, что это уничтожение, эта растрата красоты и богатства природы есть преступление, ужасное преступление, состоящее в нарушении самых священных прав нашего потомства.

Уж не думают ли, чего доброго, что это варварское истребление (птиц, рыб и т.д.) можно пополнить, что этому страшному бедствию можно помочь, нарожав кучу детей, или что для возбуждения умственных способностей этих последних, для развития их добрых качеств и физической красоты не нужно ничего другого, кроме материнской нежности, истощенного развратом куртизана и так называемого здравого смысла, присущего народу?

Эта ужасная страсть плодиться, роковым образом увлекающая все народы в бездну, из которой не видно выхода, на что уже указывал Мальтус, напоминает мне того мидийского царя, что в своем безумном пристрастии к золоту просил Божество (Нуме), чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото. Просьба эта была

исполнена; но первые же восторги, при виде совершающегося на глазах царя чудесного превращения, скоро сменились у него страхом, печалью и отчаянием: так как всякое кушанье царя превращалось в золото, он увидел, что сам обрек себя на голодную смерть.

Не думаю, что бы нашлось более очевидное доказательство того, что психическая деятельность может быть в высшей степени энергична, могуча и в то же время ненормальна относительно одного какого-нибудь пункта. Кто знаком с произведениями г-жи Ройе и Конта, тот, в сущности, не найдет ничего безумного в убеждениях, исповедуемых Бозизио, кроме разве его воздержания от употребления соли, слишком легкого костюма да мрачного взгляда на железные дороги, которые кажутся ему страшным злом. Отбросив это последнее, действительно нелепое мнение, мы увидим, что обе остальные странности свои он объяснял довольно разумно: так, употребление соли он считал излишним на том основании, что дикари, которые никогда не едят ее, все-таки бывают крепки и здоровы; ходил с открытой головой отчасти из подражания римлянам, отчасти вследствие справедливого мнения, что тогда лучше сохраняются волосы, а простоты в костюме придерживался, как мы уже знаем, с целью пропаганды своих идей. "Разве публика, – сказал мне однажды этот новый Алкивиад, – стала бы останавливаться передо мной на улице и расспрашивать меня о моем учении, если бы я был одет иначе? Костюм служит рекламой моих проповедей, и я ношу его из принципа".

Часто болезненным признаком казалось мне то, что Бозизио основывает все свои выводы на газетных статьях политической содержания, дающих слишком бедный материал в научном смысле; но он оправдывался тем, что в газетах всегда затрагиваются интересы дня и что для ознакомления с настроением общества ему нельзя игнорировать их, хотя он и не сочувствует этим интересам. Всего больше сказывалась, впрочем, его ненормальность в том, что он придавал громадное значение ничтожнейшим фактам, вычитанным из какой-нибудь газетки, и тотчас же принимался обобщать их. Прочтя, например, что в Лиссабоне ребенок упал в воду или что женщина сожгла себе юбку, Бозизио немедленно приводят эти факты в доказательство вырождения расы. Что же касается его образа жизни, то он может поставить в тупик любого гигиениста, который не в состоянии будет объяснить себе, каким образом этот старик, питающийся одной только полентой без соли, сохраняет удивительную бодрость, крепость, силу и ходит по 20 миль в день. Для психолога здесь любопытно проследить влияние умопомешательства

на подъем духа, на развитие умственных способностей, иногда даже до одного уровня с гениями, хотя печальный недуг и придает всему мышлению оттенок ненормальности. И кто знает, если бы наш Бозизио был не жалкий чиновник, а студент юриспруденции или медицины, если бы он имел возможность учиться систематически, а не урывками, из него вышел бы, может быть, второй Конт или, по крайней мере, Фурье, с философскими системами которых у него много общего и от которых его отличает только одно – умопомешательство.

Не менее интересно проследить, какие разнообразные оттенки принимает сумасшествие, смотря по духу времени. Если бы Бозизио жил в средневековую эпоху, в Испании или в Мексике, то, пожалуй, из этого защитника птиц и мученика за благо потомства выработаются бы св. Игнатий Лойола или Торквемада, а свободно мыслящий позитивист обратился бы в ревностного католика, приносящего человеческие жертвы для умиловления разгневанного божества. Но Бозизио живет в Италии, в конце XIX столетия.

Этот факт наглядно объясняет нам, почему в давно прошедшие времена и у диких или у малообразованных народов появлялось столько случаев эпидемического сумасшествия и каким образом столько исторических событий могли быть вызваны безумным бредом одного или нескольких лиц, например секты анабаптистов, бичующихся, появление колдунов, возмущения тайпингов и пр. Помешательство у некоторых из них проявляется нелепыми, но в то же время грандиозными идеями и такой несокрушимой верой в них, что невежественная толпа невольно бывает увлечена ими, чему отчасти содействуют странность их одежды, необычная внешность, аскетический образ жизни, возможный только при существовании психического расстройства и всегда возбуждающий удивление толпы. Недаром же говорят, что она способна поклоняться лишь тому, чего не понимает.

Обстоятельства, по-видимому, благоприятствовали тому, чтобы из Бозизио вышел настоящий пророк-новатор: для этого у него было и сильное увлечение некоторыми идеями, и железное здоровье, и воздержанность в пище, и бескорыстие, и глубокая вера в спасительность своей миссии: ему не доставало, по счастью, только одного – благоприятного времени для того, чтобы вызвать к себе всеобщее сочувствие. В противном случае у Италии был бы свой Магомет в виде Бозизио.

Но, приняв во внимание безупречность его жизни,

образцовую аккуратность во всем, имеем ли мы право сказать, что это был обыкновенный сумасшедший? А убедившись в относительной новизне исповедуемых им идей, можем ли мы причислить его к массе описанных нами раньше бессмысленных маттоидов? Конечно нет.

Предположим, что Джузеппе Феррари, вместо того чтобы получить высшее образование, остался бы на том же низком уровне развития, как Бозизио, тогда, наверное, вместо ученого, пользующегося вполне заслуженной известностью, из него вышло бы нечто похожее на бедного защитника птиц. Это предположение тем более вероятно, что и теперь некоторые рассуждения Феррари, относительно исторической арифметики например, а также относительно королей и республик, умирающих в назначенный день, по воле автора, – могут быть отнесены лишь к области безумия. То же самое следует сказать и о Мишле по поводу его фантастической естественной истории, его академической непристойности, невероятного тщеславия и тех последних глав истории Франции, которые он ухитрился превратить в какую-то странную смесь грязных анекдотов и нелепых парадоксов. К той же категории можно отнести еще Фурье и его последователей, предсказывавших с математической точностью, что через 80 000 лет люди станут жить по 144 года и что тогда у нас будет 37 миллионов поэтов (вот несчастье-то!) да, кроме того, 37 геометров не хуже Ньютона; Лемерсье, писавшего одновременно с прекраснейшими драмами такие, в которых разговаривают муравьи, растения и даже само Средиземное море; Буркиелли, требовавшего от живописцев, чтобы они изобразили ему землетрясение в воздухе и гору, которая делает глазки колокольне, и пр.

В Италии в продолжение многих лет читает лекции в одном из больших университетов профессор, создавший в своих сочинениях особую нацию – *ханжей* (*cagoti*) и придумавший для возвращения к жизни утопленников такой прибор, что посредством его можно смело задушить даже здорового человека. Этот ученый рекомендует употребление теплых ванн в 20° и приписывает благотворное действие морской воды выдыханиям рыб. Однако же в его сочинениях, напечатанных уже вторым изданием, очень много хорошего, и ни один коллега не имел повода заподозрить его в умопомешательстве. К какой же категории можно причислить этого субъекта? Очевидно, он принадлежит к промежуточной ступени, переходной от настоящего гения к сумасшедшему и графоману, так как с этими последними сближает его бесплодность целей и спокойное, упорное исследование парадоксов. Все такие факты показывают нам, что градации, переходные ступени между умом и

сумасшествием вовсе не принадлежат к области гипотез, как думает уважаемый Ливи; эта постепенность согласуется, впрочем, и с неизменными законами природы, которая, как известно, не терпит скачков, но допускает лишь медленный, последовательный переход из одних форм в другие. Наконец, разве мы не встречаем на каждом шагу полукретинов, полурахитиков и, к сожалению, слишком часто – полуученых?

Весьма естественно поэтому прийти к заключению, что если такие переходные ступени существуют в области, так сказать, литературного сумасшествия, то они возможны и в области криминального помешательства, и что для так называемых преступников или сумасшедших необходимо допустить смягчающие обстоятельства, хотя вряд ли найдется человеческий ум, способный провести вполне точную границу между преступлением и сумасшествием.

***Х "ПРОРОКИ" И
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ. САВОНАРОЛА.
ЛАЗАРЕТТИ.***

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**

Чезаре Ломброзо

В этой главе я постараюсь разъяснить, каким образом великие успехи в области политики и религии народов нередко бывали вызываемы или, по крайней мере, намечались благодаря помешанным или полупомешанным.

Причина такого явления очевидна: только в них, в этих фанатиках, рядом с оригинальностью, составляющей неотъемлемую принадлежность как гениальных людей, так и помешанных, но в еще большей степени гениальных безумцев, экзальтация и увлечение достигают такой силы, что могут вызвать альтруизм, заставляющий человека жертвовать своими интересами и даже самой жизнью для пропаганды идей толпе, всегда враждебно относящейся ко всякой новизне и способной иногда на кровавую расправу с новаторами.

Посмотрите, – говорит Маудсли, – как подобные субъекты умеют уловить самые сокровенные оттенки идеи, оставшиеся незамеченными со стороны более мощных умов, и благодаря этому совершенно иначе осветить данное явление. И такая способность замечается у людей, не обладающих ни гением, ни талантом; они рассматривают предмет с новых, не замеченных другими точек зрения, а в практической жизни уклоняются от общепринятого образа действий. Любопытно проследить, с какой развязностью эти люди рассуждают, точно о простейших задачах механики, о самых сложных вопросах, как легко они относятся к лицам и событиям,

которые окружены ореолом почтения в глазах обыкновенных смертных; мнения у них по самой сущности своей еретические, часто изменяющиеся, и потому им ничего не стоит броситься из одной крайности в другую; но, раз усвоив какие-нибудь верования, они уже держатся за них с несокрушимым упорством, исповедуют их горячо, не обращая внимания ни на какие препятствия и не мучаясь сомнениями, которые обуревают скептические, спокойные умы.

Вот почему из этих людей так часто выходят реформаторы.

Само собою разумеется, что они не создают ничего нового, но лишь сообщают толчок движению, подготовленному временем и обстоятельствами; одержимые положительной страстью ко всякой новизне, ко всему оригинальному, они почти всегда вдохновляются только что появившимся открытием, нововведением и на нем уже строят свои выводы относительно будущего. Так, Шопенгауэр, живший в эпоху, когда пессимизм, с примесью мистицизма и восторженности, начал входить в моду, по мнению Рибо, только соединил в стройную философскую систему идеи своего времени.

Точно так же Лютер лишь резюмировал взгляды своих предшественников и современников, доказательством чего служат проповеди Савонаролы.

С другой стороны, не следует забывать, что, когда новое учение слишком резко противоречит вкоренившимся в народе убеждениям или слишком уж нелепо само по себе, оно исчезает вместе со своим провозвестником и нередко становится причиной его гибели.

Маудсли говорит в своей книге "Об ответственности" ("Responsibility"), что так как помешанный не разделяет мнений большинства, то он уже по самой сущности своей является реформатором; но когда его убеждения проникают в массу, он опять остается одиноким с немногочисленным кружком лиц, ему преданных.

В Индии явилось теперь под влиянием Кешаба среди самих браминов новое вероучение, основанное на чисто современных рационализме и скептицизме, из чего следует заключить, что безумие Кешаба значительно опередило свое время, так как успех подобной религии был бы невозможен даже среди европейского, гораздо более свободно мыслящего общества. Очевидно, что в данном случае новые идеи явились под влиянием

психоза, как у того крестьянина, продавца губок, о котором я говорил раньше, и вообще у многих сумасшедших "пророков", почему они и называют себя "вдохновенными".

То же самое замечается и относительно политических идей: нормальное, прочное развитие исторической жизни народов совершается медленно при посредстве целого ряда последовательных событий; но гениальные безумцы ускоряют ход этого развития, опережают на много лет свою эпоху, каким-то чутьем угадывают переходные ступени, неуловимые для обыкновенных людей, и, не колеблясь, не думая о своих личных интересах, бросаются в борьбу с настоящим, выступают с горячей проповедью новых идей, хотя бы совершенно неприменимых на практике в данное время. Они уподобляются в этом случае тем насекомым, которые, перелетая с цветка на цветок, переносят цветочную пыльцу и тем содействуют оплодотворению растений.

Соедините же теперь непоколебимую, фанатическую преданность своим убеждениям, на какую способны помешанные, с прозорливостью и расчетливостью гения – и вы поймете, что такая сила во всякую эпоху может увлечь за собою невежественную толпу, которую, конечно, должны поражать подобные феномены, изумительные, впрочем, даже в глазах ученых или посторонних наблюдателей. К этому еще следует прибавить, что помешанные имели всегда, начиная с древнейших времен, громадное значение в глазах простого народа.

У дикарей, например, или у древних полуварварских народов умалишенный не только не считался больным, но внушал к себе уважение; толпа трепетала перед ним, обожала его, и он нередко делался безграничным властелином над нею.* В Индии, например, сами брамины покровительствуют некоторым сумасшедшим и советуются с ними. Даже теперь там существует 43 секты, приверженцы которых, несомненно, поврежденные люди, так как они *ad maiorem dei gloriam* проделывают различные несообразные вещи: пьют мочу, ходят по острым камням, целые годы остаются неподвижными на открытом воздухе и вообще всячески истязают себя.

* В старину на Руси точно так же смотрели на юродивых, эпилептиков, истеричных и пр., считая их пророками, вдохновенными самим Богом людьми и нередко даже

святыми.

В Египте мы встречаемся с подобными же фактами. Ораполло говорит, что там существует даже особый род умопомешательства (mania) и что меланхолия особенно распространена среди лиц, занимающихся вскрытием и бальзамированием собак. Исследуя мумии, Прунер нашел такие аномалии в строении их черепа, которые могут служить несомненными признаками помешательства. Впрочем, оно и в настоящее время настолько распространено среди смешанного, полудикого населения Египта, что Прунер насчитал в больнице Каира 75 человек сумасшедших на 300-тысячное население этого города, – цифра громадная, если принять в соображение, что сюда не вошли так называемые "святые" (santani), или религиозные мономаньяки, и совершенно помешанные, которые не только живут на свободе, но даже служат предметом поклонения для народа и образцом для подражания. Кроме того, в Египте, по словам того же автора, часто встречается самая упорная форма эпилепсии, а также гиперемия мозга, вызываемая климатом, экстазами, религиозной пляской и, в особенности, страхом. Последнее чувство часто принимает болезненный характер в этих до крайности раздражительных субъектах и требует специального лечения.

Существование эпидемического сумасшествия у древних евреев и собратьев их – финикиян, карфагенян и пр. – доказывается библейской историей и самым языком, в котором одни и те же слова служат для обозначения пророка, сумасшедшего и преступника. В Библии рассказывается, что Давид, опасаясь быть убитым, притворялся сумасшедшим, выпачкал себе бороду и поставил над дверью своего дома особый знак, что заставило царя Ахиза сказать: "Разве не достаточно у меня сумасшедших и без Давида?" Этот факт указывает на частое повторение случаев помешательства и на то еще, что помешанные были неприкосновенны, вероятно, вследствие предрассудка, перешедшего к евреям еще от арабов, у которых пророк и сумасшедший называются одинаково – "нави".

В Алжире, по словам Бербрюгера, весьма многочисленны индивидуумы, впадающие при известных условиях в состояние, очень напоминающее конвульсионеров С.Медардо. Чтобы убедиться, каким уважением пользуются сумасшедшие в Марокко и у соседних кочующих племен, следует прочесть книгу Думмонд-Гея, который, между прочим, говорит: "По мнению берберов,

лишь тело сумасшедших находится на земле, разум же их удерживается божеством на небе и возвращается к ним только в тех случаях, когда они должны говорить, вследствие чего каждое слово, ими сказанное, считается за откровение". Сам автор книги и английский консул едва не были убиты одним из этих "святых" особого рода, бегающих всюду нагими, но нередко с оружием в руках и готовых на самое грубое насилие над тем, кто вздумал бы удерживать их от разных диких, возмутительных поступков.

Пананти рассказывает, что в Бербере хозяева караванов советуются с помешанными "святыми" (santoni-matti), произволу которых нет границ; так, один из них душил богомольцев, приходивших в храм, а другой в общественных банях изнасиловал жену туземца, и подруги поздравили ее по этому поводу.

Турки относятся к сумасшедшим с таким же уважением, как и к дервишам, считая их наиболее близкими к божеству людьми, вследствие чего им открыт доступ даже в дома министров. Дервиши представляют немало сходства с помешанными, у каждой секты их есть своя особая молитва и соответствующая пляска или, скорее, своеобразные конвульсии: молящиеся то качаются из стороны в сторону, то спереди назад, то кружатся на одном месте, ускоряя эти движения по мере того, как возрастает молитвенный экстаз. Особенно славятся своею святостью дервиши, называемые куфаями: они лишают себя сна или спят, опустив ноги в воду, не принимают пищи по целым неделям и пр. Молитва их начинается тем, что они становятся на одну ногу, а другою описывают круги, держа друг друга за руки и напевая вполголоса, затем движение усиливается, пение становится громче, они закидывают руки на плечи один другому и кружатся до тех пор, пока не упадут на пол в священных конвульсиях, задыхающиеся, бледные, с выпученными глазами и покрытые потом. Под влиянием этой религиозной мании дервиши делают себе прижигания раскаленным железом, а где нет огня, наносят себе раны саблями и ножами.

В Батаки, по словам Иды Пфейфер, человеку, одержимому злым духом, оказывают величайшее почтение: каждое слово его считается пророчеством, а желание – законом.

На Мадагаскаре сумасшедшие служат предметом поклонения. В 1863 году среди тамошнего населения появилось умопомешательство особого рода: больные

дрожили всем телом, били каждого, кто к ним приближался, и подвергались галлюцинациям, причем постоянно видели умершую королеву выходящей из могилы. Так как король приказал не трогать их, то случалось, что солдаты били своих офицеров, а подчиненные – начальников. Мания эта продолжалась около двух месяцев.

В Китае единственной представительницей массового умопомешательства служит одна только секта религиозных фанатиков – явление необычное в этой скептической нации. Кроме того, последователи Тао почитают беснующихся, помешанных и тщательно записывают их изречения, думая, что они служат выразителями мыслей беса относительно будущего.

В Океании, на острове Тайги, существуют также свои пророки, т.е. те же сумасшедшие, находящиеся, по мнению народа, под особым покровительством божественного духа.

Об Америке Скулькрафт говорит: "Уважение к сумасшедшим составляет характерную особенность в обычаях индейских племен Севера, а также Орегона, где живут наиболее дикие из туземцев Америки. Среди одного из этих племен я видел женщину, по всем признакам сумасшедшую, которая пела каким-то странным образом и раздавала окружающим бывшие у ней вещицы, а если кто отказывался взять их, то она с досады резала себе тело ножом. Индейцы окружали ее величайшим почтением".

У патагонцев есть колдуны и знахарки, предсказывающие будущее во время припадков конвульсий. В жрецы у них избираются преимущественно женщины, если же будет избран мужчина, то он обязан носить женское платье, кроме того, избираемые должны с детства отличаться особыми способностями. Какого рода эти способности, видно из того факта, что эпилептики пользуются *неотъемлемым правом на избрание в должность жреца*, как обладающие божественным даром.

В Перу кроме собственно духовенства есть еще пророки, изрекающие разные "истины" во время припадков страшных судорог и конвульсий. Эти люди в большом почтении у простого народа, но высший класс относится к ним с презрением.

Такое сходство во взглядах на помешательство в разных странах должно обуславливаться общими причинами, и,

как мне кажется, причины эти следующие:

1) Располагая лишь небольшим числом привычных ощущений, простой народ с изумлением относится ко всякому новому явлению и готов поклоняться всему необыкновенному; обожание является у него, можно сказать, необходимым рефлексом, вследствие каждого слишком сильного нового впечатления. Так, житель Перу называл "божественными" – жертвенное животное, храм, высокую башню, большую гору, кровожадного зверя, человека с 7 пальцами на руке, блестящий камень и пр. Точно так же на языке семитов слово эль ("божественный") служит синонимом величия, света, новизны и одинаково прилагается к сильному человеку, к большому дереву, горе или животному. Наконец, что удивительного, если дикарь приходит в изумление при виде кого-нибудь из своих собратьев, вдруг совершенно изменившегося под влиянием помешательства, жестикулирующего, возвышающего голос, говорящего о самых необыкновенных вещах, когда мы даже теперь, вооруженные наукой, зачастую не можем объяснить причины подобных явлений

2) Некоторые из помешанных обладают необыкновенной физической силой, а народ уважает силу.

3) Нередко они обнаруживают поразительную нечувствительность к холоду, голоду и ко всевозможным физическим страданиям.

4) Некоторые из них, одержимые религиозным или горделивым помешательством, сами выдают себя за вдохновенных богами, за властелинов, повелителей народа и этим заранее предрасполагают его в свою пользу.

5) Но самая главная причина заключается в том, что многие из помешанных нередко обнаруживали ум и волю, значительно превосходившие общий уровень развития этих качеств у массы остальных сограждан, поглощенных заботами об удовлетворении своих материальных потребностей. Далее известно, что под влиянием страсти сила и напряжение ума заметно возрастают, в некоторых же формах умопомешательства, которое есть не что иное, как болезненная экзальтация, они, можно сказать, увеличиваются в десятки раз. Глубокая вера этих людей в действительность своих галлюцинаций, мощное увлекательное красноречие, с каким они высказывали свои убеждения, контраст между их жалким безвестным прошлым и величием их настоящего положения

естественно придавали подобным сумасшедшим громадное значение в глазах толпы и возвышали их над общим уровнем здравомыслящих, но дюжинных, обыкновенных людей. Примером такого обаяния могут служить Лазаретти, Брианд, Лойола, Малинас, Жанна д'Арк, анабаптисты и пр. Во время эпидемии пророчества, бывшей в Севеннах и затем недавно еще появлявшейся в Стокгольме, личности совершенно необразованные, служанки, дети, под влиянием охватившего их увлечения, произносили проповеди, нередко отличавшиеся живостью и красноречием.

Одна служанка употребила, например, такого рода метафору: "подкладывая дрова в огонь, можно ли не вспоминать об аде? Но там будет гораздо больше дров и гораздо больше огня". Другая пророчица, кухарка, говорила: "Бог проклял этот гнусный напиток (водку)... Грешников-пьяниц ожидает соответствующее их вине наказание – в аду будут течь реки этого проклятого напитка, и в них сгорят все, кто его употреблял". Девочка 4 лет высказывала такие мысли: "Богу небесному угодно призвать грешников к покаянию... Идите на Голгофу – там вы найдете праздничные одежды" (Иделер. "Опыт теории сумасшествия", 1842).

6) У варварских народов помешательство часто принимает эпидемический характер, например, у диких негритянских племен Жуйды (Juidah). У абипонцев и абиссинцев существует эпидемия, имеющая большое сходство с итальянской тарантеллой и называемая *tigretier*. Относительно Греции рассказывают, что там, у абдеританцев, появилось эпидемическое помешательство, вызванное представлением одной трагедии; точно так же повальным помешательством эротико-религиозного характера были заражены те поклонники Вакха, которые бегали по улицам Афин и Рима в каком-то священном экстазе, томясь жаждой крови и наслаждений. Но особенно часто такие случаи бывали в средние века, когда эпидемии психического расстройства постоянно сменяли одна другую. Тогда повсеместно распространялись самые причудливые формы умопомешательства, захватывая с неудержимой силой, подобно заразительным болезням, целые области и народы, поражая не только детей, стариков и вообще легковверных людей, но даже самых отъявленных скептиков. Демономания, с большей или меньшей примесью нимфомании, вызывала появление то ведьм, то бесноватых, смотря по тому, относились ли ее жертвы к своей болезни спокойно, даже с гордостью, или же, напротив, приходили от нее в отчаяние. Она проявлялась

галлюцинациями самого непристойного содержания, всего чаще по поводу сношений с нечистой силой или с животными, в которых поселялись злые духи, а также непобедимым отвращением ко всем священным предметам. Иногда такие субъекты выказывали необыкновенное развитие физических или умственных сил, так что могли объясняться на иностранных, едва знакомых им языках и связно, подробно передавать самые отдаленные события из своей жизни, причем у них появлялись эротические экстазы и местные анестезии. Нередко также они обнаруживали наклонность кусаться, стремление к убийству и самоубийству, отвращение к разным вещам и всегда отличались непоколебимой верой в действительность своих галлюцинаций.

Когда в Севеннах появилась страсть к пророчеству, зараза распространилась на женщин, даже на девочек, причем больные видели знамения в форме и расположении облаков, распределении солнечного света и пр. Тысячи женщин упорно продолжали распевать псалмы и пророчествовать, хотя их арестовывали массами. Целые города, по свидетельству Виллани, казалось, были отданы во власть самого сатаны. В 1374 году в Аквисграна от эпилептиков и хореиков распространилась во всем населении мания плясать на улицах с криками: "Here S.Iohan so so vrisch und vord", причем даже беременные женщины и дряхлые старики принимали участие в этой пляске. Она сопровождалась религиозными галлюцинациями: пляшущие видели отверстым небо и в глубине его – блестящий сонм святых. У некоторых являлось при этом отвращение к красному цвету, к остроконечным вещам и т.п. Мания распространилась до Кельна, где ею заразились 500 человек, затем перешла в Мец, Страсбург и всюду держалась очень упорно. В следующие годы она стала появляться периодически, так что в день св. Вита, избранного больными своим патроном, массы народа собирались у его гробницы. Еще в 1623 году к ней продолжали приходить на поклонение, и некоторые делали это до 32 раз (Hecker. "Tanzmanie", 1834). Чрезвычайный интерес представляет эпидемическая мания к странствованиям, появившаяся в средние века среди детей. В 1212 году, когда все христиане горевали о потере Святой Земли, маленький пастух из Клое (Вандом), вообразив себя избранником Божиим, начал уверять всех, что под видом незнакомца к нему явился сам Бог и, приняв от него хлеб, поручил отнести письмо к королю. Тогда все сыновья окрестных пастухов сбежались к маленькому пророку, а вслед за тем до 30 тысяч человек взрослых мужчин сделались его поклонниками и

последователями. Вскоре начали появляться и другие восьми-девятилетние пророки, которые произносили проповеди, творили чудеса и приводили целые отряды доходивших до исступления детей к новоявленному святому из Клое. Затем вся армия направилась в Марсель, где море должно было расступиться, чтобы странники, не замочив ног, могли дойти до Иерусалима. Ни королевское запрещение, ни родительская власть, ни неудобства и лишения всякого рода – ничто не могло удержать маленьких пилигримов. По прибытии их в Марсель двое мошенников нагрузили семь больших кораблей несчастными детьми и увезли их на Восток с целью продать там в рабство.

Одной из причин, обуславливавших эпидемический характер мании, было то почтение, которым народ окружал страдавших ею лиц, являвшихся как бы образцами для подражания, но главную роль тут играли невежество и замкнутость первобытных обществ. С развитием цивилизации, при большой легкости сношений между людьми, индивидуальные особенности обозначаются резче, личность обособляется вследствие эгоизма, недоверия, самолюбия, соперничества, ощущения становятся разнообразнее, представления многочисленнее, и тогда уже народные массы гораздо труднее поддаются какому-нибудь общему движению. Понятно, что регрессивные изменения умственных способностей совершаются у дикаря гораздо легче, чем у цивилизованного человека: первому несравненно труднее сдерживать свои страсти и отличать иллюзии от действительности, воображаемое от желательного, возможное от сверхъестественного, нежели второму. Действительно, хотя за последнее время и возникали эпидемические формы помешательства в цивилизованных странах, но лишь среди самых невежественных классов, в уединенных или окруженных горами местностях, например в Корнваллисе, Уэльсе, Норвегии, Бретани, в отдаленнейших селениях Америки и в гористых частях Италии. Так, в Монте-Амиата, где позднее имел успех Лазаретти, по свидетельству местной хроники, пользовался репутацией святого некто Аудиберти, очевидно, помешанный, отличавшийся крайней нечистоплотностью. В той же местности был некогда известен Бартоломео Брандано, почти столетний старик, впавший в религиозное помешательство, вероятно, под влиянием скорби о бедствиях Италии, которая страдала тогда от нашествия испанских войск. Вообразив себя Иоанном Крестителем, он стал подражать ему в образе жизни, одевался в короткую рубашку из грубой холстины и, босой, с крестом в руках и с черепом под мышкой,

странствовал по окрестностям Сиены, поучал народ, пророчествовал, совершал чудеса и везде приобретал последователей.

Затем он отправился в Рим и на площади Св. Петра проповедовал против Папы и кардиналов. Однако Климент VII, вместо того чтобы повесить его за такую дерзость, отправил в тюрьму Тординона, куда обыкновенно запирали сумасшедших, если не считали нужным сжигать их живыми как одержимых бесом. Выйдя из тюрьмы, Брандано несколько раз оскорблял капитана испанской армии Мендоцца, который, не зная наверное, что это за человек – святой, пророк или помешанный, – отправил его в каторжную тюрьму Таламоне, предоставив решение этого вопроса заведовавшему ею чиновнику. Но тот отказался поместить у себя несчастного старика на том основании, что если он святой, то святых не отправляют на каторгу; если пророк, то пророков не наказывают; а если сумасшедший, то сумасшедшие не подлежат общим законам, – так что Брандано был вскоре выпущен на свободу. Сказав несколько проповедей каторжникам, он ушел и продолжал пророчествовать и чудить по-прежнему. Даже недавно в отдаленных провинциях Пьемонта появились двое святых, один из которых пробыл 20 лет на каторге, а другой в короткое время успел собрать около себя более 300 человек последователей. Кроме того, в самой гористой части Черногории эпидемически распространилось в 1881 году нелепое убеждение, что там появляется сам Иисус Христос, вследствие чего в занесенных снегом горах собралось более 3000 человек окрестных жителей. Около того же времени в Абруццах был арестован бродяга, выдававший себя за Мессию.

Возникшая в Норвегии в 1842 году эпидемия пророчества так и называлась "болезнью служанок" (Magdkrankheit), потому что ею заболевали преимущественно служанки, страдавшие истерией, и даже девочки. Модное увлечение последнего времени магнетизмом и столоверчением, дошедшее до такой нелепости, как говорящие столы, хотя и распространилось довольно широко, но до полного умственного расстройства оно довело лишь немногих, и болезнь эта имеет спорадический характер. Вообще, с развитием цивилизации начинают исчезать предрассудки, а они-то, как известно, всего более и благоприятствуют распространению душевных болезней. В Стокгольме, например, мания пророчества с особенною силою проявлялась в тех местностях, где мы уже заранее были подготовлены к ней проповедями и обрядами

религиозного характера, что всегда вызывало увеличение числа помешанных.

Этих фактов совершенно достаточно, чтобы объяснить себе причину успеха пророков древнего и нового времени, а также их влияния, отражающегося на историческом ходе развития народов. Можно указать немало примеров того, что народ принимал за пророков несчастных больных, страдавших горделивым помешательством или теоманией, а их галлюцинации – за откровение свыше. Таким путем возникли новые секты, усилившие и без того ожесточенные религиозные распри со всеми их печальными последствиями, распри, омрачавшие весь период средних веков и не прекратившиеся совершенно даже и в наше время. Например, некто Пикар вообразил себя Сыном Божиим, посланным на землю научить людей, чтоб они не носили одежды и имели бы общих жен; ему верят, повинуются, – и вот является секта адамитов. Точно так же возникло учение анабаптистов. Последователям его в Мюнстере, в Аппенцеле, в Польше вдруг начинают представляться борющиеся на небе ангелы и огненные драконы; они получают свыше повеление убивать своих братьев и нежно любимых детей (мания убийства), воздерживаться от пищи по целым месяцам или поражать войска своим дыханием и взглядом. Позднее подобным же образом произошли секты кальвинистов и янсенистов, из-за которых было пролито столько крови. О колдунах, ведьмах, одержимых бесами и говорить нечего – появление их понятно само собою.

Списки сумасшедших писателей и пророков (illuminati), приведенные у Дельпьера, Филомнеста, Аделунга, вызывают невольную улыбку сострадания над человеческим безумием, когда припомнишь, что у большинства этих душевнобольных были многочисленные последователи. В половине XVIII века является, например, некто Клейнов, выдающий себя за короля Сиона; в приверженцах у него, конечно, нет недостатка, и они воображают себя его детьми. Затем, что может быть нелепее учения Сведенборга, который уверял, что ему случалось по целым дням, даже по целым месяцам беседовать с духами, живущими на различных планетах, и видеть их обитателей, причем он рассказывал, что жители Юпитера ходят частью на руках, частью на ногах, жители Марса говорят глазами, а жители Луны – животом. Тем не менее Сведенборг еще недавно имел массу поклонников, разделявших его мнения.

В 1655 году Ване, написавший туманное сочинение под

заглавием "Тайна и могущество Божества, блистающего в мире живом", собрал вокруг себя так называемых искателей (шекеры), которые разыскивали всюду и надеялись найти сверхъестественные явления, проповедуя милленизм. Он был обезглавлен.

В 1792 году Ирвинг, благодаря божественному откровению получивший способность понимать незнакомые ему языки, основал секту ирвингистов.

Гумфри или, скорее, Нойес (Noyes) из Соединенных Штатов, вообразив себя пророком, положил начало секте перфекционистов, всего более распространенной теперь в штате Онеида. Последователи ее считают кражей не только собственность, как это доказывал Прудон, но даже и брак; вместе с тем они отрицают гражданские законы и приписывают все самые обыденные поступки свои божественному вдохновению.

Деды наши, вероятно, еще помнят, каким громадным значением пользовалась в Европе Юлия Крюднер, эта, в полном смысле слова, пророчица монархизма, страдавшая истерией. Эротические наклонности были в ней настолько неудержимы, что она публично становилась на колени перед одним тенором; потом любовные неудачи заставили ее обратиться к религии. Она вообразила себя избранной Богом для спасения человечества и с пламенным красноречием принялась вербовать себе сторонников. В Базеле Крюднер взволновала весь город проповедью о скором пришествии нового Мессии; 20 тысяч человек собралось на ее призыв, так что сенат в испуге поспешил изгнать ее из города; тогда она переехала в Баден, где 4-тысячная толпа народа уже дожидалась ее на площади, чтобы поцеловать руку вдохновенной пророчицы или край ее платья; одна дама предложила ей 10 тысяч флоринов на постройку церкви, но Крюднер раздала деньги бедным, "царство которых приближается". После того как ее выслали из Бадена, она начала странствовать по Швейцарии, всюду сопровождаемая толпой народа. Вследствие преследований полиции Крюднер из городов направилась в деревни, где ее встречали восторженно, осыпая благословениями. Поступки свои она приписывала влиянию ангелов; Наполеона, отнесшегося к ней с презрением, Крюднер называла темным ангелом, а императора Александра – светлым и сумела даже сделаться советницей этого последнего, так что Священный союз был заключен будто бы исключительно под ее влиянием.

Лойола занялся религиозными вопросами после того, как был ранен; затем, под страшным впечатлением вспыхнувшего в Вюртемберге восстания, задумал основать принесшее столько вреда обществу иезуитов, причем утверждал, что якобы Богородица лично помогала ему в осуществлении его проектов и он слышал с неба ободрявшие его голоса.

Лютер приписывал свои физические страдания и сновидения дьявольскому наваждению, хотя все описанные им недуги доказывают, что они были вызваны нервным расстройством. Например, он нередко жаловался на ужасное удушье, причиняемое ему разгневанным божеством. В 27 лет с ним начали делаться головокружения, головные боли, шум в ушах, что повторялось потом у него довольно часто, особенно во время путешествия в Рим.

Кроме того, Лютер страдал галлюцинациями всегда одного и того же содержания, что, может быть, обуславливалось постоянным уединением. Вот как описывает он их. "Когда в 1521 году, – пишет он, – я находился на своем Патмосе – в комнате, куда никто не входил, за исключением двоих слуг, приносивших мне пищу, то услышал однажды вечером, лежа в постели, что орехи начали шевелиться в мешке и выскакивать из него, стучаясь в потолок около моей кровати. Едва я заснул, как услышал страшный шум и, вскочив, закричал: "Кто ты?" и пр.

В Вюртемберге, как только Лютер, объясняя в церкви Послание к римлянам, дошел до слов: "праведник живет истинной верой", он вдруг почувствовал, что это изречение проникло ему в душу, и услышал, что кто-то несколько раз повторил эту фразу у него над ухом. То же изречение припомнилось ему по дороге в Рим в 1570 году, а когда он поднимался по лестнице в папский дворец, кто-то крикнул ему эти слова громовым голосом. Далее он сознается, что нередко просыпался в полночь и вел диспуты относительно обедни с сатаной, некоторыми аргументами которого и воспользовался потом, когда доказывал нелепость обрядов при католическом богослужении.

Чудеса геройства, совершенные Жанной д'Арк, были вызваны галлюцинациями, которыми она страдала с 12-летнего возраста.

Уже в недавнее время основатель секты квакеров Георг Фоке с крайним увлечением пропагандировал свое

учение, именно под влиянием галлюцинаций. Видения заставили его покинуть семью; он облекся в кожаную одежду, стал жить в дуплах деревьев и здесь получил откровение, что все христиане, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали, должны считаться сынами Божиими. Сначала ему никто не хотел верить, но тогда он услышал голос, говоривший: "Иисус Христос тебя понимает". После этого Фокс пробыл две недели как бы в летаргическом сне, причем тело его оставалось неподвижным, точно у мертвого, а мозг продолжал работать. Подобные же припадки повторялись и с его последователями, людьми честными, но болезненно настроенными, вследствие чего им являлись видения и они начинали пророчествовать.

Еще более подходящий для нашей цели пример представляет Савонарола, хотя, говоря это, я рискую оскорбить национальное чувство итальянцев. Под впечатлением одного видения он еще смолodu начал считать себя избранником, ниспосланным на землю самим Иисусом Христом для возрождения погрязшего в пороках населения Флоренции. Затем, разговаривая однажды с каким-то монахом, Савонарола увидел в разверстых небесах картину бедствий, испытываемых церковью, и услышал голос, повелевающий ему возвестить об этом народу.

Ему постоянно представлялись видения из Апокалипсиса, а также из событий ветхозаветной истории. В 1491 году он решил было не касаться политики в своих проповедях, но во время молитвы услышал слова: "Глупец, разве ты не видишь, что сам Бог повелевает тебе идти по прежней дороге", и, конечно, изменил свое намерение.

В 1492 году с Савонаролой случился припадок галлюцинации во время самого произнесения проповеди – он увидел меч с надписью: "Gladius Domini super terram" ("Меч Бога на земле"), который вдруг обратился клинком вниз, причем небо омрачилось, с него посыпались мечи, стрелы, искры, и земля показалась ему обреченной на жертву голода и чумы. С тех пор он начал предсказывать появление этого последнего бича, и через несколько времени пророчество его действительно исполнилось.

Во время одного из своих видений Савонарола пробыл долго в раю, где беседовал со многими святыми и с Богородицей, престол которой он описал впоследствии чрезвычайно подробно, не забыв даже упомянуть, сколько именно драгоценных камней украшали его.

Подобно Лазаретти, он постоянно размышлял о своих видениях, стараясь определить, какие из них были навеяны ангелами и какие – демонами. Иногда у него являлось сомнение в действительности этих видений, но он убеждал себя, что это невозможно, и, как все помешанные, часто впадал в противоречия, то называя себя боговдохновенным, то отрицая в себе пророческий дар, ниспосланный свыше. "Я не пророк и не сын пророка, – сказал он однажды. – Это ваши грехи насильно заставили меня сделаться пророком".

Виллари, биограф Савонаролы, в недоумении останавливается над решением вопроса – каким образом этот величайший из философов, давший Флоренции совершеннейшую форму республиканского управления, властвовавший над целым народом, потрясавший весь мир своим красноречием, каким образом такой человек мог гордиться тем, что слышит какие-то голоса и видит знамения вроде меча Господня?!

Задаваясь этим вопросом, Виллари приходит к справедливому заключению, что самая бессодержательность этих видений и служит доказательством, что Савонарола находился под влиянием галлюцинаций, не говоря уже о том, что, постоянно выставляя их на вид, он вредил не только себе, но и успеху своего дела. Какую пользу могло принести ему, в смысле популярности в народе, составление трактатов о видениях, разговоры по поводу их с матерью или рассуждения, написанные на полях своей Библии? Все, что поклонники его желали бы скрыть, что не позволила бы предать гласности самая дюжинная заботливость о своей славе, – все это он печатал и распространял в публике. Но дело в том, что, по его собственному признанию, его пожирал какой-то внутренний огонь, заставлявший говорить и писать иногда против воли. В этой-то неудержимой силе экстаза, доходившего до бреда, и заключалась причина того могучего действия, какое производил Савонарола на своих слушателей. Читая теперь текст его проповедей, мы не можем составить себе даже приблизительного понятия о том потрясающем впечатлении, какое они производили на толпу. Восторженное безумие этого "пророка" не только фанатизировало ее, но даже прямо заразительно действовало на некоторых субъектов: они тоже впадали в умопомешательство и, подобно последователям Лазаретти, из невежественных, полуграмотных простолюдинов вдруг превращались в проповедников или писателей.

Если бы читатели спросили нас, часто ли подобные типы встречаются в наших домах умалишенных, то мы ответили бы им, что в Италии не найдется, быть может, ни одного психиатрического госпиталя, в котором такого рода больные не составляли бы обычного явления.

Когда я заведовал домом умалишенных в Пезаро, у меня на руках было трое больных этого типа: один из них называл себя Папой Анастасием; он назначал кардиналов, референдариев и пр. и постоянно издавал декреты, в которых не было ничего нелепого, кроме подписи. Другой, бывший прежде военным (папским сержантом), сочинил новые заповеди, чрезвычайно курьезные и даже странные. Я привожу здесь четыре из них, чтобы не сведущие в психиатрии лица могли убедиться, до какой степени слог их напоминает сочинения Лазаретти, Пассананте и Манжионе: тут мы встречаем те же повторения, то же обилие созвучий и такое же библейское построение периодов. В Ломбардской больнице Пап и пророков было мало – помню только одного алкоголика, собиравшегося устроить крестовый поход против синдика в Вижевано, но в Милане всем и каждому известен оригинальный пророк механики и социализма Чианкеттини, редактор "Travaso".

Особенно любопытный и наиболее достоверный пример такого рода – так как он произошел недавно у всех на глазах – представляет собой Давид Лазаретти.

Д.Лазаретти родился в Арчидоссо в 1834 году; отец его был ломовой извозчик, кажется, пьяница, но чрезвычайно крепкого телосложения; в родстве у него были самоубийцы и сумасшедшие, между прочим, один религиозный маньяк, воображавший себя предвечным Отцом; шестеро братьев отличались силой, громадным ростом, живостью ума и необыкновенной памятью; один из них, не умевший ни читать, ни писать, помнил до 200 счетов своих с кредиторами. Давид выдавался из всех братьев высоким ростом, прекрасным телосложением и недюжинными умственными способностями; череп у него был очень большой, удлиненной формы, а глаза до того блестящие, что некоторые находили в них что-то чарующее, хотя большинству они казались демоническими, безумными. Исследование показало, что у него была *hipospadia*, он смолodu страдал мужским бессилием. Ненормальность эта имеет значение, так как Морель и Легран де-Соль нередко встречали ее у маттоидов.

С детства в характере мальчика обнаружилились

противоречия и крайности, столь обычные у кандидатов на занятие койки в больнице для умалишенных. Так, еще ребенком он задумал пойти в монахи, потом, занявшись ремеслом отца, начал вести разгульную жизнь и злоупотреблять спиртными напитками. В то же время он усердно принялся за чтение, причем выбор книг был чрезвычайно странный для человека его среды – Данте и преимущественно Тассо. В 15 лет Давида уже прозвали "mille idee" (тысяча мыслей) за то, что он сочинял своеобразные песенки, хотя никогда не мог усвоить грамматических правил. Отчаянный богохульник и забияка, юноша вскоре сделался грозой для всех окружающих; его до такой степени боялись, что однажды на каком-то празднике ему удалось, только в компании с братьями, без всякого оружия, обратить в бегство все население Кастель-дель-Пиано. И, однако же, он легко увлекался всем возвышенным и благородным – все равно, был ли это разговор, стихотворение, проповедь или театральное представление. Христос и Магомет внушали ему такое глубокое уважение, что он считал их величайшими людьми из всех, когда-либо живших на земле. По собственным признаниям Лазаретти, он еще с 14 лет страдал теми разнообразными галлюцинациями, которые имели для него роковое значение впоследствии. В молодых годах он увлекся одной еврейкой из Питильяно, вероятно потому, что она горячо сочувствовала его религиозным убеждениям, и в то же время он говорил, что питает отвращение к трем вещам – к женщинам, церкви и танцам.

В 1859 году 25-летний Лазаретти поступил волонтером в кавалерийский полк и в 1860 году принимал участие в экспедиции генерала Чиальдини, но скорее в качестве служителя, чем в звании солдата. Перед выступлением в поход он написал патриотический гимн, который отослали к Брофферии, и тот был поражен оригинальностью выраженных в нем идей и красотой отдельных стихов, что составляло поразительный контраст с безграмотностью и грубым стилем всего гимна.

Но через несколько времени он опять принялся за свое ремесло извозчика, а вместе с тем вернулся к оргиям и кутежам. Тогда он сошелся с женой, хотя обвенчался с ней еще за три года перед тем. Он питал к ней такую поэтическую привязанность, что даже выражал ее в нежных стихотворениях. В этот же период самолюбие до того отуманило ему голову, что он, не получивший никакого образования, начал снова писать стихи и

трагедии, выходившие у него чрезвычайно комичными.

Мало-помалу чудачества Лазаретти приняли иное направление: в 1867 году, когда ему было уже 33 года, вследствие ли пьянства или под влиянием политических волнений, у него сильнее, чем когда-нибудь, возобновились религиозные галлюцинации, которыми он страдал в 1848 году. В один прекрасный день он исчез куда-то; оказалось, что, как и тогда, ему явилась Божия Матерь и повелела отправиться в Рим, объявить Папе о своей божественной миссии. Тот сначала не хотел принять Лазаретти, но потом обласкал его, хотя при этом, говорят, и посоветовал ему хороший душ. Затем, тоже по указанию Богоматери, он пошел к некоему пустыннику, Игнатию Микусу, который три месяца продержал его у себя в пещере и занимался с ним изучением теологии. Предполагают, что он же помог Лазаретти вырезать на лбу у себя знак, который тот выдавал потом за печать, положенную рукою св. Петра, и показывал только истинно верующим, от непосвященных же скрывал ее под прядью волос. При медицинском осмотре оказалось, что она имела вид неправильного параллелограмма, в верхней части которого были крестообразно расположены 13 точек. Этому знаку (см. ниже), а также двум другим, на плече и на внутренней стороне ноги, Лазаретти, как подобает помешанному, придавал таинственное, чудодейственное значение и считал всю эту татуировку доказательством особого благоволения Божия (печатью договора с Богом).



С тех пор Лазаретти совершенно переменялся, как это обыкновенно случается с помешанными*: из драчуна, богохульника и кутилы он превратился в тихого, скромного пустынника и жил некоторое время в горах, почти под открытым небом, питаясь иногда одним хлебом с водой или же травой, приправленной солью и уксусом, полентой, постной похлебкой, чесноком с хлебом и пр. Находясь на острове Монтекресто, в 1870 году, он более месяца пробавлялся шестью хлебами, с добавлением зелени, а живя во французском монастыре, съедал только две картофелины в день. Самые сочинения его из шутовских и неуклюжих сделались вполне порядочными, иногда изящными – что должно было особенно сильно поразить и не одних только простолюдинов. Кроме того, он стал писать более толково, употребляя сильные образные выражения, и с таким религиозным чувством, какое можно было встретить разве лишь у первых

христиан.

* В Пезаро у меня было несколько душевнобольных монахинь из римских монастырей. Я не встречал никогда более отвратительных богохульниц, чем они. Мне случалось лечить также евреев, бывших раньше чрезвычайно религиозными; первым симптомом помешательства являлось у них желание креститься, но по выздоровлении они тотчас же возвращались к прежним верованиям.

Духовенство того местечка, где родился Лазаретти, видя в нем как бы олицетворение древних пророков, чем он и был в действительности, как мы увидим дальше, отнеслось к нему с большим уважением, что, по своему обычаю, решилось эксплуатировать его в своих интересах и воспользоваться им для сбора пожертвований на постройку церкви.

Народ, уже без того изумлявшийся полной перемене в образе жизни Лазаретти и его татуировке, еще более изумлялся теперь вдохновенным речам, его длинной всклокоченной бороде, серьезной наружности и, подстрекаемый духовенством, толпами бежал послушать нового пророка.

Начались процессии... Окруженный духовенством и знатнейшими из местных жителей, Лазаретти посетил Арчидоссо, Роккальбенья, Кастель-дель-Пиано и другие ближайшие города; население повсюду встречало его с восторгом, на коленях, а священники и духовенство окрестных церквей целовали ему руки и даже ноги. Приношения сыпались со всех сторон, но были, однако, не особенно велики, так как жители не могли жертвовать много; поэтому для постройки церкви решено было воспользоваться их даровым трудом. Место выбрали вблизи Арчидоссо, и работа закипела. Десятки тысяч верующих, мужчины, женщины, даже дети, принялись таскать камни, бревна и другие строительные материалы. К сожалению, как в стихосложении, так и в архитектуре, кроме пророческого вдохновения, необходимы еще научные познания; а их-то и не было у Лазаретти; поэтому затеянная постройка оказалась столь же неудачной, как его поэзия: собранные с таким трудом материалы остались на месте в виде безобразной кучи мусора, и вся эта затея окончилась настолько же бесплодно, как некогда сооружение вавилонской башни. В январе 1870 года Лазаретти основал общество *Священной лиги*, имевшее целью взаимное вспомоществование и дела милосердия. В марте того же

года, после общей трапезы со своими последователями, он отправился на остров Монтекристо, где в продолжение нескольких месяцев писал послания, пророчества и поучения, а потом, вернувшись в Монтелабро, составил описание видений и пророческих снов, какие были ниспосланы ему во время пребывания на острове. Вслед за тем его обвинили в подстрекательстве к бунту, но суд оправдал его. После того Лазаретти основал другое общество, под названием *Христианская Семья*, но был снова арестован по совершенно неосновательному подозрению, будто это общество организовано с мошенническими целями; однако, благодаря заступничеству Сальви, его оправдали и он отделался только 7-месячным предварительным заключением в тюрьме.

Повинуясь новому велению свыше, Лазаретти предпринял в 1873 году путешествие и посетил Рим, Неаполь, Турин, затем отправился в гренобльский картезианский монастырь, где составил правила для Ордена кающихся монахов, а также и цифрованную азбуку. Там же он написал сочинение под заглавием "Небесные цветы", где говорится, между прочим, что "Великий муж сойдет с гор в сопровождении небольшого отряда горцев"; в этой же книге описаны видения, сны и божественные заповеди, ниспосланные автору во время его пребывания в монастыре.

При возвращении в Монтелабро его встретила на дороге громадная толпа приверженцев и любопытных, которой он сказал проповедь на тему: "Бог видит, судит нас и воздает каждому по делам его". За эту проповедь его привлекли к ответственности, обвинив в намерении ниспровергнуть правительство и вызвать междоусобную войну.

На этот раз эксперты не были спрошены, и суд, не приняв во внимание ни странной татуировки, ни курьезных сочинений Лазаретти, отнесся к нему точно к человеку, находившемуся в здравом уме, и приговорил его за плутовство, соединенное с бродяжничеством, к 15 месяцам тюремного заключения и отдаче на год под надзор полиции.* Но апелляционная палата отменила это решение, так что Лазаретти вернулся в августе 1875 года в Монтелабро, где снова организовал свое распавшееся было общество и поставил во главе его священника Империиуци. Затем, вследствие расстроенного в тюрьме здоровья, а может быть также с целью избежать новых арестов или из желания разыграть роль мученика перед французскими легитимистами, он отправился во

Францию. Около одного из городов, Бургоньи, на него, как он сам говорит, снизошло божественное вдохновение, результатом которого явилась книга, по справедливости названная им таинственной, под заглавием "Моя борьба с Богом" ("La mia lotta con Dio"). В это же время он написал сочинение "О семи печатях с описанием признаков семи вечных городов", заимствованное отчасти из Библии, отчасти из Апокалипсиса и наполненное самыми нелепыми рассуждениями. Кроме того, Лазаретти издал еще свою программу, в которой назвал себя "великим Монархом" и предлагал всем христианским государям вступить с ним в союз, так как скоро и совершенно неожиданно для всех должен *наступить конец мира*, и тогда гонимый теперь пророк явится перед лицом всех земных владык в качестве судии и полновластного господина. Все эти сочинения были переписаны священником Империиуцци, который исправил при этом и грубейшие грамматические ошибки, беспрестанно в них встречавшиеся. Многие из них удостоились чести не только быть напечатанными, но даже Леоном дю Ваша переведенными на французский язык, благодаря субсидии, а также стараниям реакционеров Италии и других стран, совершенно серьезно отнесшихся к безумному бреду несчастного маньяка.

* В статье "Давид Лазаретти", написанной мною вместе с Ночито и помещенной в "Архиве психиатрии" за 1880 год, указаны причины, вовлекшие экспертов в эту ошибку, которая стоила государству немалых расходов и, что еще печальнее, нескольких человеческих жертв.

Между тем Лазаретти, под влиянием все усиливавшегося бреда, начал громить духовенство и проповедовать замену тайной исповеди – публичной, вследствие чего папа признал все учение его ложным, а сочинения – еретическими. Тогда этот последний, написавший некогда в защиту папской власти "Гражданский статут папского владычества в Италии" ("Statute civile del Regno Pontificio in Italia"), издал в 1878 году послание к своим братьям-монахам, направленное против "боготворения Папы", которого он назвал семиглавым чудовищем. Несмотря на то, со свойственной всем помешанным непоследовательностью, Лазаретти вскоре отправился в Рим, чтобы повергнуть к подножию Св. Престола свою символическую печать и жезл, а вернувшись в Монтелабро, начал осуждать уже и самую католическую церковь, называя ее лавкой, а все духовенство – атеистами и торгашами, только эксплуатирующими религиозные чувства своей паствы. Вместе с тем он проповедовал необходимость реформы в религии и,

называя себя новым Христом, властелином и судиею, убеждал своих последователей отречься от суеты мира сего, а в доказательство этого отречения требовал, чтобы они воздерживались от пищи и сношений с женщинами, даже если они женаты, и отказались бы от собранной верующими довольно значительной суммы денег, более 100 тысяч лир, которая должна была оставаться без всякого употребления, спрятанною в вазе, – идея чисто безумная! Впрочем, часть этих денег получила потом особое назначение: в ожидании какого-то великого чуда Лазаретти заказал для своих избранников знамена и одежды с изображением зверей, виденных им во время галлюцинаций, одежды самого странного покроя, – в том числе одна, особенно богатая, предназначалась для него самого; для остальных же последователей были приготовлены только нагрудники с вышитым на них крестом и двумя буквами С, из которых одна – вверх ногами: Э+С. Знак этот служил эмблемою основанного им общества.

В августе 1878 года, когда народа собралось более обыкновенного, Лазаретти потребовал от своих последователей, чтобы они провели три дня и три ночи в посте и молитве, причем произносил проповеди, то общие для всех верующих, то частные для одних только приближенных, которые подразделялись на несколько орденов, носивших различные названия – отшельников духовных, кающихся и пр. Затем в течение трех дней – 14, 15 и 16 августа – происходила так называемая исповедь прощения (*confessione di amenda*), а 17-го на башне было водружено большое знамя с девизом: "Республика есть царство Божие". После этого пророк стал у подножия креста, нарочно воздвигнутого по этому случаю, собрал вокруг себя всех близких и заставил их поклясться ему в верности и послушании. При этом один из братьев всячески старался уговорить Лазаретти отказаться от задуманного им опасного предприятия. Но все было тщетно. Когда ему указывали на возможность встретить войска на пути, он отвечал: "Завтра же я покажу вам чудо в доказательство того, что я послан самим Богом в образе Христа, владыки и судии; следовательно, меня не могут убить – всякая сила и власть земная должна преклониться перед моей силой: достаточно одного движения моего жезла, чтобы уничтожить всех, осмелившихся сопротивляться мне". На чье-то замечание, что правительство рассеет сборище силою, он возразил: "Я руками отброшу пули, я сделаю безвредным для себя и для моих последователей каждое оружие, обращенное против них, даже королевские карабинеры превратятся в мой почетный караул". Все более и более

увлекаясь своей фантастической задачей, Лазаретти, не скрывавший делаемых им приготовлений даже от папского делегата, обещал было ему отменить процессию, но потом изменил свое решение и написал, по-видимому, с полным убеждением: "Я не мог исполнить данного вам обещания, потому что приказание свыше, от самого Бога, заставило меня действовать иначе". А неверующим или отказывающимся исполнять его требования он грозил небесными громами. В таком-то настроении повел Лазаретти утром 18 августа толпу своих приверженцев по дороге из Монтелабро в Арчидоссо. На нем была надета королевская мантия красного цвета, вышитая золотом, голову украшала корона в виде тиары, с пучком перьев наверху, а в руках он держал свой жезл. Хотя и менее богатые, но отличавшиеся разнообразием цветов и причудливостью покроя одежды его приближенных соответствовали степени, какую занимал каждый из них в обществе *Священной лиги*; простые же члены его были в своем обычном платье, и только описанные выше символические знаки на груди отличали их от толпы. Семеро из важнейших лиц братства несли столько же знамен с надписью: "Республика есть царство Божие". При этом все пели сочиненный Лазаретти гимн, каждая строфа которого оканчивалась припевом: "Вечная Республика" и пр.

В Италии, вероятно, всем известно, что случилось потом. Лазаретти, еще так недавно объявлявший себя королем из королей, потомком царя Давида, держащим в своей власти всех владык земных и совершенно неуязвимым, упал, сраженный чьей-то рукою, – может быть, самого же делегата, столько раз бывшего у него в гостях, или же только по его приказанию. Рассказывают, что, поглощенный своей последней уже иллюзией, он, падая, воскликнул: "Мы победили!"

Процессия эта была устроена не только бессмысленно, но даже как бы нарочно с целью доказать ее неосуществимость. Следствие, начатое потом против последователей Лазаретти, вполне доказало, что созданное им вероучение было плодом галлюцинаций. Г.Ночито совершенно справедливо говорит по этому поводу:

В тот день, когда был вскрыт ящик, где хранилось имущество пророка, и, вместо ожидаемых вещественных доказательств его преступной деятельности, оттуда вынули изображение Божией Матери и рядом с нею портрет Давида в военном мундире, умиленно

беседующего со Св. Духом; когда из этого ящика, точно из Ноева ковчега, стали появляться необыкновенные животные, созданные фантазией пророка для украшения его знамен – орлы, змеи, голуби, крылатые лошади, быки, львы, гидры, – а затем оттуда же вынули священнические одежды, королевские мантии, венки из оливковых ветвей и терновые венцы, в тот же день, когда после долгих, тщательных обысков в квартирах и в карманах панталон лазареттистов полиция ничего не нашла у них, кроме распятия да четок, и, наконец, в особенности в тот день, когда публика получила возможность любоваться тою странною обувью, какую носили последователи святого Давида, и папскими туфлями, которые надевал сам "пророк" и в которых он едва мог двигаться, – в этот день никто уже не сомневался, что правительство приняло мономаньяка за опасного бунтовщика.

Пунктом помешательства Лазаретти послужил тот член символа веры, где говорится о воскресшем Христе, "сидящем одесную Отца и *паки грядущем судити живых и мертвых*".

Так как этот обещанный судия долго не являлся, то Лазаретти вообразил себя в его роли и во всем старался подражать Христу: у него тоже были свои 12 апостолов и среди них апостол Петр, носивший на груди пару ключей, искусно вырезанных из картона; он точно так же постился и терпел всякие лишения, находясь во время суровой зимы на острове Монтекристо, где вел с Богом беседу, сопровождавшуюся раскатом грома, блеском молнии и землетрясением. Иисус Христос созвал учеников на тайную вечерю в день Пасхи, – и Лазаретти пригласил своих последователей на Троицу 15 января 1870 года, причем сказал им:

Так угодно было тому, кто руководит всеми моими поступками. Знайте, что теперь это составляет величайшее таинство; вспомните, что вы находитесь теперь в том месте, которое Бог избрал для своего жилища. Скоро, скоро настанет время, когда именно здесь будут воздвигнуты восхитительные *памятники* в честь его пресвятого имени, чтобы служить эмблемой божественного величия.

В сущности, он не установил за этой трапезой никакого таинства; но, для того чтобы во всем походить на Иисуса Христа, Лазаретти утвердил таинство своего изобретения – *исповедь прощения* – довольно, впрочем, сходную с устной.

Но этого мало: ему захотелось также иметь свое

преображение, сопровождаемое *землетрясением*, и он предсказал, что это событие должно совершиться 18 августа 1878 года.

Когда врач колебался сделать операцию сыну Лазаретти, у которого была каменная болезнь, этот последний взял нож и сам вырезал камень. Ребенок умер; отец же его продолжал твердить, нимало не смущаясь: "Сын Давидов не может умереть".

При медицинском исследовании трупа Лазаретти на теле его оказался знак – изображение креста внутри опрокинутой тиары. Спрошенные по этому поводу братья пророка объяснили, что он велел сделать во Франции золотую печать, которую называл *императорской*, и, обмакнув ее в кипящее масло, оттиснул ею знаки на теле, сначала себе, а потом жене своей и детям.

Таким способом бедный пророк хотел доказать с полной очевидностью не только свое высокое происхождение, но также и знатность членов своей семьи, так как, по его словам, он был прямой потомок императора Константина, хотя, конечно, доказал этим лишь свое безумие, потому что именно у помешанных мы замечаем склонность выражать свои нелепые бредни символами и различными изображениями.

Однако Лазаретти не ограничивался одним лишь сознанием, что в жилах его течет царская кровь: ему хотелось еще и властвовать над целым миром, хотя под конец он уже настолько сузил свои требования, что готов был удовольствоваться передачей своих прав какому-нибудь принцу. В одном из своих манифестов – "К христианским государям" – он сделал следующее воззвание:

Я обращаюсь безразлично ко всем христианским государям, католикам, схизматикам и еретикам, лишь бы они были крещенные.

Не беда, если они не облечены властью и не управляют народами, только бы в их жилах текла царская кровь. Я призываю их всех, и первый же, кто явится ко мне – если ему будет не менее 20 и не более 50 лет и если при этом у него не окажется никаких физических недостатков, – будет царствовать вместо меня.

Курьезнее всего то, что покойный граф Шамбор серьезно отнесся к этому приглашению и отправил к Лазаретти своего уполномоченного. Чем окончились совещания

короля из дома умалишенных с королем из археологического музея – неизвестно.

Мне нужен союзник-христианин, – говорится далее в манифесте. – Я решился теперь ускорить свое великое предприятие, и если они (христианские государи) не явятся ко мне в течение трех лет со времени опубликования этой программы, то я покину Европу и отправлюсь в среду неверных, чтобы достигнуть при их помощи того, чего я не мог сделать, находясь между верующими.

Но горе, горе тогда всем вам, христианские государи! Вы будете наказаны семью головами великого антихриста, которые появятся из недр Европы, и в особенности одним юношей, который после моего удаления придет из северных стран к центру Франции и будет выдавать себя за *Того, кто Я сам*".

Отсюда-то явилась у Лазаретти *idée fixe*, что он царь царей. Когда городской голова Арчидоссо не хотел исполнять его приказаний, он сказал ему: "Я – монарх из монархов. Я ношу на своих плечах государей целого мира. Сколько у вас ни есть карабинеров и солдат, они все принадлежат мне, находятся в моей власти, и у вас не хватит веревок, чтобы связать меня". То же самое он говорил и другим лицам, особенно когда произносил проповеди, что было подтверждено множеством свидетельских показаний.

Так, например, свидетель Росси, бывший на проповеди 17 августа, слышал, как Лазаретти называл себя королем королей, Христом, судьей, которому будет подчинен даже король Италии. Он же говорил, что Папа не должен более жить в Риме и что ему найдут другую резиденцию. Далее свидетель Мецетти показал, что Давид непременно хотел устроить процессию 18 августа и говорил: "С чего вы взяли, что нас арестуют? Разве это возможно, чтобы подданные арестовали своего монарха?" То же показали и другие лица.

Что же касается эмблематического знака Э+С, которому Лазаретти придавал огромное значение, то он олицетворял, по-видимому, идею о двух Христах, одном – сыне Иосифа из Назареи и другом – сыне Иосифа Лазаретти из Арчидоссо. Но зато является совершенно непонятным, какое соотношение могло существовать между Иисусом Христом, императором Константином, псалмопевцем Давидом и самим Лазаретти. Объяснение этого факта следует искать в противоречиях и нелепых

представлениях, свойственных мономаньякам, которые не останавливаются ни перед чем, лишь бы доказать истинность своей *главной идеи*, – другими словами, главного пункта своего помешательства, – и обнаруживают при этом замечательное умение принять даже внешний вид изображаемого ими лица. Мне припомнилось, что в Павии была одна больная, считавшая себя членом семьи Наполеонов: она очень искусно подражала им в костюме, манерах, разговоре и пр. и в то же время называла себя дочерью Марии Луизы и Виктора Эммануила.

Вообще, у Лазаретти масса противоречий; сначала он видел в Папе освободителя Италии, но потом, когда был отлучен им от церкви, стал называть папство идолопоклонничеством; он готов был умереть за католическую апостольскую религию и в то же время отрицал *устную исповедь* – один из главных ее догматов; считая себя сыном Давида, назывался также и сыном императора Константина и пр.

Однако в правительственных сферах сумасшествие Лазаретти отрицалось самым решительным образом. На суде в Сиене королевский прокурор выражал в своей речи такого рода соображения, нисколько, впрочем, не разъяснившие дела. "Возможно ли допустить, – говорил он, – чтобы процессия была устроена с целью посещения святых мест, когда для этого требовалось пройти 24 мили? Мыслимо ли подобное путешествие с толпой, где было так много детей? На какие же средства стали бы жить члены этой процессии, когда мы знаем, что уже 18 августа у них не было ни гроша? Затем, как допустить существование другой нелепой идеи – путешествия в Рим для того, чтобы вытребовать у Первосвященника Моисеев жезл, отнятый Львом XIII у Давида Лазаретти?" Отвечать на все эти вопросы можно лишь тем, что хотя у сумасшедших и бывают иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и противоречия.

Так, одним из необходимых средств господствовать над миром Лазаретти считал свой жезл, делившийся на 5 частей – эмблемы четырех евангелистов и его самого. Вот почему он устроил процессию, чтобы снова овладеть этим жезлом, который конфисковали у него в Риме.

Для понимания душевного состояния подобных безумцев необходимо стать на их точку зрения, надо освоиться с этим болезненным, по большей части лишенным логики мышлением, где самые ничтожные вещи получают

громадное значение, а самые крупные, напротив, кажутся ничтожными, если только они идут вразрез с желаниями помешанного субъекта.

Во всяком случае, как ни была нелепа цель путешествия, стремление министерства внутренних дел (Publico) найти в этом действии ключ ко всему необъяснимому оказывалось еще нелепее.

Поводом к обвинению Лазаретти в мошенничестве послужили написанные им на имя неизвестных, ничего не имеющих лиц векселя, которыми он не думал, да и не мог воспользоваться, но которые сильно компрометировали его. Здесь опять является вопрос, для какой цели это было сделано, – и снова приходится отвечать, что именно бесцельность, бесполезность противозаконных действий и составляет отличие помешанного от настоящего преступника. Еще более неосновательны были обвинения Лазаретти в том, что он выманивал у членов своего общества деньги и брал их себе. "У сумасбродов не бывает доходов", – говорит ломбардская пословица, и действительно, Лазаретти ничего не нажил от своих проповедей и пророчеств, кроме гонений да насмерть сразившей его пули. Жену и детей он оставил без всяких средств, жизнь вел самую скромную, изнурял себя покаянием, лишениями всякого рода и сам первый подавал своим последователям пример соблюдения четырех постов в продолжение года. Большую часть времени он проводил в монастырях и пещерах, например на острове Монтекристо или среди мрачных вулканических скал Монтелабро, а получаемые от француза дю Ваша деньги тратил на постройку церкви и нелепой башни, представлявшей его расстроенному воображению каким-то священным ковчегом, эмблемой нового союза между народами.

Но всего очевиднее выражалось умопомешательство Лазаретти в его сочинениях.

Во-первых, потому, что все они наполнены описаниями зрительных и слуховых галлюцинаций, нередко изложенных с такой живостью, что даже самая богатая фантазия человека, находящегося в здравом уме, не могла бы создать ничего подобного.

Так, в сочинении "Lotta con Dio" он говорит:

Точно удар грома разразился надо мною и ослепил меня, вследствие чего я упал на землю как мертвый. Множество голосов раздались посреди грохота и треска,

и я услышал слова: Повелевай, повелевай, повелевай!
Больше я ничего не мог понять. Вновь слышался
грозный голос Бога, говоривший мне...

На первой же странице предисловия к его "Рескриптам" сказано: "Я безмолвствовал в продолжение 20 лет... но настало время, когда я должен был заговорить согласно повелению свыше. Мне было приказано поучать народы, и я поучал, и впредь буду поучать. Если народы не поверят моему учению, мне останется только повторять сказанное. Если они сочтут мое учение ложным, я не поверю, чтоб мои слова могли быть лживыми. Если они заподозрят меня в притворстве, пусть разберут мое поведение". (Буквально то же самое высказывал и Савонарола.)

А вот и еще отрывок в том же роде:

Я слышал громовой потрясающий голос Бога, и с горных вершин в долину проникал такой грохот, что мне казалось, будто они сталкиваются между собою.

Предсказания выражались им с полнейшей самоуверенностью и даже иногда в стихотворной форме, например:

О вы, монархи и цари Европы,
Настанет день, когда рука Господня
В отмщенье вам на головы падет
И сокрушит гордыню вашу,
И вас самих повергнет в прах.

Во-вторых, хаотическая беспорядочность, туманные, напыщенные выражения, неправильный слог и масса противоречий, составляющие характерную особенность произведений Лазаретти, в которых лишь крайне редко попадаются художественно написанные страницы, с полной очевидностью свидетельствуют, что в создании этих произведений совсем не участвовал гений, всегда более или менее ровный в своем творчестве, и что они вызваны болезненным психическим состоянием мозга.

Поэтому Лазаретти был совершенно прав с психиатрической точки зрения, когда на вопрос, каким образом он, не получивший никакого образования, мог написать столько книг? – отвечал: "Бог вдохновлял меня", только вместо "Бог" следовало бы сказать – "помешательство". И действительно, вдохновленный "пророк" сознавался, что он сам не понимает некоторых из своих сочинений и что, находясь в спокойном состоянии, не может уловить смысл того, что было

написано им во время экстаза.

Следует еще заметить, что священным видениям у Лазаретти почти всегда предшествовали обмороки, головные боли, полубессознательное состояние и лихорадочные пароксизмы, продолжавшиеся по 28 часов, а иногда и по целым месяцам. Вот как описывает он сам эти припадки:

"Мною овладевает дух, происходящий не от человека; он вызывает во мне мгновенное вдохновение, сопровождаемое сильной головной болью, вызывающей у меня сонливость и путаницу в мыслях. Когда я засыпаю, мне представляется видение, и, проснувшись, я сознаю, что оно было чуждо моей природе" (Lotta con Dio).

На заглавном листе этого сочинения он написал: "Это был экстаз, во время которого я ничего не сознавал (che tutto mi rapì); он продолжался 33 дня".

В-третьих, ненормальность умственных способностей Лазаретти подтверждается еще и той неудержимой потребностью проповедовать и писать, которая совершенно не гармонировала с его специальностью – извозчика, едва только грамотного. В этом случае я повторяю уже сказанное мною по поводу мании писательства у Манжионе и Пассананте, т.е. что если бы какой-нибудь студент или чиновник вздумали сидеть по целым дням за чтением газет или за составлением нелепейших статей по разным вопросам, то в этом не было бы ничего странного, но когда извозчик вдруг обнаруживает особые дарования – не относительно того, как править лошадьми или чего-нибудь в этом роде, но, ударившись в сочинительство, придумывает идеальные формы республиканского правления, за что, пожалуй, не взялся бы даже Мадзини, – то мы имеем полное право заключить, что подобный субъект находится гораздо ближе к дому умалишенных, чем к Валгалле.

В-четвертых, прямым доказательством сумасшествия Лазаретти служат целые страницы горделивого бреда и самовозвеличения. Вот что говорит, например, он, разумея себя самого, в "Манифесте к народам":

Узнав, что бедный и простой человек выдает себя за Христа и объявляет, что он происходит от племени царя царей, вы, конечно, изумитесь и скажете, что это возмущает человеческую гордость, а между тем это верно: уже века тому назад событие это было предсказано, и во всех книгах говорится о том образце

добродетели, который послан в мир.

Горделивое помешательство рассматриваемого нами субъекта уже проявляется, впрочем, и в том, что он пишет к государям, к папе, точно к равным себе или даже низшим, хотя общественное положение его было одно из наиболее скромных.

После высокомерного объяснения со всеми монархами и с Папой Давид прямо обращается к бывшему королю прусскому, нынешнему императору германскому, укоряет его за коварные замыслы против Италии и предсказывает ему разные бедствия. Французам он советует прежде всего разбить нечестивую статую Вольтера и сжечь его сочинения, а пепел, оставшийся от них, зарыть как яд, взятый из ада.

На том же самом месте, – продолжает он, – вы воздвигнете статую Искупителя Иисуса Назарянина, держащего под своею пятою Вольтера, изображенного в виде демона, и пусть Искупитель заградит ему рот крестом, который тот хватает зубами и руками. Когда это будет сделано – божественный гнев смягчится и невзгоды перестанут терзать народ.

Папе он писал, между прочим, следующее:

Прежде всего я обращаюсь к тебе, преемник Петра, видимый глава Церкви, с целью предупредить тебя, чтобы ты не доверял чужеземному вмешательству. Знай, что под предлогом защиты прав Церкви расставляют сети тебе и всей итальянской нации. Замышляется не что иное, как внести бедствие и разорение среди нас, итальянцев.

Короля Италии Лазаретти третирует еще развязнее.

При дворе у тебя, – пишет он ему, – происходит столпотворение вавилонское, управление твоё – тирания, разбойничество, законы и учреждения твои переполнены глупыми, еретическими, нелепыми и непонятными правилами, возмущающими нравственное чувство и здравый смысл. Говорю тебе, что хуже не мог бы поступить даже тот, кто вздумал бы открыто идти против всякой нравственности. Каким же образом намереваешься ты, король мой, спастись от этих дурных людей? Я знаю, они довели тебя до крайнего, ужасного положения! Мне очень неприятно будет видеть твою гибель, которая порадует тех, кто сумел лестью довести тебя до этого. Не знаю, чем помочь тебе, король мой, но вижу тебя в дурных обстоятельствах. Если бы я мог быть

возле тебя, то, ради твоих предков, я постарался бы спасти тебя.

Но этого мало. Через несколько страниц Лазаретти начинает фамильярничать даже с самим Богом. "Я желал бы, – говорит он, обращаясь к нему, – чтобы вы* перестали относиться с таким презрением"... И потом немного ниже прибавляет: "Я согласен исполнить вашу волю, Господь мой, но лишь на том условии (условие с Богом!), чтобы я мог передать другим свою власть и свои громадные владения (у извозчика-то!); а себе я оставляю бедность, труд" и т.д.

* Сохранено обращение автора к Богу во множественном числе, не принятое у нас.

Однако из последующих строк видно, что смирение это было напускное:

Повторяю вам, что я и мои потомки посвящены вам (vi siamo consacrati), и я, как кровный родственник, хочу быть в зависимости только от своих же кровных; этого я требую от вас по праву моих предков. На этих условиях я принимаю сделанное вами мне предложение повелевать миром.

И действительно, в письме к королю он объявил:

Мне, ничтожнейшему из людей, вышедшему из народа... Бог обещал всю землю. В доказательство этого он послал мне дар пророчества и светлый ум для того, чтобы исправлять законы и делать открытия в науках и искусствах.

Великие открытия эти состоят в смешных толкованиях на первые главы книги Бытия с прибавлением нелепейшей палеонтологии, которая могла прийти в голову разве какому-нибудь крестьянину, побывавшему в музее. Вот образчик научных познаний пророка: "Сначала было 15 видов крупных животных; но они все погибли, потому что были слишком велики, – из них 7 жвачных, а 3 амфибии. Строение этих животных было таково, что чешуйчатой кожи их не могло пробить никакое железо. Были пресмыкающиеся с ядовитым дыханием, предназначенные для воды, и люди называли их *животными смерти и яда!!!*" и т.д. все в том же роде.

В эпоху сооружения Вавилонской башни на земном шаре произошел разрыв, вследствие чего север отделился от запада. И северные народы живут еще во мраке и нечистотах. (стр. 105)

Вслед за тем автор прибавляет:

Это совсем особенные истины, со времени потопа и до сих пор лишь остававшиеся в памяти людей; открытие этих истин было предоставлено полноте времен (*pienezza dei tempi*). Человек должен узнать все после снятия этих печатей.

В-пятых, следует еще заметить, что нелепости и противоречия встречаются почти на каждой странице сочинений Лазаретти. Так, например, после того как им было уже сказано, что во время потопа погибли все животные, кроме взятых в ковчег, он прибавляет: "осталось на земле множество животных".

Далее, чем, кроме умопомешательства, можно объяснить себе описание разных невозможных животных – быка с 12 и слона с 10 рогами, лошади с 13 ногами и пр., а также громадное значение, какое он придавал происхождению своего делившегося на пять частей жезла, которому посвящена почти целая глава сочинения "*Lotta con Dio*", где без всякого стеснения объясняется, что жезл зародился в недрах жены Лазаретти от сношений с его же сыновьями и первыми членами его частей!!!

В-шестых, но если даже и не рассматривать внутреннего содержания произведений Лазаретти, то уже одна внешняя форма их, особенности в слого, составление новых слов или же употребление их в особом смысле и пр. – все это может служить доказательством его психического расстройства. Так знаменитую башню свою он называл "*turrisdavidica*", сыновей своих – "*Giurisdavici*" и пр.

В приложенном к сочинению "*Lotta con Dio*" послесловии – нечто вроде списка опечаток – он сам говорит, что слова *tempo* (время) *profeta* (пророк), повторяющиеся бесчисленное множество раз, не следует понимать в общепринятом значении. Повторений у него вообще масса, и не только отдельных слов, но даже целых фраз и в особенности цифр. Так, не говоря уже о том, что он, подобно Пассананте, по 70-80 раз повторяет слова *provate* и *riprovate*, в "*Lotta con Dio*" по крайней мере столько же раз употреблена фраза "*Uomo a te caro 7° figlio del 7° figlio dell'uomo*" (Дорогой мне человек, 7 сын 7 сына человека), хотя гораздо проще было прямо сказать Енох и Авраам.

Еще чаще употребляется слово *tempo* (время) и цифра 7; например, "С неба упадут камни в 7777 весом из одного

веса в 7777 на 47 двойных граммов веса". Или: "Число жертв будет в 1777 времен, заключающих в себе 17 раз 1777". Или: "После моего поднятия на небо прошло время из 3 времен, состоящих из 77 часов для каждого времени".

В заключение нашего диагноза напомним, что хотя в молодости Лазаретти обнаруживал склонность к пьянству и кутежам, но потом, после происшедшей с ним перемены, он сделался высоконравственным и мог служить образцом святости, что главным образом и было причиной всеобщего уважения к нему. Кроме того, он до самой последней минуты горячо любил своих детей и жену, которой писал самые нежные письма и даже стихи. Между тем сумасшедшие, и в особенности мономаньяки, лишь в исключительных случаях сохраняют подобную привязанность к близким после потери рассудка; но зато у них редко проявляется и та страсть к писательству, какую мы замечаем в маттоидах.

К какой же категории психически больных людей следует причислить Лазаретти? По-моему, у него была промежуточная между маттоидом и мономаньяком форма горделивого помешательства, сопровождающегося галлюцинациями. Душевные болезни бывают до того разнообразны, что установить для них строгую классификацию не всегда возможно.

С другой стороны, ловкость, с какою Лазаретти успокаивал сомнения своего покровителя, француза-мецената дю Ваша (тем, например, что если новое учение приобретает мало сторонников, то это происходит по особой воле небес), находчивость при объяснении символического значения слов пророк и время, слишком уж часто употребляемых им (что указывали ему критики), ловко пущенная в толпу выдумка о том, что татуировка его сделана Св. Петром, тогда как от некоторых он считал нужным скрывать эту мнимую божественную печать*, наконец, умение организовать религиозные общества, а также изобретение шифрованного письма – все это доказывает, что, несмотря на умопомешательство, Лазаретти сохранил значительную дозу хитрости и даже плутовства.

* Если бы Лазаретти не вытравил себе и других знаков на теле, а присяжные не подтвердили бы, что это – настоящая татуировка, то можно было бы допустить у него так называемую стигматизацию, которая появляется в известных случаях религиозного помешательства, при истерии и каталепсии. Так, например, одна женщина из

Раккониджи могла вызывать у себя красный рубец вокруг головы после галлюцинаций о терновом венце Иисуса Христа; нечто подобное проделывала и Роза Тамизье, полусумасшедшая, полуаферистка. Вообще же, татуирование встречается чаще у здоровых людей, чем у помешанных, и служит признаком их малой болевой чувствительности.

Впрочем, эти способности всегда бывают сильно развиты у гениальных сумасшедших, а тем более в маттоидах, и отрицать это могут лишь люди, никогда не посещавшие больниц для умалишенных.

Вообще Лазаретти был безумец в полном смысле слова.

Нельзя не изумляться той предусмотрительности, какую обнаруживают сумасшедшие при исполнении своих замыслов, а также их замечательному умению притворяться и хитрить, особенно перед теми, кто внушает им страх или уважение или же от кого они надеются получить какие-нибудь выгоды. Классический пример в таком роде представляет генерал Мале, который, будучи мономаньяком и находясь в доме умалишенных, без денег, без солдат, с помощью двух только союзников – священника и слуги – пытался свергнуть Наполеона, и на один день почти успел в этом: подделав приказы, он убил одного из министров (главу министерства), арестовал начальника полиции и обманул почти всех корпусных командиров, уверив их, что Наполеон умер. И это была не первая проделка его: еще в 1808 году он вздумал произвести восстание посредством фальшивого декрета от имени сената.

После этого уже не может показаться невероятным тот факт, что одному мономаньяку удалось произвести восстание тайпинов и в продолжение многих лет ловко руководить восставшими или что другой вдохновенный безумец поднял весь народ против деспотизма шаха и вместе с тем пытался создать новую религию, заимствовать для нее все, что есть лучшего в христианстве и магометанстве. Наконец, разве безумец Гито не ухитрился лишить Америку ее президента (см. приложения) и разве та же участь не угрожала Италии по милости полуидиота Пассананте? Этот последний представляет любопытный экземпляр современного маттоида-революционера, и потому я займусь им подробно, так как для многих помешательство его еще остается сомнительным, и вообще этот вопрос не лишен интереса.

Между родственниками Пассананте нет ни больных, ни сумасшедших. В 29 лет он был ростом 2,5 аршина и весил 128 фунтов, т.е. на 35 фунтов меньше среднего веса уроженцев Неаполя.

Голова у него почти субмикроцефала, окружность ее 535 миллиметров, поперечный диаметр – 148 миллиметров и продольный – 180, лицевой угол – 82°, высота лба 71 миллиметр, ширина его – 155, вместимость черепа 1513 кубических сантиметров; черты лица напоминают отчасти монгола, отчасти кретина, глаза маленькие, глубоко впавшие и расстояние между ними больше нормального, скулы чрезвычайно выдавшиеся, борода редкая. Зрачок мало подвижен, половые органы атрофированы, чем обусловливается почти полная *anafrodisia*; печень и селезенка, напротив, гипертрофированы, что служит причиной повышения температуры, колеблющейся от 38° до 37,8° под мышками, слабости пульса (хотя кривая пульса нормальна) и недостатка физической силы, которая меньше на правой стороне (68 килограммов), чем на левой (72 килограмма). Это последнее обстоятельство, зависящее, может быть, от давнишнего ожога правой руки, чрезвычайно важно в том отношении, что оно делало невероятным нанесение меткого удара ножом, особенно если принять во внимание плохое качество этого последнего и неудобство положения, в каком находился Пассананте во время покушения. Болевая чувствительность его была гораздо слабее обыкновенной. В тюрьме с ним случался бред, сопровождавшийся галлюцинациями.

Все эти признаки несомненно указывают на болезненное состояние как брюшной полости, так и центральной нервной системы. Последнее еще яснее видно из психиатрического исследования. И в самом деле, только при поверхностном наблюдении душевное состояние и нравственные чувства Пассананте могли показаться нормальными. Так, он высказывал отвращение к преступлениям, жизнь вел безукоризненную, совершенно трезвую; будучи то горячим патриотом, то слишком уже рьяным католиком, он всегда, по-видимому, предпочитал благо других своему собственному, так что весьма естественно, если несведущие в психиатрии лица вначале сочли его мучеником зрелой идеи, выразителем и тайным орудием сильной антиправительственной партии, человеком, хотя и внушающим отвращение с политической точки зрения, но по своим личным качествам заслуживающим уважения.

Но ошибочность такого мнения вскоре сделалась очевидной. Не говоря уже о бреде, который мог быть следствием заключения в тюрьму, многие признаки, и в особенности знакомство с его сочинениями, заставили предположить, что Пассананте – просто маттоид. Что же касается его бережливости и альтруизма, то эти качества скорее подтверждали такое предположение, чем опровергали его, потому что, как мы видели выше, они свойственны не только всем маттоидам, но нередко и прямо сумасшедшим, которые выказывают иногда большую привязанность к родине и человечеству, чем к своей семье или к себе самим. Из сочинений же Пассананте видно, что этот ревностный патриот и гуманный человек совершенно равнодушно и чуть ли даже не с удовольствием описывает драки, нередко сопровождавшиеся убийством, драки, происходившие между его земляками, когда иностранцы бросали им деньги в виде милостыни... и находит забавной возмутительную проделку каких-то озорников, которые утащили из сада одного бедняка любимое им вишневое деревце и, оборвав с него все ягоды, принесли обратно. Наконец, ненормальность Пассананте выразилась и в том, что после совершения преступления он остался совершенно спокойным посреди взбешенной толпы народа, готовой растерзать его на части, тогда как даже самые фанатичные из политических убийц, Орсини, Занд, Нобиллинг и др., выказывали в таких случаях сильное волнение и покушались на самоубийство.

Доказательством психического расстройства служит и самый мотив преступления. Пассананте отказали от места за его политические бредни, затем он был арестован как бродяга и вдобавок еще избит солдатами. Потеряв надежду удовлетворить своему громадному тщеславию, чувствуя отвращение к жизни и в то же время не имея мужества убить себя, он вздумал последовать примеру "героев", похвалы которым слышал в своем кругу (хотя сам всегда относился к ним недоброжелательно), главным образом для того, чтобы этим способом покончить все расчеты с жизнью.

Тотчас же после того, как его арестовали, он сказал следователю: "Меня обидели хозяева, где я служил, жизнь мне опротивела, и я сделал покушение на короля с целью сгубить самого себя". То же повторил он и судье Азаритти: "Я покушался на жизнь короля в полной уверенности, что меня за это убьют". И действительно, за два дня перед тем он беспокоился только о том, что его прогнали с места, совсем не помышляя, по-видимому, о цареубийстве, и на предварительном допросе старался

усилить свою вину напоминанием о давно забытом уже написанном им воззвании, где говорилось: "Смерть королю! Да здравствует республика!" По той же причине он не хотел подавать кассационной жалобы, а когда узнал о помиловании, то гораздо больше интересовался тем, что говорится по этому поводу в газетах, нежели своей собственной будущностью. Очевидно, мы имеем здесь дело с так называемым косвенным (indiretto) самоубийством, весьма часто встречающимся у помешанных, по свидетельству Маудели, Крихтона Эскироля и Крафт-Эбинга. Такие преступления совершаются обыкновенно помешанными или же трусами и безнравственными людьми. Я считаю Пассананте способным на подобное косвенное самоубийство именно потому, что оно давало ему возможность удовлетворить кстати и свое непомерное тщеславие, заглушавшее в нем даже инстинктивную привязанность к жизни. Кроме того, тщеславные самоубийцы вообще любят, чтобы смерть их была обставлена насколько возможно торжественнее, как, например, тот англичанин, который заказал композитору написать обедню, устроил публичное исполнение ее и застрелился в то время, когда хор пел requiescat.

Хотя Пассананте на последующих допросах и отрицал намерение лишить себя жизни, стараясь примирить и кое-как пояснить разноречие своих показаний ссылкой на изречение Робеспьера: "Идеи воспламеняются от крови", но я не придаю этому факту никакого значения и считаю первое признание, сделанное сгоряча, наиболее правдивым и искренним. К тому же оно было повторено несколько раз, и все подробности его оказались вполне достоверными. А запирательство Пассананте и вообще все его поведение после первых допросов объясняется чисто безумным политическим тщеславием, которое разыгралось у него с особенной силой, когда он увидел, что к нему относятся серьезно и что газеты, судьи, даже врачи видят в нем опасного политического деятеля. Эту незаслуженную репутацию он и старался поддержать, насколько позволяла ему его необыкновенная любовь к истине. И так как все окружающие видели в нем закоренелого революционера или ловкого заговорщика, он мало-помалу забыл свое прежнее отчаянное положение, когда ради куска насущного хлеба он готов был пойти на какую угодно черную работу, и вообразил себя политическим мучеником.

Королевскому прокурору, положим, извинительно, если он увидел преступление там, где его не было, и с помощью фантазии старался доказать существование

заговора, не имея для этого решительно никаких данных, потому что как жалкий нож (орудие покушения), так и полное бессилие, а также крайняя неумелость решившегося на него человека могли служить только очевидным доказательством, что Пассананте действовал под влиянием психоза и лишь на свой страх.

Но если бы даже самое тщательное следствие и не подтвердило неосновательность прокурорского предположения, то врачи-эксперты, эти наиболее рьяные из судебных следователей (*piu fiscali del fisca*), должны же были убедить блюстителя закона в сделанной им ошибке. Я настаиваю на том, что верно лишь первое показание Пассананте, повторенное, впрочем, три раза, тем более что оно вполне согласуется с данными судебного следствия, с письменными произведениями преступника, в которых нет и помина о цареубийстве, и со всей его скромной, безвестной жизнью до рокового события. Кроме того, уже будучи в тюрьме, он не только не боялся смерти, но даже высказывал желание, чтобы его казнили. Наконец, только идея самоубийства и придает этому преступлению известный смысл; но отнимите ее – и оно оказывается нелепым, непонятным. Процесс Пассананте потому и остался для всех загадкой, что объяснение причины преступления, высказанное прокурором, было неверно, а верное не было принято.

Первым главным поводом к совершению преступления, без сомнения, послужила для Пассананте, как впоследствии и для Гито, нищета в соединении с громадным и ненормально развитым тщеславием. Далее, если он и относится к чему-нибудь с увлечением, фанатически, то совсем не к политике, но исключительно лишь к собственным безграмотным, до смешного нелепым произведениям. Он плачет и беснуется на суде присяжных не в том случае, когда оскорбляют его партию, но когда ему отказывают в прочтении одного из сочиненных им писем или чернят его доброе имя помощника повара, указывая на то, что он negliжировал своею обязанностью мыть посуду и вместо того постоянно занимался чтением. Пассананте отрицает справедливость этого показания, хотя оно могло быть ему полезно как доказательство того, что он – маттоид.

Ум у него довольно оригинальный, но мелкий; говорит он гораздо живее, дельнее, чем пишет (отличительная черта маттоидов), так что в письменных произведениях его редко можно отыскать те меткие, сильные выражения, которые встречаются даже в сочинениях помешанных. Впрочем, при внимательном чтении всего, что он

написал, нам все-таки удалось найти несколько любопытных оригинальных суждений.

Так, например, не лишены оригинальности хотя и странные на первый взгляд, проекты его: по жребию избирать депутатов, чиновников и офицеров, *"чтобы меньше важничали"*, заставить изнывающих теперь в праздности заключенных обрабатывать пустыри и пр. Недурна также, правда, несколько отзывающаяся востоком идея – устроить в каждой деревне бесплатные помещения для отдыха путешественников-пешеходов (караван-сарай).

Далее, удачно сделано определение, что разумеют под словом *отечество* крестьяне маленьких итальянских общин: "Мы с детства привыкаем считать отечеством тот клочок земли, где стоит маленькая, простая часовенка".

Не лишены, по-моему, своеобразной дикой прелести некоторые строфы народного революционного гимна, как говорят, сочиненного Пассананте, хотя просодия в нем очень плоха.

В заключение вот еще чрезвычайно верная параллель между отдельным человеком и ассоциацией: "В одиночестве человек слаб и хрупок, точно стеклянный бокал, но в союзе с товарищами он становится силен, как тысяча Самсонов".

Более удачными выходили у Пассананте словесные показания, на что я, впрочем, указывал раньше, поэтому приведу здесь только одно его изречение: "Народ – это дирижер истории" и ответ на вопрос о том, что происходит в сознании преступника, решающегося на дурное дело. "В нем бывает тогда как бы две воли, – сказал он, – одна толкает на преступление, другая удерживает от него; результат зависит от того, которая сторона возьмет верх".

Но именно в этих-то проблесках или скорее изредка вспыхивающих искорках гениальности, а также в нелепых стремлениях и заключается доказательство болезненной аномалии. Когда человек из такой скромной среды, не получивший специального образования, задается идеями, столь не свойственными его классу, то, конечно, подобное явление нельзя назвать нормальным; положим, этот человек может оказаться гением, вроде Джотто, который из пастуха сделался знаменитым живописцем, но если этот пастух пренебрегает своим стадом и в то же время царапает одни каракульки,

совершенно бессмысленные, то мы вправе признать в нем отсутствие всякой гениальности. Затем, на основании психических наблюдений, мы уже прямо заключаем, что перед нами – один из представителей тех душевнобольных людей, которых я называю маттоидами. В приложении читатели могут познакомиться еще с несколькими субъектами, принадлежащими к этому типу.

В сочинениях Пассананте сколько-нибудь здравые мысли составляют лишь редкое исключение: в общем же это – пустая болтовня, собрание абсурдов и противоречий, ничем не объяснимых, так как противоречия встречаются не только в одной и той же статье, но даже на одной и той же странице. Начав говорить о бедствиях родины, автор через несколько строк уже толкует о вишневом дереве, затем переходит к Бисмарку или пускается в длинные отвлеченные рассуждения, а между тем о своем процессе, где решается его судьба, упоминает лишь мимоходом.

Характерную особенность произведений Пассананте составляют, после безграмотности, отрывистые, занумерованные, точно в Библии, периоды (что, впрочем, часто встречается у маттоидов и сумасшедших) и манера писать в два столбца. Кроме того, он то и дело повторяет некоторые излюбленные слова и выражения – как это делают мономаньяки, – причем иногда перепутывает их чрезвычайно курьезно. Так, например, рассуждая о том, как должны поставить себя *слуги* и *служители* (точно это не одно и то же!), он говорит: "Остерегайтесь требовать себе и жаркое, и дым от него, потому что несправедливо одному получать и жаркое и дым, а другому – ничего; поэтому барин пусть получает дым, а работники – жаркое".

Как ни нелепа эта кулинарная метафора, однако в ней до сих пор можно уловить хотя какой-нибудь смысл, но дальше она становится уже совершенно непонятной: "Правящему классу – жаркое, народу – дым, народу – жаркое, правящему классу – дым. Дым – это почести, слава; жаркое – это справедливость, добросовестное отношение ко всем". Никакая логика не поможет разобраться в этой путанице, так что ключ к подобным загадкам, очевидно, следует искать в доме умалишенных.

***XI СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕНИАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ, СТРАДАВШИХ В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ ПОМЕШАТЕЛЬСТВОМ***

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**

Чезаре Ломброзо

Если мы теперь проследим "с холодным вниманием" жизнь и

произведения тех великих, но душевнобольных гениев, имена которых превознесены в истории различных народов, то скоро убедимся, что они во многом отличались от своих собратьев по гениальности, ни разу не впадавших в умопомешательство в течение своей славной жизни.

1) Прежде всего следует заметить, что у этих *поврежденных* гениев почти совсем нет характера, того цельного, настоящего характера, *никогда не изменяющегося по прихоти ветра*, который составляет удел лишь немногих избранных гениев, вроде Кавура, Данте, Спинозы и Колумба. Так, например, Тассо постоянно бранил высокопоставленных лиц, а сам всю жизнь пресмыкался перед ними и жил при дворе. Кардано сам обвинял себя во лжи, злословии и страсти к игре. Руссо, щеголявший своими возвышенными чувствами, выказал полную неблагодарность к осыпавшей его благодеяниями женщине, бросал на произвол судьбы своих детей, часто клеветал на других и на самого себя и трижды сделался вероотступником, отрекшись сначала от католицизма, потом от протестантства и, наконец, – что всего хуже – от религии философов.

Свифт, будучи духовным лицом, издевается над религией и пишет циничную поэму о любовных похождениях Страфона и Хлои; считаясь демагогом, предлагает простолюдинам отдавать своих детей на убой для приготовления из их мяса лакомых блюд аристократам и, несмотря на свою гордость, доходившую до бреда, охотно проводит время в тавернах среди подонков общества. Ленау, до фанатизма увлекавшийся учением Савонаролы, является циническим скептиком в своих "Aibigesi" и, сознавая в этой непоследовательности, сам же смеется над ним.

Шопенгауэр восставал против женщин и в то же время был их горячим поклонником; проповедовал блаженство небытия, *нирваны*, а себе предсказал более ста лет жизни; требовал справедливости к себе и радовался, когда Мошотт подвергся преследованиям.

2) Здоровый гениальный человек сознает свою силу, знает себе цену и потому не унижается до полного равенства со всеми; но зато у него не бывает и тени того болезненного тщеславия, той чудовищной гордости, которая снedaет психически ненормальных гениев и делает их способными на всякие абсурды.

Тассо и Кардано часто намекали на то, что их вдохновляет сам Бог, а Магомет высказывал это открыто, вследствие чего малейшую критику своих мнений они считали чуть не преступлением. Кардано писал о себе: "Природа моя выше обыкновенной человеческой субстанции и приближается к

бессмертным духам". О Ньюtone говорили, что он способен был убить каждого, кто критиковал его произведения. Руссо полагал, что не только все люди, но даже все стихии в заговоре против него. Может быть, именно гордость заставляла этих злополучных гениев избегать общения с людьми. Свифт, издевавшийся над министрами в своих катирах, писал одной герцогине, изъявившей желание с ним познакомиться, что чем выше положение лиц, его окружающих, тем более они должны унижаться перед ним. Ленау унаследовал от матери гордость патриция и во время бреда воображал себя королем Венгрии. Везелий, потерявший рассудок на 39-м году жизни, сначала собирался устроить банк и сам фабриковал для него билеты, но потом вообразил себя Богом и даже свои сочинения печатал под заглавием "Opera Dei Vezelii" ("Произведения Бога Везелия").

Шопенгауэр не раз упоминает в своих письмах о чьем-то намерении поставить его портрет в особо устроенной часовне, точно святую икону.

3) Некоторые из этих несчастных обнаруживали неестественное, слишком раннее развитие гениальных способностей. Так, например, Тассо начал говорить, когда ему было только 6 месяцев, а в 7 лет уже знал латинский язык. Ленау, будучи ребенком, импровизировал потрясавшие слушателей проповеди и прекрасно играл на флейте и на скрипке. Восемилетнему Кардано являлся гений и вдохновлял его. Ампер в 13 лет уже был хорошим математиком. Паскаль в 10 лет придумал теорию акустики, основываясь на звуках, производимых тарелками, когда их расставляют на столе, а в 15 лет написал знаменитый трактат о конических сечениях. Четырехлетний Галлер уже проповедовал, и с 5 лет со страстью читал книги.

4) Многие из них чрезвычайно злоупотребляли наркотическими веществами и спиртными напитками. Так, Галлер поглощал громадное количество опия, а Руссо – кофе; Тассо был известный пьяница, подобно современным поэтам: Клейсту, Жерар де Нервалю, Мюссе, Мюрже, Майлату, Прага, Ровани и оригинальнейшему китайскому поэту Ло Тай Ке, даже получившему название "поэта-пьяницы", так как он почерпал свое вдохновение только в алкоголе и умер вследствие злоупотребления им. Асне писал не иначе, как со стаканом вина перед собою, и допился до белой горячки, которая свела его в могилу. Ленау в последние годы жизни тоже употреблял слишком много вина, кофе и табаку. Бодлер прибегал к опьянению опиумом, вином и табаком. Кардано сам сознавался в злоупотреблении спиртными напитками, а Свифт был ревностным посетителем лондонских таверн. По,

Ленау, Соути и Гофман страдали запоем.

5) Почти у всех этих великих людей были какие-нибудь ненормальности в отправлениях половой системы. Тассо вел чрезвычайно развратную жизнь до 38 лет, а потом совершенно целомудренную. Кардано, напротив, смолоду страдал бессилием, но в 35 лет начал развратничать.

Паскаль в молодости давал полную волю своей чувственности, но потом считал безнравственным даже поцелуй матери. Руссо страдал гипоспадией и сперматореей. Ньютон и Карл XII, как говорят, никогда не приносили жертв Венере Афродите. Ленау писал о себе: "У меня есть печальная уверенность, что я неспособен к супружеской жизни".

6) Они не чувствовали потребности работать спокойно в тиши своего кабинета, а, напротив, как будто не могли усидеть на одном месте и должны были путешествовать постоянно. Ленау переезжает из Вены в Штокерау, оттуда в Гмунден и, наконец, эмигрирует в Америку. "Я чувствую необходимость как можно чаще перемещать место жительства, – пишет он, – это мне освежает кровь".

Тассо странствовал постоянно; из Феррары он отправлялся то в Урбино, то в Мантую, Неаполь, Париж, Бергамо, Рим или Турин. По приводил в отчаяние репортеров тем, что переезжал то и дело из Бостона в Нью-Йорк, из Ричмонда в Филадельфию, Балтимор и пр.

Руссо, Кардано и Челлини жили то в Турине, то в Болонье, то в Париже, то во Флоренции или в Риме. "Перемена места составляет для меня потребность, – говорил Руссо, – весною и летом я не могу пробыть в одной и той же местности более двух или трех дней, а если мне нельзя уехать, то я делаюсь болен".

7) Не менее часто меняли они также свои профессии и специальности, точно мощный гений их не мог удовольствоваться одной какой-нибудь наукой и вполне в ней выразиться.* Свифт кроме сатир, писал еще о мануфактурах в Ирландии, занимался теологией, политикой и составил исторический очерк царствования королевы Анны. Кардано был в одно и то же время математиком, врачом, теологом и беллетристом. Руссо брался за всевозможные профессии. Гофман служил в судебном ведомстве, рисовал карикатуры, занимался музыкой, был драматургом и писал романы. Тассо, а также впоследствии Гоголь перепробовал все роды поэзии эпической, драматической и дидактической; первый писал еще статьи по истории, философии и политике. Ампер, с

детства владевший и кистью и смычком, был в то же время лингвистом, натуралистом, физиком и метафизиком. Ньютон и Паскаль в периоды умопомрачения оставляли свою специальность (физику) и занимались теологией. Галлер писал о поэзии, теологии, ботанике, практической медицине, физиологии, нумизматике, восточных языках, патологической анатомии и хирургии и даже изучал математику под руководством Бернулли. Ленау занимался медициной, земледелием, юридическими науками, поэзией и теологией. Уолт Уитмен, современный англо-американский поэт, несомненно, принадлежащий к числу помешанных гениев, был типографщиком, учителем, солдатом, плотником и некоторое время даже чиновником – занятие, совсем уже не подходящее для поэта. Американец же По занимался физикой и математикой.

* Из 45 сумасшедших писателей, цитируемых Филомнестом, 15 человек занимались поэзией, 12 – теологией, 5 – писали пророчества, 3 – автобиографии, 2 – занимались математикой, 2 – психиатрией, 2 – политикой.

Причина преобладания поэтического творчества указана нами выше; напомним, кстати, что маттоиды отдают, напротив, предпочтение теологии, философии и др. отвлеченным наукам.

8) Подобные сильные, увлекающиеся умы являются настоящими пионерами науки; они страстно предаются ей и с жадностью берутся за разрешение труднейших вопросов, как наиболее подходящих, может быть, для их болезненно возбужденной энергии; в каждой науке они умеют уловить новые выдающиеся черты и на основании их строят нелепые иногда выводы, отчасти приближаясь таким образом к рассмотренному уже нами типу поэтов и художников дома умалишенных, характерную особенность которых составляет оригинальность, доведенная до абсурда. Так, Ампер всегда брался в математике за разрешение труднейших задач, "отыскивал пропасти", по выражению Араго. Руссо в "Devin du Village" ("Деревенский колдун") пытался создать "музыку будущего", воплощенную потом в своих композициях другим гениальным безумцем – Шуманом. Свифт говорил обыкновенно, что чувствует себя в хорошем настроении только тогда, когда ему приходится рассуждать о самых трудных и наиболее чуждых его специальности вопросах. И действительно, читая его письмо "О прислуге", можно подумать, что оно написано именно слугой, а уж никак не теологом и публицистом. Точно так же в "Исповеди вора" он до того правдиво изобразил похождения одного из них, что товарищи его сочли нужным сознаться в сделанных ими преступлениях, думая, что глава их шайки выдал все свои

тайны. А когда Свифт вздумал прикинуться католиком, то своими проповедями обманул даже римских инквизиторов, этих завзятых мошенников.

Уолт Уитмен создал свое особое стихосложение без рифмы и размера, которое англосаксонцы считают "поэзией будущего". В настоящем же она кажется нелепой и странной при всей своей оригинальности.

Произведения По, по словам одного из его поклонников (Бодлера), как будто и созданы лишь с целью доказать, что странность составляет существенную часть прекрасного; они собраны им под общим заглавием "Арабески и гротески" на том основании, что в них нет человеческих типов, они составляют как бы внечеловеческий род литературных произведений. Напомним здесь кстати, что сумасшедшие артисты тоже обнаруживают склонность к арабескам, но только у них в арабески входят и человеческие лица.

Сам Бодлер тоже придумал немало курьезов, например поклонение искусственной красоте, поэтические аналогии для различных ароматических веществ, и создал так называемые поэмы в прозе.

9) У всех этих поврежденных гениев есть свой особый стиль – страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их от других здоровых писателей и свойственный им, может быть, именно потому, что он вырабатывается только под влиянием психоза. Предположение это подтверждается и собственным признанием таких гениев, что все они по окончании экстаза не способны не только сочинять, но даже мыслить. Тассо говорит в одном из своих писем: "Я несчастлив и недоволен всегда, но в особенности, когда сочиняю". "Мысли у меня рождаются с трудом, – признавался Руссо, – развитие их идет медленно, туго, и я могу быть красноречивым только в минуты страсти". Живые, пламенные вступления к статьям Кардано, столь не похожие на обычный крайне монотонный язык его сочинений, наглядно подтверждают громадную разницу в мышлении его при начале и в конце экстаза. Галлер, один из наиболее счастливых поэтов, говорил, что вся сущность поэтического искусства заключается в его трудности. Восемнадцатое из своих "Провинциальных писем" Паскаль переделывал тринадцать раз.

Может быть, именно это сходство в натуре и в стиле влекло Свифта и Руссо к произведениям Тассо, а Галлеру, суровому Галлеру, внушало симпатию к фантастическим и в высшей степени безнравственным сочинениям Свифта. По той же причине Ампер восторгался странностями Руссо, а Бодлер подражал По, сочинения которого даже перевел на

французский язык, и боготворил Гофмана.

10) Почти все они глубоко страдали от религиозных сомнений, которые невольно представлялись их уму, между тем как робкая совесть и больное сердце заставляли считать такие сомнения преступлениями. Тассо, например, мучился от одного только опасения, что он еретик. Ампер часто говорил, что сомнения – самая ужасная пытка для человека. Галлер писал в своем дневнике: "Боже мой! пошли мне хотя одну каплю веры; разум мой верит в тебя, но сердце не разделяет этой веры – вот в чем мое преступление". Ленау жаловался в последние годы своей жизни: "В те часы, когда у меня особенно сильно развивается болезнь сердца, мысль о Боге оставляет меня". По мнению критиков, он воплотил мучившие его сомнения в герое своей поэмы "Савонарола".

11) Затем все психически больные гении без исключения чрезвычайно много занимаются своим собственным я и с намерением выставляют на вид свое ненормальное состояние, как будто стараясь этим признанием оправдать свои нелепые поступки.

Очень естественно, что при своем громадном уме и замечательной наблюдательности они наконец убеждались в своей ненормальности и глубоко страдали от этого. Все люди охотно говорят о себе, но в особенности – помешанные, которые в этом случае делают положительно красноречивыми (подобный пример мы увидим в приложении – автобиография помешанного); но какой же силы должно достигать это красноречие, когда к безумию присоединяется гениальность! Жгучие, пламенные страницы выливаются у таких писателей, едва только они заговорят о своих страданиях; настоящие перлы френопатической поэзии выходят иногда из-под их пера, но зачастую крупная личность злополучного автора выставляется при этом в далеко не выгодном свете. Кардано написал, кроме своей автобиографии, несколько поэм, сюжетом которых служат его несчастья, и статью "О сновидениях", почти исключительно наполненную только описаниями виденных им снов и представлявшихся ему галлюцинаций. Поэмы Уитмена – не что иное, как его собственная биография, изложенная стихами, что он и сам подтвердил отчасти, сказав: "Тема для гимна взята маленькая, но она же и самая большая... я сам". В этом гимне описывается ребенок, которому достаточно было увидеть что-нибудь – облако, овцу, камень, пьяных, стариков, чтобы тотчас же вообразить и себя самым облаком, камнем и пр. Этот ребенок и есть сам Уитмен. Руссо в своей "Исповеди", "Диалогах" и "Rêveries", как Мюссе в "Признаниях", а Гофман в своем "Крейслере"*, в

сущности только описывали самих себя и свое безумие.

* Подобно Гофману, Крейслер поглощен какими-то сумасбродными идеалами, вечно враждует с действительностью и кончает сумасшествием.

То же самое говорит Бодлер и о рассказах По: "Темой для них он брал всегда исключительные случаи в жизни человека, например галлюцинации, сначала смутные, неопределенные, но мало-помалу принимающие характер несомненных фактов: нелепые понятия, овладевшие умом и сообщившие мышлению свою дикую логику; припадки истерии, совершенно поработившие волю, противоречия между настроением и рассудком, доходящие до того, что страдание выражается смехом".

Паскаль, утверждавший, что христианство уничтожает личность, не в состоянии был написать своей автобиографии вследствие своей преувеличенной, болезненной скромности; однако он описал свои галлюцинации в "Амulette", а в "Мыслях" выразил чисто субъективные взгляды и убеждения, несмотря на все старание быть объективным... Так, он, конечно, намекает на самого себя, когда говорит, что "великая гениальность близко граничит с сумасшествием и умопомешательство до такой степени распространено между людьми, что замешавшийся среди них здравомыслящий человек представлял бы своего рода ненормальное явление". Или два следующих его изречения: "Болезни всегда извращают наши суждения и чувства, не только серьезные, оказывающие более заметное действие, но и самые ничтожные, влияющие лишь в слабой степени". "Хотя у гениальных людей голова находится выше, чем у простых смертных, однако ноги у них ниже, поэтому те и другие находятся на одном уровне: гении так же ищут точки опоры на земной коре, как и все мы, не исключая детей и даже бессловесных животных".

Галлер, тщательно записывавший в дневнике свой религиозный бред, признавался в том, что он по временам считает себя "глупым, сумасшедшим, гонимым Богом и не возбуждающим в людях ничего, кроме насмешек и презрения" и что ему не раз случалось менять свои убеждения в течение суток.

Свифт подробно, день за днем, описывал свою жизнь в сочинении, озаглавленном "Письма к очень молоденькой леди", и указывает на свое умопомешательство в таких весьма недвусмысленных выражениях:

От всего человеческого тела поднимаются испарения,

идушие к мозгу: если они не слишком обильны, человек остается здравомыслящим; если же их слишком много, то они вызывают в нем экзальтацию и превращают его в философа, политика или основателя новой религии, т.е. в помешанного. Поэтому я нахожу несправедливым заключать всех сумасшедших в Бедлам. Следовало бы назначить комиссию, которая сортировала бы их для того, чтобы эти гении, изнывающие теперь в больнице, могли быть полезны обществу: например тех, кто страдает эротическим помешательством, следовало бы помещать в дома терпимости, бешеных – отдавать в солдаты и пр. Я сам принадлежу также к числу помешанных: фантазия у меня часто разыгрывается до такой степени, что разум уже не в состоянии сдерживать ее; вот почему друзья мои оставляют меня одного лишь в том случае, если я обещаю им дать своим мыслям иное направление.

Летцман, выбросившийся потом из окна, написал знаменитый "Дневник меланхолика", а Майлат изобразил свои страдания в романе "Самоубийца" и вслед затем утопился вместе со своей сестрой, которой был посвящен этот роман. Тассо очень верно описывал свое умопомешательство в письме к герцогу Урбино в приведенной выше октаве. Впрочем, он, еще и не будучи маньяком, высказывал о себе такого рода странные суждения.

Я не отрицаю в себе сумасшествия, – писал он, – но утешаю себя тем, что оно вызвано пьянством и любовью, так как действительно я пью жестоко"... и т.д.

Вообще очень многие беллетристы избирали душевнобольных героями своих произведений или занимались подробным анализом ненормальных проявлений психической деятельности. Барбара написал роман "Поврежденные". Бустон описал свои галлюцинации. Алликс, не будучи медиком, сочинил трактат о лечении сумасшедших. Ленау, за 12 лет до полного развития своей душевной болезни, предчувствовал, что будет страдать ею, и описывал ее припадки. Во всех его поэмах постоянно звучат страдальческие ноты мрачного умопомешательства, о чем можно судить уже по заглавиям его лирических произведений: "К меланхолику", "К ипохондрику", "Сумасшедший", "Душевнобольные", "Сила сновидений", "Луна меланхолика" и пр.

Вряд ли даже в самых мрачных местах произведений Ортиса найдутся такие потрясающие картины мучительного состояния самоубийц, как в этом отрывке из поэмы "Душевнобольные":

У меня в сердце зияет глубокая рана, и я безмолвно буду переносить свои страдания до самой смерти – жизнь моя уходит с каждым часом. Только одна женщина могла бы облегчить мои муки, только на ее груди я мог найти отраду. Но эта женщина покоится в могиле... О, мать моя! сжался над моими страданиями! Если твоя любовь бодрствует надо мною и после твоей смерти, если ты еще в состоянии заботиться о твоём сыне... о, помоги мне поскорее расстаться с этой жизнью! Я так жажду смерти! Постарайся, чтобы твой измученный страданиями сын избавился наконец от них.

В "Силе сновидений", как мы уже говорили, с потрясающей правдивостью изображены галлюцинации, сопровождающие первые приступы той формы помешательства, при которой всегда развивается страсть к самоубийству; читатель как бы слышит бессвязный, отрывочный лепет, переходящий затем в бред и служащий предвестником наступления паралича. Вот отрывок из этого сочинения:

Видение было до того ужасно, дико, страшно, что хотелось бы считать его только сном... но я продолжал плакать и чувствовал биение своего сердца, а когда проснулся, то увидел, что простыня и подушка моя смочены слезами... Может быть, я во сне схватил простыню и вытер ею лицо?.. Не знаю... Пока я спал, враги мои пировали здесь... Теперь эти дикари удалились, их нет, но следы их посещения я нахожу в моих слезах. Они убежали и оставили на столе вино.

Впрочем, еще гораздо раньше, в Albigesi, Ленау высказывал свой взгляд на сны как на что-то ужасное. Страшной мощью обладают иногда сновидения, – говорит он, – они волнуют, мучат, потрясают, грозят и, если спящий не проснется вовремя... в одно мгновение ока превращают его в труп.

12) Главные признаки ненормальности этих великих людей выражаются уже в самом строении их устной и письменной речи, в нелогических выводах, в нелепых противоречиях и в уродливой фантастичности. Разве Сократ, гениальный мыслитель, предугадавший христианскую мораль и еврейский монотеизм, не был сумасшедшим, когда руководствовался в своих поступках голосом и указаниями своего воображаемого гения или даже просто чиханием? А что сказать о Кардано, о том самом, который предупредил Ньютона в открытии законов тяготения, затем в своей книге "De Subtilitate" сам приписывал галлюцинациям дикие выходки бесноватых и прорицания некоторых монахов-отшельников и в то же время объяснял участием какого-то Духа не только свои научные открытия, но даже треск доски у письменного стола и дрожание пера в своих руках! Далее, чему, кроме помешательства, можно приписать его

собственное признание, что он несколько раз бывал одержим бесом, и написанную им книгу "О сновидениях", несомненно свидетельствующую о ненормальном состоянии умственных способностей ее автора? Сначала он высказывает в ней довольно верные наблюдения. относительно того, что сильные физические страдания оказывают менее энергичное влияние на сновидения, чем легкие, – факт, подтвержденный в последнее время психиатрами, заметившими, что у сумасшедших особенно развивается способность видеть сны; далее он указывает на то, что во сне, точно на театральной сцене, в короткий промежуток времени развивается целая масса событий, и делает совершенно верное замечание, что предметом сновидений бывают случаи или аналогичные обычным представлениям человека, или же совершенно противоположные им. Но после стольких чисто гениальных черт Кардано вдруг начинает развивать самую нелепую теорию сновидений, высказывает взгляды, как будто заимствованные у невежественных простолюдинов, вроде того, например, что сны всегда служат предсказаниями относительно будущего, более или менее отдаленного, а потом с полным убеждением составляет курьезнейший словарь снов, – совершенное подобие тех "снотолкователей", которыми утешается в часы досуга простой народ, эксплуатируемый разными невеждами. В этом чисто патологическом произведении все, что человек видит или слышит во сне, приведено в известное соотношение с явлениями действительной жизни и на каждый случай дано особое толкование. Так, приснившийся отец означает встречу с сыном, мужем или начальником; ноги служат символом фундамента рабочих; лошадь означает бегство, богатство, жену и т.д. Чаще всего аналогия обуславливается не понятиями (например, что общего между врачом и башмачником, а между тем видеть во сне первого предвещает свидание со вторым, и наоборот!), а просто даже созвучием слов: напр. *Orior* (рождаться) и *Morior* (умирать) должны означать одно и то же, потому что "*una tantum litera cum differantur, vicissim, unum in alium transit*".* Об одном господине, страдавшем каменной болезнью, Кардано говорит, что когда ему снились кушанья, то это предвещало облегчение болезни; если же вещества несъедобные, то – усиление страданий, и объясняет это тем, что "*cibos enim ac dolores degustare dicimus*", т. е. вкусовое ощущение может смягчить ощущение боли, как будто природа в самом деле занимается игрою слов на латинском языке! Когда подумаешь, что такие абсурды высказывал врач, пользовавшийся известностью и сделавший немало важных научных открытий, то невольно проникаешься состраданием к бедному человеческому разуму!

* "Они различаются только на одну букву и потому близко

подходят одно к другому".

А Ньютон, великий Ньютон, взвесивший все миры во вселенной посредством одного только вычисления, разве не находился в состоянии невменяемости, когда вздумал сочинять толкования на Апокалипсис или когда писал Бентлею:

Закон тяготения отлично объясняет удлиненную орбиту комет; что же касается почти круговой орбиты планет, то нет никакой возможности уяснить себе удлинение ее в одну сторону, и потому она могла быть произведена только самим Богом.

Араго совершенно справедливо находит такой способ доказательства научных истин по меньшей мере странным!

И однако же в своем сочинении "Оптика" Ньютон сам восстает против тех исследователей, которые, по примеру последователей Аристотеля, допускают существование в материи каких-то таинственных свойств и через это без всякой пользы для науки задерживают изыскания исследователей природы. И действительно, только сто лет спустя Лаплас нашел верное решение задачи, не дававшейся Ньютону, и тем наглядно доказал нелогичность сделанного им предположения.

Ампер был глубоко убежден в том, что ему удалось найти квадратуру круга.

Паскаль, изучавший некогда законы теории вероятностей, верил, что прикосновение к реликвиям излечивает слезную фистулу, и заявил об этом в одном из своих сочинений. Вследствие своей мании ко всему первобытному Руссо дошел наконец до того, что видел идеал человека в дикаре и считал безвредным все естественные произведения, приятные для глаз и вкуса, так что мышьяк, по его мнению, должен был считаться совершенно неядовитым. Жизнь Руссо представляет целый ряд противоречий и непоследовательностей: он любил деревенские поля, а жил преимущественно в городе; написал трактат о воспитании, а своих или почти своих детей отдавал в воспитательный дом; с разумным скептицизмом относился к религиям и прибегал к гаданию, чтобы узнать будущее; писал самому Богу и письма клал под алтари церквей, как будто предполагая, что именно там и есть исключительное местопребывание Божества!

Бодлер, находивший высокое в *искусственности*, сравнивал ее с "румянами и белилами, придающими особую прелесть красавице", и конечно в припадке настоящего бреда описал

свой геологический пейзаж, без воды и растительности. "Все в нем сурово, гладко, блестяще, – говорит он, – все холодно и мрачно; и посреди этого вечного безмолвия сапфир лежал в золотоносной жиле, точно античное зеркало в золотой оправе". Он же считал латинский язык времен упадка Рима своим идеалом, *как единственный язык, хорошо выражающий страсть*, и до того обожал кошек, что даже посвятил им три оды.

Гайм назвал философию Шопенгауэра "чрезвычайно живым и умно рассказанным сновидением", а характер его – олицетворением непоследовательности. Уолт Уитмен, без сомнения, был в ненормальном состоянии, когда писал, что одинаково относится к обвиняемым и обвинителям, к судьям и преступникам; когда в своих поэмах высказывал, что считает добродетельной только одну женщину... куртизанку, а также когда выражал свои материалистические воззрения на местопребывание души...

Ленау в своей "Луне меланхолика" приписывает самые ужасные свойства этому безобидному спутнику земли. Наперекор всем поэтам, он называет луну "холодной, лишенной воздуха и воды" и уподобляет ее "могильщику планет". По его мнению, "она серебристой нитью опутывает спящих и уводит их к смерти, а своим лучом очаровывает сомнамбул и дает указания ворами". Кроме того, Ленау, в молодости не раз писавший, что "мистицизм есть признак сумасшествия", сам очень часто являлся мистиком, особенно в своих последних песнях.

В Коране нет ни одной главы, которая не противоречила бы всем остальным, – даже в одной и той же суре высказываются мысли, исключаящие одна другую.

О Свифте Аддисон сказал, что он является настоящим помешанным в некоторых из своих произведений, не говоря уже о его ненормальном пристрастии к абсурдам; так, например, когда он описывает математика, заставляющего ученика своего глотать задачи, или экономиста, дистиллирующего экскременты, или когда делает предложение народу питаться мясом маленьких детей.

Относительно великих писателей-алкоголиков я заметил, что у них есть свой особый стиль, характерным отличием которого служит холодный эротизм, обилие резкостей и неровность тона вследствие полной разнузданности фантазии, слишком уж быстро переходящей от самой мрачной меланхолии к самой неприличной веселости. Кроме того, они обнаруживают большую склонность описывать сумасшедших, пьяниц и самые мрачные сцены смерти.

Бодлер пишет о По:

Он любит выставлять свои фигуры на зеленоватом или синеватом фоне при фосфорическом свете гниющих веществ, под шум оргий и завываний бури; он описывает смешное и ужасное из любви к тому и другому.

О самом Бодлере можно сказать, что у него тоже заметно пристрастие к подобным сюжетам и к описанию действий алкоголя и опия.

Несчастный Прага, умерший вследствие хронического отравления алкоголем, часто воспевал вино, пьяниц и пр.

Живописец Стен, страдавший запоем, постоянно рисовал пьяниц. У Гофмана рисунки переходили обыкновенно в карикатуры, повести – в описание неестественных эксцентричностей, а музыкальные композиции – в какофонию.

Мюссе прибегал к вычурным уподоблениям, как, например, в описании мадридских красавиц:

Sous un col de eigne
Un sein vierge et doré comme la jeune vigne.

Под лебединой шеей девственная золотистая грудь,
точно молодая виноградная лоза.)

Мюрже воспевал женщин с зелеными губами и желтыми щеками, хотя у него это было, вероятно, следствием своего рода дальтонизма, вызванного пьянством, что, как мы видели, особенно резко выражается у живописцев.

13) Почти все поврежденные гении придавали большое значение своим сновидениям, которые у них отличались такой живостью и определенностью, какой никогда не имеют сны здоровых людей. Это особенно заметно у Кардано, Ленау, Тассо, Сократа и Паскаля.

14) Многие из них обладали чрезвычайно большим черепом, но неправильной формы; кроме того, у них, как и у сумасшедших, вскрытие часто обнаруживало серьезные повреждения нервных центров. У Паскаля мозговое вещество оказалось тверже нормального и нагноение в левой доле. При вскрытии черепа Руссо была констатирована водянка желудочков. Череп Вильмена представлял такое ненормальное устройство (крайне удлиненный, сплюснутый спереди, с сильным развитием лобных пазух), что когда я увидел его в первый раз в парижском институте, то невольно

обратил на него внимание и сказал своему спутнику, что человек с такой головой непременно должен страдать душевной болезнью. У Байрона, Фосколо и вообще у гениальных, но отличавшихся большими странностями людей замечено преждевременное отвердение черепных швов. Шуман умер от воспаления мозговой оболочки (менингита) и атрофии мозга.

15) Но самым выдающимся признаком ненормальности рассматриваемых нами гениев служит, как мне кажется, крайне преувеличенное проявление тех двух перемежающихся состояний – экстаза и атонии, возбуждения и упадка умственных сил, которые до известной степени заметны почти у всех великих мыслителей, даже у совершенно здоровых, и составляют, в сущности, чисто физиологическое явление. Но здесь оно принимало уже патологический характер, вследствие чего "поврежденные" гении истолковывали его вкривь и вкось, приписывая то благодетельному, то враждебному влиянию посторонних, чаще всего сверхъестественных сил. Руссо так описывает себя в состоянии атонии: "Ленивый, приходящий в ужас от всякого труда ум и желчный, раздражительный, живо чувствующий каждую неприятность темперамент, – казалось бы, что две такие противоположности не могут совместиться в одном субъекте, а между тем они составляют основу моего характера". При таком мрачном взгляде на свои способности период возбуждения, подъем духа казался Руссо чем-то чуждым его собственной природе, подобно тому как люди невежественные всегда объясняют посторонним влиянием каждое изменение своего я. Тассо даже анализирует свойство своего вдохновителя – духа, демона или гения. "Это не может быть дьявол, – говорит он, – потому что он не внушает мне отвращения к священным предметам; но это также и не простой смертный, так как он вызывает у меня идеи, прежде никогда не приходившие мне в голову". Дух сообщал Кардано сведения о невозможном мире, давал советы и вдохновлял его; точно так же дух помог Тартини написать сонату, а Магомету диктовал целые страницы Корана. Ван Гельмонт уверял, что дух являлся ему во всех важных случаях жизни и один раз, в 1633 году, он увидел даже свою собственную душу в форме блестящего кристалла. Скульптор Блэк часто удалялся на берег моря, чтобы вести там беседы с Моисеем, Гомером, Вергилием и Мильтоном, своими старинными знакомыми, итак описывал их внешность: "Это тени, величественные, суровые, но светлые и ростом гораздо выше обыкновенных людей". Сократу во всех его делах тоже помогал гений, которого он считал для себя полезнее десяти тысяч учителей и часто пользовался его указаниями, чтобы предупреждать друзей своих, как им следует поступить в том или другом случае. Палестрина

пытался выразить в своих композициях те песни, которые пел ему невидимый ангел.

Вообще, яркий, образный слог и полная уверенность, с какою описывались разные фантастические случаи и нелепые бредни, вроде академии лилипутов или ужасов тартара, заставляют предполагать, что авторы видели перед собою все такие картины вполне отчетливо, ясно, как в припадке галлюцинаций, и что, следовательно, вдохновение и безумный бред сливались у них в одно нераздельное целое.

Для некоторых из них, как, например, для Лютера, Магомета, Савонаролы, Молиноса, а в наше время для главы восставших тайпинов, это ложное истолкование причины своего экстаза было чрезвычайно полезно в том отношении, что придавало их речам и предсказаниям ту нераздельную с глубокой верой в истинность своего учения убедительность, которая так обаятельно действует на простой народ, увлекая и потрясая его до глубины души. В этом отношении между помешанными гениями и самыми дюжинными маттоидами нет существенной разницы.

С другой стороны, когда веселость и вдохновенный экстаз сменялись мрачным, меланхолическим настроением, то эти несчастные великие люди прибегали к еще более странным измышлениям, чтобы объяснить свое тяжелое состояние: одни из них приписывали его отраве, как, например, Кардано; другие, подобно Галлеру и Амперу, считали себя обреченными на вечные муки или преследуемыми целым сонмом озлобленных врагов, в чем были убеждены Ньютон, Свифт, Бартец, Кардано и Руссо. Далее, все они признавали религиозное сомнение, западающее в ум совершенно против воли и наперекор чувству, таким ужасным преступлением, что опасение подвергнуться ответственности за него являлось для них источником новых величайших страданий.

XII ОСОБЕННОСТИ ГЕНИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ

Чезаре Ломброзо

Заключение

Теперь спросим себя, возможно ли на основании вышеизложенных фактов прийти к заключению, что гениальность вообще есть не что иное, как невроз, умопомешательство? Нет, такое заключение было бы ошибочным. Правда, в бурной и тревожной жизни гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют большое сходство с помешанными, и в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например усиленная чувствительность, экзальтация,

сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная рассеянность и склонность к самоубийству,* а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное тщеславие. Правда, в числе гениальных людей были и есть помешанные, точно так же, как и между этими последними бывали субъекты, у которых болезнь вызвала проблески гения; но вывести из этого заключение, что все гениальные личности непременно должны быть помешанными, значило бы впасть в громадное заблуждение и повторить, только в ином смысле, ошибочный вывод дикарей, считающих боговдохновенными людьми всех сумасшедших. Поясню эту мысль примером: у нас в Италии есть хореик слепец Пучинотти, подражающий в своих хореических движениях манипуляциям человека, играющего на скрипке. Если бы кто-нибудь вздумал сопоставить этот случай с тем фактом, что в числе хороших скрипачей есть много слепых, и на основании его сделал вывод, что все искусство скрипичной игры обуславливается сопровождающейся хореическими движениями болезнью, то, конечно, этот вывод оказался бы совершенно ложным. Очень может быть, что хорея придает большую подвижность рукам играющего или что она даже развивается у него вследствие постоянного повторения известных движений, но все же из этого еще нельзя заключить о полном сходстве между хореиком и скрипачом.

* Гениальные люди дают огромный процент самоубийц, начиная с древнейшего периода истории и кончая нашим временем. Интересно проследить поводы к самоубийству: Доминикино лишил себя жизни вследствие насмешек соперников, Спальолетто – после похищения своей дочери, Нурри – из зависти к успехам Дюпре и пр. В Италии число самоубийц между художниками достигает 90 на миллион жителей, между литераторами – 618,9, между учащимися – 355,3 – процент более высокий, чем в остальных профессиях.

Если бы гениальность всегда сопровождалась сумасшествием, то как объяснить себе, что Галилей, Кеплер, Колумб, Вольтер, Наполеон, Микеланджело, Кавур, люди несомненно гениальные и притом подвергавшиеся в течение своей жизни самым тяжелым испытаниям, ни разу не обнаруживали признаков умопомешательства?

Кроме того, гениальность проявляется обыкновенно гораздо раньше сумасшествия, которое по большей части достигает максимального развития лишь после 35-летнего возраста, тогда как гениальность обнаруживается еще с

детства, а в молодые годы является уже с полной силой: Александр Македонский был на вершине своей славы в 20 лет, Карл Великий – в 30 лет, Карл XII – в 18, Д'Аламбер и Бонапарт – в 26 (Рибо).

Далее, между тем как сумасшествие чаще всех других болезней передается по наследству и притом усиливается с каждым новым поколением, так что краткий припадок бреда, случившийся с предком, переходит у потомка уже в настоящее безумие, гениальность почти всегда умирает вместе с гениальным человеком, и наследственные гениальные способности, особенно у нескольких поколений, составляют редкое исключение. Кроме того, следует заметить, что они передаются чаще потомкам мужского, чем женского пола (о чем мы уже говорили прежде), тогда как умопомешательство признает полную равноправность обоих полов. Положим, гений тоже может заблуждаться, положим, и он всегда отличается оригинальностью; но ни заблуждение, ни оригинальность никогда не доходят у него до полного противоречия с самим собою или до очевидного абсурда, что так часто случается с маттоидами и помешанными.

Если некоторые из этих последних и обнаруживают недюжинные умственные способности, то это лишь в редких сравнительно случаях, и притом ум их всегда односторонен: гораздо чаще мы замечаем у них недостаток усидчивости, прилежания, твердости характера, внимания, аккуратности, памяти – вообще главных качеств гения. И остаются они по большей части всю жизнь одинокими, необщительными, равнодушными или нечувствительными к тому, что волнует род людской, точно их окружает какая-то особенная, им одним принадлежащая атмосфера. Возможно ли сравнивать их с теми великими гениями, которые спокойно и с сознанием собственных сил неуклонно следовали по раз избранному пути к своей высокой цели, не падая духом в несчастиях и не позволяя себе увлечься какой бы то ни было страстью!

Таковы были: Спиноза, Бэкон, Галилей, Данте, Вольтер, Колумб, Макиавелли, Микеланджело и Кавур. Все они отличались сильным, но гармоничным развитием черепа, что доказывало силу их мыслительных способностей, сдерживаемых могучей волей, но ни в одном из них любовь к истине и к красоте не заглушила любви к семье и отечеству. Они никогда не изменяли своим убеждениям и не делали ренегатами, они не уклонялись от своей цели, не бросали раз начатого дела. Сколько настойчивости, энергии, такта выказывали они при выполнении задуманных ими предприятий и какой умеренностью, каким

цельным характером отличались в своей жизни!

А ведь на их долю выпало тоже немало страданий от преследования невежд, им тоже приходилось испытывать и припадки изнеможения, следовавшие за порывами вдохновения, и муки овладевавшего ими сомнения, колебания, но все это ни разу не заставило их свернуть с прямого пути в сторону.

Единственная, излюбленная идея, составлявшая цель и счастье их жизни, всецело овладевала этими великими умами и как бы служила для них путеводной звездой. Для осуществления своей задачи они не щадили никаких усилий, не останавливались ни перед какими препятствиями, всегда оставаясь ясными, спокойными. Ошибки их слишком немногочисленны, чтобы на них стоило указывать, да и те нередко носят такой характер, что у обыкновенных людей они сошли бы за настоящие открытия.

Резюмируя наши положения, мы приходим к следующим выводам: в физиологическом отношении между нормальным состоянием гениального человека и патологическим – помешанного существует немало точек соприкосновения. Между гениальными людьми встречаются помешанные и между сумасшедшими – гении. Но было и есть множество гениальных людей, у которых нельзя отыскать ни малейших признаков умопомешательства, за исключением некоторых ненормальностей в сфере чувствительности.

Хотя мое исследование ограничивается скромными пределами психологических наблюдений, но я надеюсь, что оно может дать солидную экспериментальную точку отправления для критики артистических, литературных и, в некоторых случаях, даже научных произведений. Так, во-первых, оно заставит обратить внимание на чисто патологические признаки: излишнюю тщательность отделки, злоупотребление символами, эпиграфами и аксессуарами, преобладание одного какого-нибудь цвета и преувеличенную погоню за новизной. В литературе и ученых статьях такими же признаками служат претензии на остроумие, излишняя систематизация, стремление говорить о себе, склонность заменять логику эпиграммой, пристрастие к напыщенности в стихах, к созвучиям – в прозе и тоже погоня за оригинальностью. Кроме того, ненормальность этого тона выражается в манере писать библейским языком, короткими периодами с подчеркиваниями или частым употреблением известных слов. Признаюсь, замечая, как много субъектов из так

называемых руководителей общественного мнения отличаются подобными недостатками и как часто юные писатели, берущиеся за разработку серьезных общественных вопросов, ограничиваются при этом одними лишь остротами, как будто заимствованными из дома умалишенных, и пишут коротенькими, отрывистыми фразами библейских изречений, я начинаю бояться за судьбу грядущих поколений.

И наоборот – аналогия, существующая, с одной стороны, между маттоидами и гениями в том отношении, что первым присущи все болезненные свойства последних, а с другой – сходство между здоровыми людьми и маттоидами, которые обыкновенно обладают столь же развитой проницательностью и практическим тактом, должно послужить для людей науки предостережением против излишнего увлечения новыми теориями, особенно расплодившимися теперь в абстрактных или не вполне сложившихся науках, каковы теология, медицина* и философия. Такого рода теории, относящиеся обыкновенно к наиболее интересующим публику вопросам, разрабатываются по большей части людьми, ничего в них не смыслящими, которые вместо серьезных рассуждений, основанных на тщательном и спокойном изучении фактов, наполняют свои сочинения громкими фразами, не идущими к делу примерами, парадоксами и несостоятельными, часто один другому противоречащими доводами, хотя и не лишенными иногда оригинальности. В таком роде пишут по преимуществу именно маттоиды (психопаты) – эти бессознательные шарлатаны, встречающиеся в литературном мире гораздо чаще, чем многие думают...

* Я забыл упомянуть в числе маттоидов приверженцев гомеопатии и вегетарианства; это своего рода сектанты в медицине, проповедующие массы нелепостей под прикрытием многих истин.

Но не одним ученым следует остерегаться подобных теорий; относительно их – и притом в гораздо большей степени – должны быть настороже и государственные люди не только потому, что эти мнимые реформаторы, вдохновляемые исключительно лишь психической болезнью и не встречающие серьезного отпора со стороны критики, могут оказывать известное влияние на окружающих, но еще и в силу того соображения, что всякие преследования, хотя бы и справедливые, раздражают, усиливают помешательство этих людей и превращают безвредный идеологический бред психопата или извращение чувств мономаньяка в активное помешательство, тем более опасное, что при сравнительно ясном уме, настойчивости и

преувеличенном альтруизме психопатов, заставляющем их усердно заниматься общественными делами и лицами, стоящими во главе управления, они преимущественно перед всеми другими сумасшедшими склонны совершать политические убийства.*

* См. IX главу.

Таким образом, мы убеждаемся, что психопаты имеют нечто общее не только с гениями, но, к сожалению, и с темным миром преступления; мы видим, кроме того, что настоящие помешанные отличаются иногда таким выдающимся умом и часто такой необыкновенной энергией, которая невольно заставляет приравнивать их, на время по крайней мере, к гениальным личностям, а в простом народе вызывает сначала изумление, а потом благоговение перед ними.

Подобные факты дают нам новую, надежную точку опоры в борьбе с юристами и судьями, которые, на основании одной только усиленной деятельности мозга, заключают о вменяемости для данного субъекта и о полном отсутствии у него психического расстройства. Вообще, благодаря новейшим исследованиям в области психиатрии, у нас является возможность уяснить себе таинственную сущность гения, его непоследовательность и ошибки, которых не сделал бы самый обыкновенный из простых смертных. Далее, нам становится понятным, каким образом помешанные и маттоиды*, одаренные лишь в слабой степени гениальностью, а то и совсем не имевшие ее (Пассананте, Лазаретти, Дробизиус, Фурье, Фокс), могли оказывать громадное влияние на толпу и нередко даже вызывать политические движения; или каким образом люди, бывшие в одно и то же время и гениями, и помешанными (Магомет, Лютер, Савонарола, Шопенгауэр), нашли в себе силы преодолеть такие препятствия, которые ужаснули бы здравомыслящего человека, – на целые века задержать умственное развитие народов и сделаться основателями если не всех религий, то по крайней мере всех сект, появлявшихся в древнем и новом мире?

* См. главу X и приложения.

Установив такое близкое соотношение между гениальными людьми и помешанными, природа как бы хотела указать нам на нашу обязанность снисходительно относиться к величайшему из человеческих бедствий – сумасшествию и в то же время дать нам предостережение, чтобы мы не слишком увлекались блестящими призраками гениев, многие из которых не только не поднимаются в заоблачные

сферы, но, подобно сверкающим метеорам, вспыхнув однажды, падают очень низко и тонут в массе заблуждений.

**Приложение I (к VII главе)
АВТОБИОГРАФИЯ ПОМЕШАННОГО**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ**

Чезаре Ломброзо

С 1858 по 1859 год я служил привратником у господина Б. В этом же доме жила семья Д., которая мало-помалу так полюбила меня, что предложила давать мне обед, зная, что мне неудобно было готовить его самому. Однажды, проходя по улице Ровелекка, я увидел у отворенной железной лавки девушку, которая покраснела, когда глаза ее встретились с моими. Я же, напротив, остался на этот раз совершенно равнодушным, хотя обыкновенно краснел при всякой встрече, особенно с женщиной. Я догадался, в чем дело, но, возвратясь домой, даже и вида не подал, что придаю этому значение. На следующий день я снова проходил мимо лавки, и та же девушка, по фамилии Ж., опять бросила на меня нежный взгляд, а я по-прежнему остался равнодушным и когда возвращался назад, то даже не посмотрел на нее, хотя она стояла у двери. Несколько времени я избегал встречи с этой особой. Однажды вечером, стоя у ворот, я услышал легкие шаги и, оглянувшись, увидел Ж., которая держала за руку свою маленькую сестру. Девушка обратилась ко мне с вопросом, дома ли г-жа Д., и я отвечал ей, что нет, после чего она поблагодарила меня, многозначительно поклонилась мне, так же как и я ей, и ушла. В это время началась война 1859 года, и у меня не было даже мысли о каких-нибудь связях... Я записался в солдаты... Вскоре нам объявили приказ о выступлении и повезли наш отряд по железной дороге в Комо, где горожане встретили нас криками ура. Едва только мы пришли в казармы, как нас опять собрали и офицер стал вызывать нас поодиночке и раздавать нам деньги, говоря, что сегодня мы получим только половину жалованья. При этом он как-то особенно и даже с презрением смотрел на тех, которые были дурно одеты, чего, по-моему, рассудительный человек не должен бы делать. После раздачи жалованья нам сделали смотр, а потом отвели опять в казарму, где даже не было приготовлено соломы для ночлега. Через неделю из нас составили батальон, в который зачислили и меня вместе с двоими земляками. Батальон этот назначался для пополнения первого полка и был отправлен к озеру Комо. По дороге мы останавливались для отдыха на час или на два в Колико и Морбеньо, где нас встретили с музыкой. После полуночи мы отправились в Сандрио и пробыли там два дня. Дальше я уже забыл теперь в подробности наш маршрут. Помню только, что, когда мы пришли в Кроче-Домини, день был ужасно жаркий, а перед вечером вдруг поднялся такой густой туман, что мы не могли различать друг друга, и стало так холодно, что нам пришлось

кутаться. Это было 10 июля; мы все сильно нуждались в отдыхе после дороги, а между тем не могли заснуть вследствие нестерпимого холода. Мы нарубили ветвей кустарника, росшего по склону горы, и зажгли несколько костров. Мне пришлось стоять на карауле у нашего багажа, и, когда меня пришли сменить, я был еле жив от холода – руки заоченели до того, что я не мог держать ружья, ноги совсем застыли, и я с трудом отогрелся. Между тем занялась заря, мы пошли дальше, и это дало нам возможность согреться окончательно. Остальные подробности нашего путешествия не стану приводить, так как это было бы слишком скучно. Упомяну только о нашем прибытии в Баголино, которое находится неподалеку от Рокка д'Анфо. Там наш отряд должен был следить за действиями неприятельских войск. Вскоре мы узнали, что неприятель приближается к нам и авангард его недалеко. Тотчас же раздался призыв к оружию; но отряд наш остался на месте ожидать неприятельского авангарда, и, когда он приблизился шагов на сто, мы начали бросать в него заранее приготовленными камнями. Я не помню, отвечал ли нам неприятель выстрелами или нет, но мне говорили, что у него было несколько раненых. Узнав, что у нас собрано в этой местности много войска, неприятель удалился, и мы могли отдохнуть. Через неделю после того нас отправили в Лаввеноне, где нам пришлось нести гарнизонную службу. А вскоре и мир был заключен. В конце 1860 года, не зная куда пристроиться, я временно поселился в доме моего дяди. Зимой 1860/61 года я стал искать себе другую квартиру и наконец попал опять к прежнему хозяину, – дела мои пошли довольно хорошо. Я работал также и на Б., почему должен был проходить по улице Ровелекка, хотя мне не хотелось этого делать во избежание некоторых воспоминаний. В это время молодой человек, ухаживавший за Ж., как мне казалось, уже бросил ее. Настал какой-то праздник, и у меня не случилось кофе, который я пил всегда вечером и утром, как только встану; зная, что его можно достать так рано только в лавке Ж. на улице Ровелекка, я пошел туда. Это было в конце осени 1861 года. Мне продала кофе мать Ж., встретившая меня довольно любезно, и я обещал сделаться ее покупателем. Что же касается дочери, то я решил избегать даже мысли о ней. Хотя эта девушка мне нравилась, но я думал, что из нее выйдет плохая хозяйка и что она не сумеет хорошо воспитать детей, как бы мне хотелось; к тому же я не желал жениться на девушке, дурно воспитанной, тем более что любил свободу. Потом я во второй раз зашел в лавку, и со мною обошлись еще лучше прежнего. Когда я пришел в третий раз, обе женщины были возле конторки, но мать закрывала своей тенью дочь, сидевшую около стены. Меня встретили очень любезно. Пока мать отвешивала мне сахар и кофе, я не мог видеть дочери; когда же я спросил мыла,

то мне стало видно ее, и я мог взглянуть ей прямо в лицо. Сделав вид, что хочу поближе посмотреть: то ли мыло мне дали, какое нужно, я тоже приблизился к конторке. На весы был положен кусок мыла средней величины, не слишком большой, не слишком маленький*; дочь, желая сказать что-нибудь, заметила: "Это слишком много", а мать, как будто угадав мои мысли, ответила ей: "Ничего, до дома донесет". Потом они обе засмеялись, и я ушел.

* Заметьте, какую необыкновенную память обнаруживает он даже в мелочных подробностях, относящихся до пункта его помешательства.

Через несколько времени мать сказала мне как-то вечером, что дочь говорила ей, будто я женился; я же ответил, что это неправда и что у меня даже мысли нет о женитьбе, на что она заметила: "Да, да, теперь вы по крайней мере совершенно свободны". В этот раз поклон ее был очень сух, и в последующие мои посещения обращение ее со мной окончательно изменилось к худшему. Она избегала меня и старалась дать мне понять, что не желает моих дальнейших посещений; но я, не обращая внимания на это, притворился ничего не понимающим и продолжал заходить в лавку. Однажды я вышел из дома, когда начало уже смеркаться и накрапывал дождь (это было на первой неделе поста 1862 года), и только что повернул в улицу Ровелекка, как вдруг из лавки выскочила младшая сестра Ж., посмотрела на меня со смехом и поспешно убежала в лавку; я продолжал идти своей дорогой, не спуская в то же время глаз с лавки, и видел, как мать вытолкнула оттуда старшую дочь, которая остановилась на пороге, посмотрела на меня смеясь и сказала: "Ну, что же?" А я, слыша, как мать подстрекает девушек, говоря: "Идите вслед за ним", ласково взглянул на старшую дочь, но ничего не сказал в эту минуту.

Окончив мои занятия в этот вечер, я порешил написать ей записку, чтобы положить конец этим последствиям.*

* Автор, очевидно, придает этому слову своеобразное значение.

Хотя в этот вечер мне нужно было сделать покупки, однако я, чтоб передать ей записку, предпочел пойти в лавку утром, так как знал, что в это время мать бывает там одна. На следующее утро, зайдя в лавку, я уже нашел в ней посетителей; мое появление, должно быть, смутило старуху Ж., потому что она ошиблась, отдавая сдачу какой-то молодой девушке, которая посмотрела на меня, когда уходила. Между тем я подошел ближе, и Ж. подала мне что нужно, причем старалась скрыть свое смущение. Тогда я

вынул записку и, вручая ей, сказал: "Это – старинный счет, просмотрите его на досуге". Я хотел таким образом показать покупателям, что между нами нет каких-нибудь особенных отношений. Взяв записку, Ж. отвечала: "Ах, да-да!" – после чего я ей поклонился, и она сказала мне: "До свиданья!" В продолжение этого дня тысячи мыслей сменились у меня в уме, однако же вечером я сдержал свое слово, как обещал в записке. Вот ее содержание:

Милостивая государыня!

Наши слишком уж явные отношения обязывают меня написать вам несколько строк, чтобы решить наш внутренний вопрос. Если до сих пор я не показывал своей горячей привязанности к вашей дочери, то это не вследствие сомнения в том, что она мне отвечает взаимностью; напротив, я очень уважаю ее осторожность и не подозреваю, чтобы ее расположение к другим было иное, как только родственное. Если мое объяснение будет принято благосклонно, то я ожидаю вашего ответа сегодня в 8 часов вечера. Когда я пройду в это время мимо лавки, то в знак согласия у дверей ее должна стоять ваша дочь; в этом случае я буду знать наверное, что вы удостоите меня каким-нибудь ответом; если же я никого не увижу, то пройду мимо, и все будет забыто. Пишу эти слова с сожалением, что не заслужил внимания той особы, которую я очень уважаю и которая стоит выше меня. Прощайте или пока до свидания в назначенный час.

Вечером около 8 часов я вышел из дома и после небольшой прогулки повернул в улицу Ровелекка. Там я заметил девушку прекрасного роста и молодого человека, стоявших у ворот и смотревших в мою сторону. Я перешел направо, сделал вид, что останавливаюсь, и услышал, как эта девушка сказала: "Да он совсем молокосос!" Я притворился, что не заметил ее внимания,* посмотрел на нее, хотя она была мне совершенно незнакома, и решил идти дальше. У лавки никого не было, а внутрь я не заглянул и, миновав ее, почувствовал большое облегчение.**

* Это слово тоже употреблено в особом значении.

** Влюбленные поймут это чувство, хотя оно сильно преувеличено у Фарина: робость до того была в нем сильна, что заглушила даже любовное влечение, и он обрадовался, когда желанное им свидание не состоялось.

Пройдя всю улицу Ровелекка, я повернул влево и увидел в некотором расстоянии трех особ женского пола, шедших

мне навстречу; шагов за 15 от меня одна из них, – это была дочь Ж., – отделилась от своих подруг, пошла по тротуару и, поравнявшись со мной, посмотрела на меня. Когда все три были шагах в 15 сзади меня, я услышал, как подруга спросила: "Это он?" – и Ж., понизив голос, ответила ей: "Да". А я поспешил домой и лег в постель. Целую неделю я не заглядывал в ту улицу и только вечером на восьмой день прошел мимо лавки Ж., которая уже была заперта, но в комнате у них виднелся свет. Заслышав мои шаги, они погасили огонь, так как отлично знали мою походку (!), хотя я и постарался ее изменить (?!). Когда я проходил мимо их дома, то слышал, как дочь сказала: "Прощай!" Я продолжал идти тем же шагом, но решился сделать последнюю попытку, чтобы положить этому конец. На следующее утро я снова написал письмо и послал его часов в 9 с мальчиком, сказав ему: "Отнеси это письмо в мелочную лавку на улице Ровелекка и передай хозяйке, что оно от одной знакомой ей женщины, которая через меня же просит прислать ответ". Получив письмо, старуха сказала мальчику: "Теперь мне некогда, зайди через полчаса, и я дам тебе ответ". Когда через полчаса посланный вернулся, она подала ему то же самое письмо со словами: "Снеси его обратно и скажи ему "нет", да смотри – не потеряй вложенную тут записку". Когда я развернул письмо, то нашел в нем свою первую записку, потом заплатил мальчику и отпустил его. Взяв оба письма, я перечитал их, думая, что они дурно написаны, однако и после этого чтения могу сказать, что ошибок у меня не было. Тогда мною овладели самые мрачные мысли, но, рассудив, что с моей стороны было бы глупостью даже думать об этом, я изгнал из своего сердца всякое воспоминание и решился не проходить более по той улице. Спустя некоторое время я как бы инстинктивно вздумал пойти туда; мать и дочь стояли у лавки и, завидев меня, принялись смотреть в мою сторону, а когда я поравнялся с ними, сказали: "Он идет сюда".

Из этих последствий я хорошо понял, что она меня любит; я очень страдал, и мысль о таком их поведении вызывала во мне бешенство; поэтому я решился покинуть свое отечество и отправиться в Женеву. Это было во вторник после праздника Троицы в 1862 году. Но и в Женеве меня преследовали те же сторонники Ж., вследствие чего я принужден был вернуться на родину. Так прошло лето, и в конце зимы мои противники, друзья Ж., начали досаждать мне своими преследованиями. Хотя у меня тоже были друзья, но я хранил молчание с ними и даже избегал их, чтобы они не заговорили со мной об этом и не стали подстрекать меня к мести.*

* Вот почему нельзя было найти свидетелей, которые бы подтвердили, что он действительно страдал манией преследования.

Так я терпел до масленицы текущего 1866 года. Однажды мне захотелось послушать оперу, и я пошел в театр. Сначала никто не обратил внимания на мое появление в театральной зале, но через 8 или 10 минут двое молодых людей, сойдя сверху, посмотрели на меня, чтобы удостовериться, точно ли это я; потом, узнав меня, они разделились – один пошел вправо, другой влево, – и, подходя к разным личностям, что-то шептали им на ухо, после чего ушли. Когда кончился первый акт оперы – это была Борджиа, – справа от меня раздались крики: "Чезер! Чезер!", а слева – "Так, так, Чезер", и это продолжалось несколько времени; минуты две или три спустя пришел опять молодой господин, как будто один из прежних двоих, и привел с собою мальчика, который прыгал и смеялся от удовольствия. Он указал мальчику место на скамейке рядом со мною, остававшееся до сих пор незанятым, а сам ушел. Посидев три или четыре минуты, мальчик начал кричать: "Вот он здесь!" При таком нахальстве я готов был наделать глупостей, но, зная, что в настоящую минуту это было бы слишком большой неосторожностью, смолчал и притворился, будто эти оскорбления* относятся не ко мне.

* Подобно тому как Фарина употребляет некоторые слова в особом, ему только понятном смысле, точно так же он по-своему истолковывает слова окружающих, а потом основывает на этих словах представляющиеся ему галлюцинации и бред преследования. Причины того и другого явления одинаковы.

Между тем начался второй акт, и ко мне подсели какие-то крестьяне; самый смысленный из них, сидевший рядом со мной, начал расспрашивать меня о содержании оперы, как будто стараясь вовлечь меня в разговор; но я понял их замыслы и отвечал односложно, чтобы отделаться от них. По окончании оперы я встал первый; тогда мой сосед-крестьянин ударил кулаком по левой руке своего товарища, и тотчас же все поднялись с мест, ничего не говоря, но с намерением последовать за мной. Я кое-как ускользнул от них, но, спустившись с лестницы, заметил в коридоре молодого человека высокого роста, который стоял неподвижно и будто хотел загородить мне дорогу. Однако я успел-таки выскользнуть на улицу. В этот вечер в голове у меня бродили самые безумные мысли и мне хотелось сцепиться с кем-нибудь не на живот, а на смерть. Тут я вспомнил о человеке, ожесточеннее всех преследовавшем меня, – о молодом носильщике,

служившем у старухи Ж., которая была главою заговора, и решился отыскать его. Наступила уже полночь; я отправился совершенно один по улице, называемой Мулли, и в некотором расстоянии увидел трех или четырех парней, в полнейшем безмолвии поджидавших кого-то. У меня явилось подозрение, что среди них находится тот, кого я ищу, и я стал следить за ними, осторожно ступая и скрываясь насколько возможно; но когда я сообразил, что, может быть, им нужно именно меня, они вдруг исчезли, и я их не видел более. Для защиты, в случае нужды, у меня ничего не было, кроме ключа от двери, но я находился в этот вечер в таком настроении, что не побоялся бы никакого силача! Поэтому я направился в полном молчании к салотопенному заводу; постояв немного напротив него, я вдруг услышал шаги с той стороны, откуда сам пришел. Я немножко обождал, – оказалось, что это солдат, который прошел мимо, даже не взглянув на меня. Я в эту минуту был до того склонен видеть во всем тайну, что бросился вслед за ним, но скоро потерял его из виду. Подождав немного, я увидел молодого человека среднего роста, шедшего мне навстречу, но он тоже не посмотрел на меня и, повернув к воротам, скрылся за первой дверью налево. Вокруг меня снова настала полнейшая тишина, и я продолжал стоять на своем посту. Тогда мне пришло в голову, что если тот, кто меня ищет, потребует с помощью свистка ключи от двери у родителей Ж., то я не в состоянии буду выполнить своего намерения, поэтому я пошел домой и лег в постель. Он не заметил моей уловки, и несколько дней все было тихо; но потом он опять появился, а с ним вместе и его товарищи, так что мало-помалу это сделалось невыносимым: не только вечером, но даже в продолжение дня их пение и ругательства не давали мне покоя. Между тем я страдал ужасно, потерял даже аппетит, кашель мучил меня днем и ночью. Нужно заметить, что в тот день меня терзало не только это нахальство, но, с позволения сказать, дрожание всего тела, ни на минуту не прекращавшееся. Оскорбленный во всех моих преимуществах* столькими преследованиями, я кружился по комнате в бешенстве, в бреду, будто лишившись рассудка, и был до того поглощен одной ужасной мыслью, что почти не сознавал, что со мною делается.

* Это слово тоже употреблено в особом смысле. Обратите внимание на физическое расстройство, идущее параллельно с психическим, и на несомненные доказательства, что у мономаньяка может быть сознание собственного бреда.

Наконец я собрался лечь в постель, но так как она

оказалась еще не приготовленной, то я начал думать о тех необыкновенных событиях, причиною которых был не кто иной, как старуха Ж., и решил отомстить ей за себя во что бы то ни стало. Вооружившись кухонным ножом, я отправился к моей противнице, как вдруг, дойдя уже до улицы Ровелекка, вспомнил о правосудии и начал колебаться, но тут я увидел Заса, приятеля Ж., выходявшего из их дома и посмотревшего на меня; тут я не мог уже более сдерживаться, и какой-то инстинкт мести овладел мною... Когда я вошел в лавку, старуха вышла мне навстречу... и я отомстил.

Чтобы не запутаться в подробностях, упомяну только, что я пришел в себя уже за миланскими дорогами. Продолжая бежать, я заметил, что в некотором расстоянии за мною гонятся мои враги. В руках у меня был тот же нож, и какой-то инстинкт понуждал меня вернуться; но, опасаясь наделать новых преступлений, я порешил идти дальше. Описать это путешествие невозможно, так как я многое перезабыл. Добравшись до железной дороги, я повернул вправо, чтобы сесть на поезд на станции Чертоза; но, хотя у меня совсем не было сил и мне очень нездоровилось, я пришел к станции, когда часы только что пробили девять. Ждать приходилось слишком долго, тогда как надо было уехать поскорее. Вечер был холодный, погода дурная, я с трудом шел по дороге, и мною овладело такое изнеможение, что я прилег на куче щебня. Но едва я заснул, как мне показалось, что меня по той же дороге преследуют конные карабинеры. Я вскочил и осмотрелся кругом, топот как будто прекратился, я отер пот со лба и двинулся дальше. С поля какой-то голос кричал мне: "Чезер!.. Чезер!.. – но я догадался, что это был обман чувств, тем более что влево от меня, т.е. на миланской дороге, слышались настоящие голоса моих противников, кричавших мне те же дерзкие слова, как и раньше, и гнавших за мною. Убедившись, что первый голос был просто следствием моей слабости,* я, насколько было возможно, собрался с силами и продолжал путь.

* Странно, что одни галлюцинации он считает результатом бреда, а другие – нет.

Не сумею определить, как я чувствовал себя тогда и что именно – сонливость или утомление – угнетало мои чувства, но факт тот, что позади меня сверху слышалось мне адское пение, и среди этих голосов всех громче раздавался голос убитой мною Ж. Когда же я в бешенстве оборачивался, стараясь показать, что не боюсь ее преследований, она исчезала вдали за лесом, и песня ее

замирала мало-помалу.*

* Недюжинное красноречие! Поклонники риторики могут убедиться отсюда, что хорошо пишет не тот, кто тщательно отделяет каждое выражение, но лишь тот, кто много чувствует. Здесь сила и, так сказать, дикая красота слога растут по мере возрастания энергии и напряженности испытываемых автором под влиянием ужаса болезненных и нормальных впечатлений.

Когда это видение прекратилось, мне представился шаг в 20 какой-то призрак громадных размеров, который, пристально посмотрев на меня, скоро исчез, и я пошел дальше. Потом, услышав, что поезд приближается, я по возможности удалился от рельсов и прилег, чтобы не быть замеченным. При виде удалявшегося поезда я подумал, как приятно было бы мне находиться на нем; но вскоре мною овладела тяжелая мысль, что я утратил свое счастье вследствие низости, из-за которой должен так страдать, и отчаяние заставило меня быстро пойти вперед. По временам мне казалось, что я вижу какие-то деревья с взобравшимися на них людьми, которые смотрят на меня, а иные даже и склоняются передо мною, но стоило мне устремить на них пристальный взгляд – и они исчезали. Один только адский голос не переставал меня преследовать, и, даже когда я оборачивался, он, казалось, противостоял моей бешеной настойчивости и то раздавался вдали, то, как будто удаляясь, слышался громче прежнего, между тем как я продолжал путь. При одном повороте дороги – не знаю, в глазах ли у меня потемнело, или небо заволокло тучами, но факт тот, что я стал плохо различать дорогу, беспрестанно натыкался на препятствия и должен был идти по самой середине ее, где она была очень неудобна. Сон и усталость одолевали меня, холодный пот на всем теле заставлял плотнее заворачиваться в плащ, чтобы не схватить простуды, я пробовал прилечь, закутавшись, между кучами щебня, насыпанными вдоль дороги, но боялся довериться сну, который тотчас же овладевал мною. Видения исчезали, когда я опускал голову, и снова появлялись, как только я поднимал ее.

Наконец показался огонек в будке сторожа, и это несколько ободрило меня. Когда я постучал в окно, сторож спросил, что мне нужно, и я едва мог возвысить настолько голос, чтобы попросить у него воды. Он вышел и налил мне две кружки. Затем я спросил его, далеко ли еще до Милана, и он указал мне ближайшую дорогу. Я поблагодарил этого человека и снова отправился в путь. Вода подкрепила мне только желудок, но не силы, так что

я с большим трудом добрался наконец до города, где и приютился в гостинице с намерением пролежать весь день в постели, а вечером уехать в Швейцарию. Там, как я надеялся, мне уже нечего будет опасаться преследований со стороны полиции. Но когда я лег в постель и пролежал с шести до девяти часов, то убедился, что мне невозможно не только заснуть, но даже остаться спокойным. Поэтому я изменил свой план и, так как хозяйка не пожелала взять меня на свое попечение, отправился в Главный Госпиталь. Едва только оправившись и еще не выздоровев хорошенько, я вернулся на родину в восемь с половиною часов вечера и тогда же явился в полицию.

Воспоминания о времени, проведенном в тюрьме, и о живых сновидениях

В три часа ночи меня препроводили из полиции в Павианскую тюрьму. Я вошел в камеру, где уже было человек пять или шесть арестантов. Мне дали короткий соломенный тюфяк без подушки и одеяла, причем надзиратель сказал, что завтра принесет одеяло, и ушел. Я лег на эту постель не раздеваясь, тщательно укрылся плащом и тотчас же заснул. Во сне мне показалось, что я вижу свет как бы надо мною и слышу голос, говорящий мне: "Ты выдал себя". Тут я проснулся. Вскоре начало светать, один из заключенных встал, умылся и, посмеиваясь, принялся вязать чулок. Потом и остальные поднялись поодиночке, стали расхаживать по камере и обращались ко мне с вопросами, как будто с целью узнать, за что я арестован. Но у меня совсем не было охоты разговаривать, и, чтобы отвязаться от их любопытства, я встал, умылся, оправил свой мешок, набитый соломой, и снова лег, сделав вид, что хочу спать. Заметив, что я озяб, кто-то из арестантов набросил на меня свое верхнее платье и сказал: "Возьми, бедняга, укройся, если тебе холодно". Между тем наступило время раздачи хлеба; отворив окошечко над дверью, надзиратель спросил: "Сколько вас?" – на что ему отвечали: "Нас теперь шестеро, одного привели сегодня ночью". После этого мне дали хлеба, как и всем остальным. Так как я еще не совсем оправился после болезни, то подумал, что не стану есть этого хлеба, черного и сухого; но у меня явился аппетит, и я начал есть. Немного погодя пришел надзиратель с каким-то господином – после я узнал, что это был директор тюрьмы, который сказал, что переведет меня в другую камеру. Когда я пошел за ним, он спросил, по какой причине меня арестовали, и я, не зная, зачем предлагается мне этот вопрос, отвечал, что вчера вечером уже объяснил в полиции. Тогда он, как будто желая дать мне понять, что еще не поздно отказаться от прежних показаний, заметил

мне: "Но ведь говорят, что убийца был выше тебя ростом и с более густыми усами, чем у тебя". Однако я не поддался его уловке, с нетерпением повторил то же самое и вошел в другую камеру, No XI. Пятеро заключенных в ней арестантов оказались весельчаками, и я почувствовал себя несколько бодрее, заметив, что все они почти одних лет со мною. Так прошли целые сутки, а на следующий день меня потребовали к допросу, привели в какую-то комнату и посадили на заранее приготовленный складной стул. Тут мне с болью в сердце пришлось вынести новый позор, когда караульный надел мне на ногу цепь, укрепленную в стене. Три или четыре минуты я оставался один в полном молчании, затем вошел судебный следователь в сопровождении секретаря, который сел за стол, а судья остался на ногах; в то же время вошли двое господ – доктора, как я узнал впоследствии, – и, опершись о стол, помещенный с правой стороны, начали пристально смотреть на меня, а вслед за ними пришел еще один господин, незнакомый мне, но, по-видимому, тоже следователь. Они начали разговаривать между собою, показывая друг другу футляр от ножа, причем господин, которого я принял за другого следователя, сказал: "Да, но он должен быть меньше ростом". Окончив разговор, все ушли, бросив на меня довольно сочувственный взгляд, но вскоре вернулись опять и стали в прежнем порядке, т.е. следователи с левой стороны, а врачи – с правой. Следователь начал допрос, и я отвечал точно так же, как и в полиции, нисколько не изменяя своих показаний. После этого врачи удалились, а вслед за ними скоро ушли следователи и секретарь. Я оставался один минуты три или четыре, затем явились караульные и, освободив мне ногу из цепи, отвели меня обратно в камеру. При входе моем товарищи ожидали услышать от меня рассказ о подробностях допроса, но я не чувствовал никакого желания разговаривать и молча лег на постель: тогда они начали петь, как бы с целью отвлечь меня от мрачных мыслей. Так прошли сутки, а на следующий день меня посетил тюремный доктор, который, пощупав мне пульс, многозначительно произнес: "О, это ничего, ничего!" При других я не показал, что понимаю этот намек; поэтому доктор зашел вторично, когда со мной сделалась легкая лихорадка, и, чтобы я лучше понял его, обратился ко мне с вопросом: ел ли я, на что я отвечал: да. Потом он спросил: много? и, получив ответ: да, много, снова повторил: "О, это ничего, ничего!". Предполагая, вероятно, что я все еще недостаточно понимаю, в чем дело, доктор для моего успокоения заручился еще содействием профессора С., который однажды в сумерки, под предлогом посещения заключенных, зашел и в нашу камеру. Через посредство сопровождавшего его надзирателя он спросил, не желает

ли кто посоветоваться с доктором. При входе он и не взглянул на меня, как будто я совершенно незнаком ему. Так как желающих не оказалось, то я подошел с просьбой полечить меня от боли в горле. Осмотрев его, профессор сказал мне, очевидно, с целью не дать ничего заметить окружающим: "Ах! да, у тебя испорчен зуб!" – хотя этого совсем не было. Затем, желая еще яснее показать свое участие, он прибавил: "Ничего, ничего!" – и поспешно ушел, убежденный, что я понял его. Хотя я и раньше не особенно тревожился насчет моего положения, но теперь я стал надеяться на успех. Между тем врачи, присутствовавшие при допросе, заходили иногда, чтобы расспросить меня о разных подробностях; они, по-видимому, тоже разделяли мои надежды. В одно из посещений этих докторов я заметил, что они, вместо того чтобы войти в камеру, вызвали через надзирателя одного моего товарища по заключению и начали с ним разговаривать в коридоре. Я догадался, что речь идет обо мне: они спрашивали, как я говорю, хорошо или дурно, не путаюсь ли в словах; ответов арестанта мне не было слышно. Когда он вернулся, вызвали другого, с которым велся такой же разговор, потом позвали меня; мы ходили по коридору и разговаривали минут восемь или десять, после чего врачи ушли, а я возвратился к себе в камеру.

Так как нас осматривали каждый вечер, то после этого посещения я вздумал притвориться сумасшедшим, скорее по совету других, чем по собственному желанию, хорошо сознавая, что это делается для уничтожения всяких последствий. Поэтому я решился проделывать глупости во время осмотра после полуночи. При входе надзирателей я вскочил как бы вследствие неожиданности и, посмотрев на дверь, где стоял помощник смотрителя, спросил его: "Не приходил ли за мною дядя, так как я хочу бежать, и мы условились с ним, что он придет взять меня". Не ожидая такого вопроса, караульный отвечал: "Он придет завтра", но я продолжал: "Нет, мы уговорились, что сегодня". Он больше ничего не сказал, а надзиратель, у которого была свеча в руках, близко подошел ко мне, чтобы внимательнее посмотреть на меня; я взглянул на огонь, закатив глаза, как будто я еще не проснулся; потом они ушли, и наутро явились врачи-эксперты, как мне сказали про них. Надзиратель отпер камеру, и они стали ходить по коридору и предлагать мне вопросы, на которые я отвечал всяким вздором, какой только мог придумать.*

* Обратите внимание на это чрезвычайно любопытное подробное описание собственного притворного помешательства.

Походивши несколько времени, мы зашли в комнату, где меня допрашивали, и уселись все трое; тогда врачи велели мне снова дать показания относительно совершенного мною преступления, а потом, после небольшого перерыва, спросили меня, знаю ли я господина Викарио, проф. Скаренцио и проф. Платнера. На этом допросе я с помощью моих покровителей-следователей выбрал себе троих адвокатов и потому стал надеяться на полный успех.

Заметив, что товарищи мои, просыпаясь утром, тотчас же начинали рассказывать друг другу свои сны и радовались иногда, что эти сны предвещают им хороший исход дела, я сказал: "Это вздор, чтобы сны могли предсказывать какой-нибудь успех в наших делах". Тогда один из заключенных рассказал мне, что когда он раньше сидел в другой тюрьме, то увидел однажды сон, и что бывший в той же тюрьме старик не только назвал этот сон хорошим, но даже на основании его предсказал заключенному скорый выход из тюрьмы и вместе с тем посоветовал ему быть осторожнее, так как он рискует снова попасть в нее. Все действительно так и случилось: на следующий день заключенный был освобожден даже без судебного разбирательства, а через 24 дня его опять арестовали. После этого я стал обращать внимание и на мои сновидения.*

* Из этого видно, что, кроме сновидений, всегда отличающихся у помешанных крайней живостью, нужен еще особый стимул – подражание, чтобы заставить их, вопреки логике и разуму, придавать значение тому, что прежде казалось им не стоящим внимания. Подобный же случай был с Кардано, который отрицал существование духов, а потом начал верить, что он сам одержим каким-то духом или гением.

В первую же ночь я, сознавая, что сплю, увидел под моим окном сад; вдруг пошел снег, при виде которого я сказал себе: "Вот зимою не было снега, а теперь, когда уже весна близка, снег идет большими хлопьями". Поутру я рассказал свой сон товарищам, и они истолковали его в том смысле, что теперь суд рассматривает мои бумаги. Но я объяснял себе это иначе.

На следующую ночь мне приснилось то же самое: снег шел такой сильный, что ветром его заносило даже в окно, и я с кем-то разговаривал об этой новости. В другой раз я увидел, что идет дождь, и едва только он перестал, как пошел снег, и его напало много. Проснувшись поутру, я узнал, что действительно ночью был дождь, но я не мог этого слышать из нашей камеры. Еще мне приснилось, что

я стою на берегу реки Тичино, в которой вода сильно поднялась, и я очутился на деревянном, плохо устроенном мостике через нее, держа на руках девушку с точно такими же глазами, как у дочери Ж. Она пристально смотрела мне в лицо, а я нес ее с некоторым удовольствием; перейдя мост и повернув налево, я очутился на маленькой площади, потом пошел в улицу Ровелекка, где была лавка Ж. Не найдя там никого, я направился к Боргоратто, где увидел мелочную лавку, из которой младшая Ж. вышла навстречу своей сестре. В другой раз мне приснилось, будто я хожу по огороду, совершенно запущенному; когда я спускался с какого-то холма, то увидел два срубленных под самый корень дерева, лежавших на земле; в то же время мне показалось, что я стою рядом с моей двоюродной сестрой и подаю ей двух или трех зябликов, которых она принимает молча; тут же я увидел множество птиц, больших и маленьких, иные из них лежали на земле; меня в особенности поразила одна большая птица, казавшаяся совсем мертвой. Гуляя по этому огороду, я будто бы поднял одну живую птицу, не очень большую, но чрезвычайно тяжелую, и, держа ее в правой руке, левой начал гладить, причем птица стала вырываться от меня; я старался ласками удержать ее и даже положить ей в клюв свой палец, причем она осталась спокойной и кроткой, точно ангел, только все хотела улететь. Потом, обернувшись, я увидел смотревшую на меня хозяйку дома и отдал ей птицу, которую она взяла, с улыбкой взглянув на меня, после чего я ушел.

Кроме того, мне снилось, что я нахожусь в той самой комнате, куда привели меня по выходе из сиротского дома. Я стоял, прислонившись к моей постели, поддерживая голову рукой, точно размышляя о чем-то, и не спускал глаз со входной двери; через несколько времени из комнаты слева вышла женщина, державшая в руках суконный халат, и предложила мне взять его, чтобы нарядиться в костюм сумасшедшего; при этом я хотел закричать, но не мог, а она продолжала настаивать; я же, делая тщетные усилия вскрикнуть, догадался тогда, что сплю, и мне сделалось страшно от мысли – уж не отнялся ли у меня язык. Наконец я проснулся и так громко закричал нет, что товарищи подбежали ко мне, спрашивая, что случилось, и я окончательно проснулся.

В другой раз мне приснилось, что я иду рядом с каким-то человеком, который несет гроб на плечах, и мы разговариваем довольно мирно. Переходя площадь госпиталя, мы повернули к дверям моей квартиры, где слева было окно в погреб, но без решетки; тогда спутник мой вдвинул гроб в это окно таким образом, что только

один конец его виднелся в отверстие; затем мы расстались: я вернулся по прежней дороге, а он пошел в ту улицу, что была напротив дверей.

Вначале мне жилось не особенно дурно, как вдруг из моей камеры взяли одного заключенного и заменили другим. При взгляде на этого человека мне показалось, что это должен быть мой враг, что и подтвердилось потом. Так как я имел обыкновение обмениваться несколькими словами с нашим смотрителем и его помощником во время их посещений, то вновь прибывший, заметив это, сказал мне: "Значит, дела идут недурно", как бы желая намекнуть, что я буду освобожден. Но я не обратил внимания на такое его преимущество, что ему очень не понравилось, и он стал пугать меня тем, что я нахожусь во власти итальянцев, говоря мне: "Попался наконец и ты в руки твоих палачей!" – "Почему же они палачи? – возразил я. – Разве у нас нет правосудия?" – "Правосудия, – вскричал он, смеясь, – вот если бы пришли к нам австрийцы, тогда бы у нас было правосудие!" – "Что же, разве в Австрии преступников не наказывают смотря по степени их виновности?" – спросил я. "Хоть и наказывают, да не так скоро, как здесь, где осуждают людей без достаточных улик!" – отвечал он. При этом я подумал про себя: а вы, верно, мастера скрывать свои мошеннические проделки.*

* Какое странное противоречие! Помешанный оказывается нравственнее здравомыслящих преступников.

Другой заключенный, родом из Павии, тоже прибавил: "Да, да, итальянцы – такая сволочь, что осуждают даже без улик". Потом принялся рассказывать свое прошлое, сколько раз он был осужден и, присоединившись к моему первому собеседнику, вместе с ним стал хвалить Австрию. Разговор их окончился пожеланием, чтобы австрийцы снова пришли к нам.

В эти дни даже в тюрьме распространился слух о том, что начались военные действия. Потому-то заключенные и волновались так, рассчитывая, что когда австрийцы снова завладеют страной, то сейчас же отворят все двери тюрьмы. Я возразил на это: "А в случае, если победа останется на стороне итальянской армии, разве вы не надеетесь получить снисхождение?" – "Как же, дожидайся снисхождения от итальянцев!" – отвечали мне товарищи. – Теперь, когда ты попался к ним в лапы, ты сам увидишь, что тебе не выбраться отсюда". – "Да, да, это правда!" – сказал я и таким образом положил конец этому неприятному разговору, не желая нажать себе врагов и в

тюрьме.

Между тем, чтобы сократить время своего заключения, я стал делать по ночам еще большие сумасбродства в надежде на прекращение таким способом моих мучений. У меня при этом было только одно желание – увидеть докторов, так как никто больше ко мне не приходил, а я чувствовал потребность поговорить с рассудительными людьми. По временам стал навещать меня профессор Л. и своим доверчивым обращением очень успокаивал меня, но по окончании его визита мучения мои опять возобновлялись.

Около этого же времени я убедился, что и директор тюрьмы, посещавший нас, старался всячески ободрить меня. Войдя в камеру, он обращался ко мне с расспросами насчет моего притворного сумасшествия, делал вид, что верит мне, и уходил, радуясь за меня. Но однажды ночью я до такой степени неистовствовал, что караульный с досады начал даже грозить мне; тогда пришел профессор Л. и, отведя меня в сторону, посоветовал мне не делать сумасбродств и не стараться разбить себе голову, обещая и без того освободить меня.

Впрочем, я уже не сомневался в этом; но мне так надоедали товарищи и те заключенные, с которыми приходилось встречаться на дворе во время прогулок, что с целью добиться их молчания я мешал им спать, поднимая ужасный крик после ночного обхода; таким образом я будил их, и они потом долго не могли уснуть снова. Тем не менее дни свои я проводил довольно печально: главным образом, тяжело мне было оттого, что раньше я всегда с ужасом думал о тюрьме и теперь никак не мог избежать подобного бедствия. Эти мысли приводили меня в такое бешенство и до того отуманивали мою голову, что я в самом деле готов был помешаться*, если бы меня не поддерживало воспоминание о моих покровителях. К тому же я почти каждую ночь видел сны, и мне доставляло удовольствие разбирать их, причем мне всегда казалось, что они предвещают мне скорое освобождение.

* Это выражение доказывает, что помешанный может сознавать себя сумасшедшим, и служит опровержением народного предрассудка, разделяемого и психиатрами, будто такого рода сознание является всегда признаком притворства больного.

Наконец вопрос о моей болезни должен был решиться; профессора-эксперты собрались все трое и стали испытывать мою силу, конечно, с целью найти в этом

доказательства моей мнимой болезни. Суд, состоящий из "итальянской сволочи", как выражались мои товарищи по заключению, распорядился приготовить экипаж, и в самый день Троицы двое каких-то господ, показавшихся мне чиновниками, потребовали меня через надзирателя. Тотчас же была отперта камера, и я последовал за надзирателем. Меня посадили в экипаж и привезли в больницу для умалишенных; тут спутники мои, раскланявшись, уехали, а я остался здесь, где мне лучше, нежели в тюрьме.

*В Павианском доме умалишенных,
22 ноября 1866 г.*

**Приложение II (к VII
главе) ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОМЕШАННЫХ**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ**
Чезаре Ломброзо

Как я уже говорил раньше, в Пезарской больнице для умалишенных по моей инициативе был заведен дневник, род журнала, в котором помещались биографии душевнобольных и статьи, ими самими написанные. Впоследствии такого рода журналы велись и в других домах умалишенных – в Реджио, Палермо, Перуджии, Анконе, Неаполе и пр., так что материал, могущий служить подтверждением моей теории, накопился очень большой, и я теперь затрудняюсь, что именно выбрать из него. Однако попробую это сделать. Вот два номера "Газеты дома умалишенных" в Реджио за 1875 год. Там, между прочим, помещена биография одного бедняка рабочего, не получившего никакого образования, но под влиянием умопомешательства высказывавшего идеи, как будто заимствованные у Дарвина. Подобный же случай был и в моей практике с продавцом губок, о чем я уже говорил раньше. Привожу эту биографию целиком.

Дж. Р. из Модены находится у нас в больнице с 1850 года, хотя и раньше, должно быть, страдал умственным расстройством лет 16. Природа совсем не одарила его красивой наружностью. Рахитик, несколько сутуловатый, с плоским худым лицом, большими ушами, длинными ресницами, крупным крючковатым носом, как будто стремившимся поцеловать подбородок, и медленными движениями, – он вызывал невольную улыбку при первом же взгляде на него. Но, узнав его поближе, им нельзя было не заинтересоваться, так как вне припадков бреда речь его отличалась рассудительностью и остроумием.

Прошлое его осталось для нас темным. Мы знали только,

что он холост, происходит из бедной чиновничьей семьи и как будто кое-чему учился. Помешательство у него было, очевидно, наследственное: мать его, 84-летняя женщина, страдала манией преследования, выражавшейся в боязни, что ее изнасилуют или отравят. Сына своего она считала сумасшедшим, жалела его и справлялась о нем. Можно думать, что и у ней помешательство было наследственное, так как тетка ее с материнской стороны умерла в доме умалишенных, а дядя лишил себя жизни.

Сын унаследовал от матери не только самое сумасшествие, но и форму его. В молодости он, должно быть, либеральничал и попал на замечание или подвергся гонениям со стороны правительства герцогства Модены. Вследствие этого у него, вероятно, и явилась мания преследования, сопровождавшаяся слуховыми и зрительными галлюцинациями. Ему почти постоянно слышались какие-то ужасные звуки – грохот разговорной трубы, как он выражался, и представлялись ангелы, священники, женщины, кричавшие ему на ухо, через трубы и рупоры, разные оскорбительные слова и угрозы. Больной называл их шпионами инквизиции и уверял, что с помощью таинственных гальванических нитей они распоряжаются всеми его действиями, так что он совершенно лишен свободы. Тщетно старался он избавиться от них, переменить место жительства – шпионы, напротив, сделались после этого еще злее и многочисленнее. Однажды бедняк увидел, как целые сотни их спустились из трещины потолка и начали дуть ему в уши с такою силою, что он в испуге убежал.

Впрочем, он говорил об этих видениях, только когда его спрашивали, да и то неохотно, как будто опасаясь даже упоминать о них. Обыкновенно он проводил целые дни, сидя где-нибудь в уголке с опущенной головой, спокойный, неподвижный и равнодушный ко всему окружающему.

Однажды я спросил его, не занимался ли он прежде каким-нибудь ремеслом, и, узнав, что он может точить, предложил ему приняться опять за это занятие. Он охотно согласился, особенно когда я обещал увеличить его порцию табаку и вина. Через несколько времени я поручил ему обучить токарному ремеслу одного глухонемого юношу, и он с успехом выполнил это поручение. Потом я попробовал привлечь его к участию в спектакле; но, хотя данная ему роль состояла лишь из нескольких односложных слов и вполне подходила к его характеру, бедняга не в состоянии был ее выучить – до такой степени ослабела у него память.

И однако же – кто бы мог подумать! – в этом больном, слабом мозгу созрела стройная, логическая философская система. Каким образом подобные идеи могли возникнуть и развиваться в нечто цельное у такого субъекта – для меня осталось непонятным. Невозможно допустить, чтобы они явились у него до болезни: при своем ограниченном уме, при полном отсутствии научного образования и скудных познаниях разве мог бедный рабочий получить подобные идеи извне, живя в Модене, и притом 40 лет тому назад? Но еще невозможнее, чтобы они могли явиться и окрепнуть до непоколебимой уверенности уже после болезни, когда несчастный находился под влиянием галлюцинаций и бреда. Как бы то ни было, он оказался убежденным, последовательным материалистом. Долгое время никто из нас и не подозревал этого. Но однажды, совершенно случайно, когда кто-то употребил слово душа, наш больной совершенно спокойно заметил, что душа не существует. "В мире нет ничего, кроме материи и сил, ей свойственных, – сказал он, – мысль является в мозгу и составляет результат силы, подобной электричеству. Мир есть материя, а физическая материя вечна, бесконечна (не имеет ни начала, ни конца); исчезают только формы да индивиды: человек, как личность, после смерти превращается в ничто, а тело его претерпевает неизвестно какие изменения".

"Чем же вы объясните появление человека на земле?" – спросили мы нашего больного. "Последовательными изменениями, – отвечал он, – сначала это был, может быть, простой червяк, который, после целого ряда изменений, сделался человеком (совершенно дарвиновская теория!). – Религии выдуманы попами, – продолжал он, – в политическом отношении лучшее правительство есть республика, а в гражданском – установление полигамии". Вообще во всех его убеждениях сказывался строгий, последовательный, непоколебимый радикализм, что составляло странный контраст с его наружностью и болезнью.

Зимой 1882 года с ним сделался плеврит очень опасной формы. Сначала он приписывал все болезненные явления – кашель, боли, лихорадку – действию гальванических токов, посылаемых ему шпионами, но с усилением недуга чувство самосохранения взяло верх и заставило нашего радикала изменить своим убеждениям: он отрекся от материализма и выполнил все обряды римско-католической церкви, желая этим избежать возмездия со стороны конгрегации, наводившей на него невообразимый ужас. Но "шпионы" и "трубы" не давали ему покоя до самой последней минуты.

Он умер 60 лет.

Затем в "Дневнике", который велся в Сиене под руководством доктора Фунайоли, мы находим чрезвычайно любопытную для психиатров статью одного из сумасшедших, Ф., "Замогильные записки". Он описывает в них свою духовную жизнь после того, как "оставил человеческую оболочку, жил на земле в образе духа, странствовал по городам и деревням, поднимался над облаками и созерцал оттуда красоты природы во всевозможных ее проявлениях".

Чтобы эта статья была вполне понятна читателю, нам следует предварительно познакомиться с ее автором. По своим убеждениям он крайний спиритуалист и совершенно отчетливо представляет себе, что душа, отделившись от тела, может жить самостоятельной, бессмертной жизнью, между тем как материальная оболочка испытывает различные превращения и разлагается. Он допускает награду и наказание для всех людей за их хорошие или дурные поступки, совершенные в течение кратковременного пребывания на земле. По его мнению, грешники осуждены скитаться по земле в образе духов, тогда как праведникам предоставлено наслаждаться блаженством и вечным спокойствием на одном из бесчисленного множества миров, наполняющих вселенную и называемых звездами. Сам он в качестве грешника, тело которого совершенно погрязло в грехах, после обезглавления осужден остаться на земле, но живет на ней без тела; видимая же для людей оболочка его есть только призрак, и он может подниматься на каждое облако, плывущее по небу. Голова его зарыта в Корсике, а тело покоится на кладбище в Пизе, поэтому он часто посещает это кладбище, где беседует с душами умерших или молится и плачет на своей могиле, чтобы отдать последний долг своему праху, который без этого остался бы неоплаканным. Там он остается подолгу, разговаривая с растущими на могиле фиалками, задавая им вопросы, на которые они отвечают то нежно, то презрительно.

Больной в настоящее время поправился настолько, что сознает уже себя состоящим из души и тела. Но, по просьбе доктора Фунайоли, он описал свое психическое состояние во время болезни. Это описание, помещенное в "Дневнике", я и привожу здесь.

Я умер! Да, ангел смерти спустился ко мне и нежно, точно любящая мать, отделив мою душу от тела, унес ее на своей бесплотной груди. И вот, без страдания, без ужаса душа моя очутилась в пространстве, чтобы начать блаженное

существование, в котором царствует вечный мир. О радость! Наконец-то я навсегда расстался с этим разлагающимся от грехов телом, с этой жизнью, где спокойствие существует только в книгах; подобно рабу, разорвавшему свои цепи и жадно вдыхающему свободный воздух, дотоле недоступный ему, душа моя могла поддаться теперь обаятельным снам и дышать чистым свободным воздухом беспечального и безгрешного существования.

Я много грешил и много страдал в жизни, но, подобно тому как усталый путешественник забывает все трудности пути, вернувшись под тихий родимый кров, я теперь пел от восторга при мысли, что мое странствование, мои тревоги кончены и прежние страдания не повторятся вновь. Однако я не совершенно покинул этот мир, нет, – я разговаривал, ел, пил, трудился, но это лишь так казалось, в действительности же я не ел, не пил и не работал. Смертные говорили о моем теле, как будто оно не было похоронено: они не знали, что Это тело, употребляющее пищу и питье, было лишь один призрак, обманывавший их зрение. И какая разница между ними и мною! Тогда как я переносился с места на место, беспечно болтая и ли о чем не думая, преисполненный веселья и восторга, я видел их печальными, озабоченными или погруженными в тяжелые размышления. Тогда у меня являлась какая-то бешеная радость от сознания, что я уже не нахожусь среди них.

Я с величайшим удовольствием посещал кладбища и в особенности одно итальянское, где у меня было много знакомых, подобно мне уже не принадлежавших к этому миру. Я навещал их, и мы вели беседы, усевшись около какого-нибудь мраморного памятника, под тенью высоких кипарисов, или медленно, безмолвно бродили по кладбищу, погружившись в наши радостные мысли.

Иногда, заведя над вершинами вековых кипарисов маленькое облако, окрашенное в разнообразные цвета последними лучами заходящего солнца и одиноко скользившее по безоблачному небу, мы летели к нему и, поместившись на этом пушистом ковре, сиявшем всеми цветами радуги, смотрели оттуда на землю, любовались вечными красотами природы, которая совершенно равнодушно, бесстрастно относится к тому, как одни поколения смертных сменяются другими, точно волны на море. Мы смотрели также на голубые горы, поднимающие свои величавые вершины к самому небу или на расстилающиеся у их подошв холмы и долины, золотившиеся под яркими лучами заходящего солнца, как бы с сожалением покидавшего землю на целую ночь и на прощанье придававшего ей тысячи разнообразных прелестных оттенков. Над нашими головами раскидывался

лазурный, вечный, спокойный небесный свод во всей его необъятности, тогда как издали до нас доносились чудные голоса ангелов, певших своему Творцу "осанна!" в благодарность за доставленное им счастье и спокойствие, мы присоединяли к их голосам свои собственные и, убаюканные приятными мыслями, засыпали там, наверху, вместе со всей природой, чтобы в грезах наслаждаться новыми удовольствиями. Я часто ходил на свою могилу, которую сам убрал цветами, – мне приятно было видеть сквозь землю, как гниет мое тело. Я садился на могильный холм, брал в руки какой-нибудь цветок, например фиалку, целовал его и говорил: "О блаженный цветочек, получивший от Бога частицу чудного аромата, которым наполнено его небесное жилище, и сияющий той же чистой лазурью, которою Он одел небесный свод, скажи мне, желал ли бы ты изменить свою форму и, оставив свою рожицу, сделаться человеком?" На это цветок отвечал мне: "Для нас достаточно и той радости, чтобы в продолжение кратковременной жизни людей оживлять и наполнять своим благоуханием их жилища – как дворец короля, так и хижину крестьянина, а после смерти того и другого покрывать их прах своим веселым и ароматическим покровом. У нас нет желаний, но неужели ты, не помнящий себя от радости после того как перестал быть человеком, неужели ты думаешь соблазнить нас, чтобы мы променяли наше мирное, невинное существование на лихорадочную, бурную и греховную жизнь смертных?" Так говорил цветок, а я в это время думал: подобно этой фиалке, обращающей свою головку к солнцу, я стану обращать свое лицо к Богу и наслаждаться лучами его вечной любви. Я оплакивал свою смерть на своей собственной могиле, полагая, что так как все мои близкие перемерли и не осталось никого, кто мог бы погоревать обо мне, то я обязан сам отдать этот печальный долг своему праху. Смертные часто смеялись надо мной, и я слышал, как они потихоньку называли меня сумасшедшим. Ты сам сумасшедший, о человек, рожденный женщиной, думал я тогда, ты, дрожащий от страха при одном только имени твоей истинной единственной освободительницы – смерти, которую ты изображаешь в ужасном виде, хотя она так прекрасна, хотя она-то и есть настоящая жизнь. Да знаешь ли ты, что твое существование есть не что иное, как постоянная смерть, а моя смерть вечная жизнь?

Я путешествовал, видел Пизу, Ливорно и другие города, побывал также во Флоренции, которую я знал прежде, когда чужеземные солдаты гордо ходили по ее прекрасным улицам и площадям, когда она с распростертыми объятиями принимала своего короля, честного человека (Galantoumo), точно влюбленная невеста, встречающая

своего жениха, и, наконец, когда она страдала и горевала о том, что в этой борьбе из-за любви победа осталась на стороне ее надменного соперника – Рима. Пока я путешествовал, смертные укоряли меня в пренебрежении к моим делам, говорили, что я только даром ем хлеб и пр. Но могли ли они понять, что для меня пища, одежда и пр. все это ничего не значило, что душа моя находилась в слишком блаженном состоянии, чтобы заниматься делами, к которым я теперь относился равнодушно.

В той же "Хронике" есть прекрасная поэма в стихах, написанная одной больной дамой, у которой поэтическое вдохновение появилось именно во время пребывания ее в доме умалишенных. Факт этот настолько любопытен для изучения психиатрии, что я считаю нелишним привести здесь коротенькую биографию этой дамы.

Госпожа Х., по характеру очень живая особа, 45 лет, замужем и любит своего мужа. Мать ее была чрезвычайно нервная женщина, и с девушкой еще до наступления зрелого возраста случались истерические припадки. Воспитание г-жа Х. получила серьезное, разумное, занималась изучением французской и немецкой литературы и всегда отличалась кротким характером. Замуж она вышла 21 года, благополучно родила двоих детей, третьего выкинула, но за все это время истерические симптомы не усилились и физическое здоровье нисколько не пострадало. Довольная собой и своим общественным положением, она жила спокойно, любимая мужем, детьми, вообще как счастливая семьянинка, и жаловалась только на один болезненный признак – слишком большую чувствительность.

Затем у ней вдруг без всякой причины прекратилась менструация, что продолжалось более четырех месяцев, после чего ее чаще обыкновенного стал мучить истерический клубок и вместе с тем в ее характере и привычках произошла значительная перемена: она сделалась раздражительной и начала страдать бессонницей. К этому вскоре присоединились часто повторявшиеся припадки судорог истерического характера; больная жаловалась, что не может, как прежде, заниматься умственным трудом и что не чувствует уже прежней любви к мужу и детям; она часто придиралась к ним, обижала их, без всякой причины впадала в бешенство, отказывалась от пищи, и только после подобного припадка ажитации, продолжавшегося несколько часов, к ней возвращалось прежнее спокойствие, хотя признаки извращения чувств и аффектов оставались по-прежнему.

Когда ее поместили в больницу, она волновалась в продолжение нескольких дней, но потом, по-видимому, успокоилась, так что ненормальное состояние ее можно было заметить только по двум важным болезненным признакам – бессоннице и галлюцинациям. Последние проявлялись у больной крайне своеобразно: всякий раз, когда она лежала в постели с открытыми глазами, как будто погруженная в религиозные размышления, ей вдруг слышались голоса детей, и она начинала звать их, кричать, метаться в постели, затем впадала в страшное бешенство, сопровождавшееся обильным потом. Она не узнавала сиделки, называла ее именем своей прежней горничной, приказывала ей приносить разные вещи, бывшие у ней в доме, и посылала с разными поручениями к мужу, к детям и пр. По окончании галлюцинаций она как бы просыпалась от сна и не помнила, что с нею было; только иногда продолжала воображать себя дома и удивлялась, видя вокруг себя незнакомые лица. Случалось, впрочем, что галлюцинации бывали непродолжительны и не особенно рельефны, – в таком случае у больной, даже во время припадков, являлось сознание обманчивости своих представлений.

Днем галлюцинации хотя и появлялись, но редко; зато гораздо чаще бывали в это время истерические припадки, в особенности появление клубка, а также конвульсии, головные боли, нервная боль в желудке и пр.

Во время этих припадков, от которых больная вылечилась потом, она и написала поэму "Сиена", помещенную в "Хронике Сиенского дома умалишенных" за 1881 год.

Но особенный интерес представляет Дневник дома умалишенных в Пезаро, так как это – первый из подобных журналов в Италии, который ведется исключительно душевнобольными (с 1872 года). Поэтому он может служить неисчерпаемым источником по части, так сказать, френопатической литературы. В ней преобладают автобиографии и биографии, написанные иногда чрезвычайно цветистым языком. Вот, например, как изображает свое душевное состояние один молодой человек, страдающий манией самоубийства и нравственным умопомешательством (*mania morale*), что не мешает ему, однако, быть талантливым живописцем:

Противоволя (La controvolonta)

Противоволя – ужасная вещь, и я могу говорить о ней по опыту, слишком даже горькому, потому что она отняла у меня всякую прелесть от окружающего мира и превратила

мою спокойную, приятную прошлую жизнь в тяжкое и мучительное бремя. Вот о чем, в сущности, идет речь: чтобы действительно жить в этом мире, для человека недостаточно только есть и спать, ему необходимо также руководить своими способностями, нужно иметь цель в жизни и находить удовольствие в своих занятиях. Но с трудом влачить жалкое существование, не принимая никакого участия в радостях жизни, не стоит – в тысячу раз лучше умереть или утратить всякое самосознание. Именно такая история случилась и со мной. Привыкший к тихой и спокойной жизни, я вдруг увидел себя вовлеченным в водоворот жестоких страданий; бедный мозг мой, потрясенный такой нелепостью, отказался работать, как прежде, я не мог уже свободно рассуждать о моих делах и отсюда-то именно родилась противоволя, или стеснение естественной свободы человека, невозможность работать и действовать, точно какая-то материальная сила связывает индивидуальность. У меня нет теперь достаточной власти над собою, чтобы дать моим поступкам желательное для меня направление, вследствие чего являются страх, тоска, отвращение к жизни. Вначале я чувствовал какое-то неопределенное беспокойство, мучительную тяжесть, затем эта сила росла, становилась все могущественнее, настойчивее, так что наконец уничтожила во мне всякое довольство и заставила проводить время в самой томительной скуке. По ночам я не мог спать, засыпая обыкновенно на час или на два, а дни сделались для меня мучительным препровождением времени, так как я решительно не знаю, что делать с собой, куда приклонить голову, какое направление дать моим мыслям, – и все по милости противоволи. Я слышу разговоры о семейном счастье, о душевном спокойствии, об удовлетворении самолюбия, о взаимной привязанности между людьми, но сам я не могу испытывать ничего подобного; медленно измеряю я часы, и вся моя забота состоит в том, чтобы скучать по возможности меньше. Поэтому я попросил бы произвести сильную реакцию в моем мозгу и позволить мне увидеться с семьей. Благодетельное потрясение могло бы принести мне громадную пользу: жестокое душевное волнение погубило меня, другое волнение, только в ином роде, могло бы спасти меня. Я уже столько лет не видел своей семьи, и господин директор понимает, как это неприятно. Если я делал какие-нибудь несообразности, то это зависело от злого рока (*fatalita*), во власти которого я нахожусь, а не от моего характера, всегда считавшегося превосходным, что также следует принять в соображение.

Л.М. No 110.

Далее, в высшей степени оригинальны сделанные

больными описания своих товарищей, как, например, следующий очерк, вышедший из-под пера бывшего судебного пристава, страдающего душевным расстройством и галлюцинациями. Несмотря на это, он не только поэт, но еще и хороший пианист и вообще составляет крупную литературную силу между сотрудниками этого замечательно интересного журнала.

Наблюдения над окружающими

Я провел почти всю зиму среди помешанных и потому имел возможность сделать несколько наблюдений над привычками и поведением некоторых из них. Полагая доставить этим удовольствие нашему начальству, я вздумал в точности описать их, насколько позволяют мои слабые силы, и чтобы пристыдить У., который говорит, что если бы я прочел свою статью вслух, то ее приняли бы за одно из тех объяснений, какие даются проводниками по сералам. Кто наиболее заслуживает внимания, так это один субъект, вечно стоящий неподвижно, прислонясь к стене, – зовут его С. Другой постоянно покрыт грязью с головы до ног и целый день с наслаждением возится в нечистотах. Третий, некто Л., чрезвычайно толстый, только и делает, что трет себе голову одной рукой. С. вечно потирает руки и беспрерывно ходит по одному направлению, 10 шагов вперед и 10 шагов назад, причем кричит, призывая всех святых. Другой неподвижно сидит на месте, вертит головой и часто улыбается. Некто С.П. постоянно толкует о своих миллионах, о фабриках и машинах, которые он устроит по выходе из больницы в январе 1875 года, как ему кажется, хотя он, вероятно, очень скоро отправится в страну, где нет ни печали, ни воздыхания, так как разбит параличом. Кривой Б. забавляется целые дни тем, что трет два камешка один о другой и при этом вечно бормочет что-то себе поднос. Некто М., отставной моряк, говорит громким голосом, воображая себя на корабле, готовом отправиться в дальнее плавание. С. считает себя командиром полка и делается похожим на зверя, когда ему противоречат, в особенности когда кто-нибудь шутя скажет, что на него хотят надеть намордник. Другой, по прозвищу Италия, всегда выпачканный сажей, кричит целый день и быстро ходит, потирая себе голову обеими руками, вертится и произносит слова "стой! стой!". Некто П. воображает себя важным господином и рассказывает, что у него есть множество обширных поместий; он потихоньку уходит каждую ночь и возвращается утром из дальних странствий. Некто Х., прозванный горбуном, известен за интригана и лжеца и представляет настоящий тип Вискарделло или Риголетто, – он вечно старается обмануть всех и питается одними пирожками. Луна – это старый обжора, который

никогда не может насытиться; у него есть наклонность к воровству, и он крадет что попадется, но в особенности платки. Он считает себя блаженным Джироламо. Некто Романо, бывший в военной службе, грязен с головы до ног и тоже склонен к воровству. М. Прогуливается в одиночестве, уверяет, что он теперь связан, а когда узы эти разрешатся, думает улететь в Елисейские поля, в чистилище, в ад, вообще куда ему захочется. Дон В. держит себя гордо и величественно, воображая, что он – Папа Римский, именующийся Силеном Первым, и горе тому, кто вздумал бы оспаривать его могущество. Он рассказывает, что заключен сюда своими врагами, но что вскоре он отправится в Рим, где его встретят со всею помпой, подобающе римскому первосвященнику. Антонио, несносный болтун и ненасытный обжора, тоже не прочь украсть, что плохо лежит, и хлопочет только о том, как бы поесть, покурить и поиграть. Некто Ф., лет пятидесяти, долгое время остается спокойным, потом с ним делается бред, он в бешенстве ходит по коридорам, говоря, что не желает идти укрощать бури, и в конце концов начинает спокойно играть камешками. В.Р., впавший в совершенно бессмысленное состояние, вечно грозит убить всех, но не убивает даже блохи. Один тосканец, весьма склонный к онанизму, кричит во все горло, что его голод неутолим, хочет обидеть всех, но никто на него не обижается, и всех называет могильщиками; он воображает, что ест вдвое против других. Л., бывший прежде живописцем, говорит мало, но если примется рассуждать, то сам черт ничего не разберет. Б. Л. прислонится к стене и стоит по целым дням, не говоря ни слова. Л. представляет из себя министра или депутата, целый день беседует с воображаемыми личностями, а в конце концов перевязывает себя чулком, повторяя это 70 или 80 раз в день. Наконец, М. воображает себя Наполеоном I, каким-то великим талантом, героем и всегда хочет поставить на своем; у него есть дурная привычка – давать волю рукам. Р. каменщик, скуп до крайности, торгует всем и готов задушить кого только можно, лишь бы добыть денег. М., по прозванию Кобылка, до крайности любопытен, живой, надоедливый и болтливый; у него на совести есть кровавое преступление и даже еще противоестественное; он сделался ханжой, работает в кухне, но не забывает и своих четок, не дает людям покоя вечными просьбами. Дон Л., страстный курильщик, целый день ходит по галерее, человек надменный и скупой, считает позором, что такую талантливую личность, как он, держат взаперти, и грозит, что начальствующие дадут в этом строгий отчет, когда он выйдет. Пинаккиа, по прозванию Контрефорс, бывший прежде папским солдатом (тип шута), бывает вполне доволен, когда ест или курит, всегда вмешивается в разговоры и постоянно переходит от одного аргумента к

другому. М.А. отличный работник, всегда готовый услужить, несколько времени остается спокоен, потом болезнь его проявляется громким криком, оглашающим галереи, и с ним тогда опасно заговорить. Н.Д.М., прозванный адвокатом, старается придать себе важный вид, подходящий к этому прозвищу, никогда не молчит и не успокаивается и всегда норовит поставить на своем. Ф., осужденный уже за драку и за кражу мешка, совсем сумасшедший теперь, разговаривает сам с собою и думает только о еде, питье и курении. В., прозванный котом, злой и жестокий человек, был прежде военным, часто прогуливается по двору с озабоченным видом, при малейшем противоречии готов начать ссору и пустить в ход кулаки. С.Ж., бывший столяр, очень красивой наружности, носит длинную бороду, служил прежде в папских драгунах, но теперь лишился рассудка, и потому в разговорах его нет никакого смысла. Р. раздражителен и похож на зверя; озлившись, кусается, точно гиена, и следы его зубов остаются надолго. Доменик Б., прозванный Ратапланом, имеет привычку говорить всем дерзости и с утра до вечера раздает благословения. Кроме того, у нас есть компания игроков, которые играют с утра до вечера; среди них первые места занимают Покупополино, Пачино, Маркино и Градара.

Если пожелают читатели, можно составить множество биографий и привести еще немало других наблюдений. Что же касается слугителей, то я предоставляю поговорить о них при случае тем, кого это ближе задевает.

Б. Ж. No 18.

Вообще, больные не особенно дружелюбно относятся к своим товарищам, когда описывают их в прозе или в стихах. Но вот один очерк того же автора несколько в ином роде.

Семья увеличилась

Новый жилец наш, прибывший сюда месяца два тому назад, – милый оригинал, лет 40, большой говорун, весельчак, носит волосы спущенными на глаза, одевается в длинное пальто и ходит в туфлях, так что при подобном костюме ему можно бы избавить себя от труда надевать кальсоны. Он курит целый день, ест и пьет, как военный, и беда, если кто не исполнит его приказаний – он сейчас же приходит в бешенство. Бедняга воображает себя великим человеком, обладателем несметных сокровищ и очень могущественным, выражает желание распустить нас всех по домам и всегда бывает очень весел, а когда разговаривает, то кричит до такой степени громко, что его

можно слышать на расстоянии сорока шагов.

Интересен был его приезд к нам: едва лишь он вошел во двор, как начал осматриваться кругом и с важным видом выразил желание побывать везде, чтобы убедиться, не изменилось ли что-нибудь со времени его последнего посещения. Осмотром этим он, по-видимому, остался доволен. Стоило посмотреть тогда, какого дипломата он из себя разыгрывал – точно настоящий синдик, находящийся при исполнении важных обязанностей.

Он обещал всем и каждому должности, так что его можно было принять за министра какого-нибудь государства, и действительно, чтобы вполне походить на важную особу, ему недоставало только кареты, запряженной парой лошадей, лакея-мавра и трубача.

Говоря это, я вовсе не желаю подсмеяться над его бедствием, тогда я сам показался бы смешнее его; но так как он, по-видимому, счастлив, а я нет, то я и позволяю себе подобные размышления.

Очень интересен он бывает, когда рассказывает о своих несчастиях: звук голоса у него меняется, он подмигивает глазами, бьет себя в грудь с видом полного довольства и, наконец, с криком бросается на диван. Однако все это не мешает ему чрезвычайно аккуратно являться к обеду и ужину. Видно, что даже воспоминания о прошлом не оказывают влияния на его желудок. Счастливец!

Б.Ж. No 18.

**Приложение III (к IX
главе) ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАТТОИДОВ**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ**

Чезаре Ломброзо

Я уже говорил, какие разнообразные темы берут маттоиды для своих сочинений. Хотя всего более их интересуют политика, теология и поэзия, но они занимаются также математикой, физикой, даже гистологией и клинической медициной. Приведу несколько примеров.

Вот передо мною сочинение в двух больших томах под заглавием *"Новая патология на античных началах"*, где с помощью нелепых и запутанных цитат автор пытается свести все болезни к эллипсу.

Даже буквы должны иметь эллиптическую форму, по его мнению, как и все предметы вообще.

"Запахи и вкусы, – говорит изобретатель "Новой патологии", – тоже необходимо разместить на эллиптической шкале, так как у них есть абстрактный фокус – приятное или неприятное ощущение, ими вызываемое. Кому неизвестны эллиптические свойства теплоты? Самые совершенные существа, как человек и ангелы, образуют эллипс. Человек состоит из души и тела, эллиптически связанных между собою. Все ткани состоят из четырех веществ, которые, смотря по тому, преобладают ли в них артериальное или лимфатическое начало, проникают в различные ткани в большей или меньшей степени. Кости тоже лимфатического происхождения, как это замечается при их варке, и состоят из оболочек лимфатической, артериозной, известковой или желудочной (ventrale) и фиброзной или венозной" и т.д.

Нечего и прибавлять, что автор верит в духов, в пророческие сны и т.д. Тем не менее это – один из известнейших врачей-практиков в средней Италии.

Другой медик-геометр, некто Ж., писавший *"Руководство для врачей-практиков, выведенное из принципов синтетической физики"*. По его мнению, все болезни происходят от избытка теплоты или света, причем последний производит на организм охлаждающее действие; пьяницы подвержены тифу по той причине, что алкоголь содержит в себе промежуточный свет (luce interstiziale); кровопускания уменьшают количество теплоты и дают больному возможность пользоваться избытком света и т.п.

Далее в числе медиков следует упомянуть еще об авторе сочинения, носящего такое лаконичное заглавие:

О ТАЙНО-БРАЧНЫХ,
их физиологическом действии, их типах, их влиянии,
– как полезном, так и вредном, –
на твердые тела и на жидкие, на растения, животных и на
человека.

Физико-экспериментальное переисследование
с систематическими таблицами, разделенное на две части
по причинам фотографическим и медико-аграрным
и посвященное двум коллегам, занимающимся такими
вопросами,
уважаемым господам F.Z. и P.Z.

Но вот и сочинение врача-клинициста, который изобрел людей-центавров. Он лечит почти все болезни кровопусканиями то из одной руки, то из другой, то из обеих, причем перевязывает оперируемый член красным или зеленым шнурком и, несмотря на то, слывет за хорошего врача-консультанта в одном из больших

итальянских городов.

Следует также упомянуть о трех врачах (один из них пользуется громадной известностью), излечивающих холеру какими-то невинными солями, и еще об одном, впрочем, довольно талантливом медике, не лишенном научных познаний, который запруживал наши псевдоученые журналы статьями о болезнях кожи, где изобилуют курьезы вроде подвижной теплоты, диагноза прокаженных посредством измерения их ушей и т.п.

В заключение укажу еще на одного врача, пользующегося репутацией превосходного анатома и замечательного практика, который открыл, между прочим, что у некоторых племен сосудистые пятна составляют физиологическую особенность и что проказа (pellagra) есть следствие онанизма.

Еще не так давно профессор Z. издал книгу под заглавием: *"Словарь эклектического универсального самоисследования, или Цвет науки и богатое собрание прекрасных, благородных и полезных сведений по всевозможным отраслям знания – физике, философии и литературе, кратко, точно и ясно изложенных, выбранных из множества книг, трактующих о науке, искусствах и литературе и распределенных по научным отделам в каждой статье. Компиляция, составляющая плод 30-летних трудов Z."* Книгу эту расхвалили журналы того времени, находя, что она заполняет пробел в нашей литературе. Насколько справедлив такой отзыв, можно убедиться из содержания книги. В ней сообщается, между прочим, что вода в естественном состоянии есть твердое тело, что материк Америки появился на поверхности океана в недавнее время, что берлинская лазурь добывается из гусениц, что большая часть газов образовалась из жидкости, выделяемой камнями, и что "магнит содержит в себе много железа и масла, а так как хлористые соединения составляют основание фосфора, то этим обусловливается способность магнита гореть".

В Казале и до сих пор еще здравствует один знаменитый человек, сделавший великое открытие в области математики. Он написал трактат под заглавием: *"Истинная, практически полезная геометрия, неизвестная лучшим математикам, одобренная во всем объеме Королевской Академией Наук в Милане, в заседании 7 февраля 1861 года. Исследования автора предлагаются на суд разумных итальянцев-нематематиков, любящих покровительствовать талантам и не относящихся презрительно к людям, работающим для преуспеяния науки и для доказательства*

квадратуры круга".

Произведение это автор посвящает Наполеону III, заявляя при этом, что он уже много лет страдает под гнетом притеснений... Как бы вы думали – с чьей стороны? Со стороны туринской академии, а также со стороны Плана и целой армии математиков, не удостоивших никакого внимания представленные на суд их открытия – результат полумиллиона вычислений (неизданных).

Кроме того, у автора есть еще неизданное сочинение, в котором решаются 135 задач с помощью совершенно новых способов; оказывается, однако, что он считает математиков ломбардского института недостойными обладания подобным сокровищем; но учащаяся молодежь может воспользоваться им, уплатив 30 франков за право чтения, и автор предлагает ей сделать это, чтобы убедиться в неосновательности приемов, употреблявшихся до сих пор в высшей геометрии.

К числу маттоидов-графоманов принадлежит также некто С., человек лет 40, желчного темперамента, страдающий хореей лицевых мускулов. Он сын известного ученого, против воли был отдан в духовную семинарию и, выйдя из нее 16 лет, еще не сложившийся ни умственно, ни нравственно, написал сочинение в 360 страниц, хотя и одобренное иностранными журналами, но на этот раз несправедливо. Кроме того, он составил, по образцу обычных в средние века компендиумов, сокращенное руководство по всем наукам, входящим в курс светских и духовных учебных заведений, заявив при этом, что оно написано под влиянием вдохновения свыше и должно считаться лучшею книгою в целом мире: "Давно уже чувствовался недостаток в таком образцовом руководстве, которое разрешало бы задачу задач изобретением принципа из принципов". Уже из этого повторения одних и тех же слов, представляющего оборот речи, употребляемый обыкновенно помешанными, идиотами и первобытными народами, можно сделать известное заключение об умственных способностях автора; но ненормальность их будет еще яснее, когда мы узнаем, что открытый им принцип заключается в том, что природа "является без лиц в трех лицах" (*trinità délia natura*).

Положим, для воспитанника семинарии это еще не особенно патологическая идея, так как подобного взгляда придерживались многие в средние века, и в том числе Данте, следовательно, эта идея уже не нова; но курьезны те доводы, какими автор подтверждает ее. "Если бы мне возразили, – говорит он, – что в природе господствуют не 3

лица, а 4 или 5, то я ответил бы им на это стихом Данте:
"Словам их не давай значенья – и мимо проходи".

Через несколько времени этот субъект, переменив тему своих исследований, превращается в ярого поклонника Ламартина, хотя не забывает вместе с ним возвеличивать и себя. Он издал сочинение, где доказывается, что Ламартин – величайший человек своей эпохи, а после него первое место принадлежит автору сочинения, который при помощи изобретенной им формулы – "во всем есть Бог" – содействовал возрождению человечества и процветанию наук, так как этой новой формулы только и недоставало, чтобы дать синтез сотворения мира.

Далее в моей коллекции находятся сочинения по философии, одно нелепее другого. Есть даже трактат о психографии – совершенно новой философской системе, на которую я указывал уже раньше, и, кроме того, бесчисленное множество стихотворных произведений, которых я, впрочем, не стану касаться здесь, так как ими уже и без того много занимаются сатирические журналы: "Fanfulla" и "Pasquino". Мимоходом упомяну лишь об одной трагедии: "Жена-убийца", написанной привратником. Это не что иное, как разбиравшийся недавно в Тревизо процесс, изложенный псевдо-Альфьеривскими стихами.

Наконец, есть еще много произведений маттоидов-публицистов, предлагающих разные крайние меры относительно государственного благоустройства. В числе их особенно много экономистов, которые выступают с различными проектами в видах улучшения финансов Италии. Между прочим, по этому вопросу мне попалась брошюрка с таким заглавием: *"Об универсальном ростовщичестве как причине нарушения экономического равновесия в наше время, – рассуждения, почтительнейше предложенные одним избирателем на благоустройство его превосходительства, председателя Совета и министра финансов господина Марка Мингетти, с целью доказать необходимость, возможность, удобство и справедливость патриотического займа в четыре миллиарда только за один процент со ста, как единственное средство противодействовать ростовщичеству банков и добиться прочного равновесия в балансе, а через это и уничтожения принудительного курса без увеличения или изменения налогов"*.

Таково полное заглавие брошюры. Средство это основано на добровольной подписке или скорее принудительном займе через посредство богатых евреев. Нечто, как две капли воды сходное, предлагается также в брошюре под заглавием:

"Каким образом доставить министерству финансов и торговли миллиард, а вслед за тем и другие миллиарды".

**Приложение IV (к IX главе)
ГРАФОМАНЫ-ПРЕСТУПНИКИ**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**

Чезаре Ломброзо

(Манжионе, Детомази, Бианко, Гито, Санду)

Но едва ли не большую важность представляет изучение тех графоманов, которые из мнимолитературной сферы переходят часто в область политики и законовещения. Я назову их графоманами, сутягами, политиканами или, вернее, преступниками. Обыкновенно все они обладают даже особым почерком, как я доказал это в "Архиве психиатрии". Примеров такого рода накопилось за последнее время даже слишком много.

Начнем с Манжионе. Это человек, по-видимому, совершенно здоровый, хотя изредка у него бывает временный паралич нижней половины тела, но лишь на короткое время и притом без потери сознания. Он с любовью отзывается о своих защитниках на суде и об ухаживавшем за ним в больнице кураторе; обыкновенно бывает здоров и чувствует себя дурно лишь в исключительных случаях, перед наступлением грез, отличается хорошей памятью и кротким ласковым характером. Только в недавнее время, вследствие ли тюремного заключения или волнений по поводу процесса, у Манжионе начали появляться настоящие маниакальные приступы, но они исчезли после того, как его отдали на попечение доктора Фиордиспини.

Перепробовав различные ремесла, он 15 лет бежал из дома, скитался несколько времени и потом жил на средства своей сестры; после того он вздумал жениться и сделал это без согласия отца. В 1848 году он участвовал в восстании и в 1851 году попал за это в тюрьму. В 1860 году Манжионе снова принимал участие в борьбе за освобождение родины и служил Гарибальди проводником, но вследствие ссор то с национальной гвардией, то с своими начальниками принужден был удалиться. Тогда он стал переходить от одного занятия к другому – строил мосты, делал кирпич, пахал землю, служил при кладбище и всюду оказывался умным, дельным, честным работником, но в то же время крайне неуживчивым человеком; у него была положительно страсть к ссорам и тяжбам, в которых лишь самый повод бывал иногда справедливым, все же остальное являлось следствием мелочной, чисто безумной пунктуальности. Претензии свои он излагал в пространных записках, а если была возможность, то и в печатных статьях.

Этих последних у меня теперь под руками 23 штуки, и все они по содержанию почти одинаковы. В них автор то жалуется на некоего Фачоли, который обещал поставлять ему уголь по одной цене, а потом назначил другую; то укоряет супрефекта в том, что тот не принял его сторону в борьбе с коммунальными советниками Вараподио; то, наконец, оправдывается в преступлениях, будто бы взведенных на него врагами, или представляет на суд общественного мнения свои личные споры с разными лицами. Я не стану перечислять здесь всех произведений Манжионе; скажу только, что, судя по их многочисленности, можно смело утверждать, что они составляли главное его занятие и стоили ему больших расходов. Он сам признавался, что в продолжение 11 лет ежемесячно тратил не менее 175 рублей, чтобы отвечать своим клеветникам, а в процессе против синдика Джуссо показал в числе убытков сумму в 250 рублей, употребленных на составление различных бумаг и копий, хотя у него было четыре бесплатных переписчика. И это вполне понятно, если принять во внимание, что Манжионе сообщал публике всякие мелочи, его касающиеся, например, сколько фунтов хлеба он съедал в день, и печатал все, что попадалось ему под руку – даже счета своего сапожника. Стоило только кому-нибудь косо взглянуть на него в кофейной или, принимая партию кирпичей, ошибиться на одну дюжину, чтобы он тотчас же принялся строчить статьи по этому поводу и ухитрился найти тут связь с своими главными недругами – гражданами Вараподио. Один вполне достоверный свидетель выразил даже такое предположение, что Манжионе покушался убить графа Джуссо лишь за его отказ прочесть написанную им брошюрку "Блоха и Лев".

Характерные особенности произведений Манжионе составляют:

Во-первых, масса мелочных подробностей, заступающих здесь место фанатизма, свойственного другим маттоидам, и постоянное употребление двух или трех эпитетов к каждому слову.

Во-вторых, повторение стереотипных оборотов и фигуральных выражений, например, под Блохою он понимает себя, как сам же поясняет, а Лев служит у него эмблемой могущества различных синдиков, с которыми он боролся.

В-третьих, употребление разнообразных шрифтов и страсть к подчеркиванию слов; так, в прокламации на имя короля, расклеенной им по улицам Рима за несколько часов до

покушения, на 27 строках употреблено 7 разных шрифтов. Забавно, что тут же он поместил список своих сочинений, хотя эта прокламация писалась накануне задуманного им преступления.

В-четвертых, с психологической точки зрения эти произведения ненормальны потому, что в них преобладают идеи мегаломаньяка: он дал государственное устройство Италии, он один только честный человек и пр. Когда Никотера заметил Манжионе, что он сам отчасти виноват в своих несчастиях, так как был слишком неуживчив и сварлив, тот возразил на это: "Нет, мои несчастия следует приписать моей твердой и неизменной любви к родине, моему стремлению к гражданскому и моральному прогрессу, неподкупной честности, необыкновенным сверхъестественным дарованиям, деликатности, искреннему великодушию и непритворной гуманности, а в особенности моему постоянству в страданиях и надеждах и добродетельному образу действий". В "Pulse e Leone" он называет себя "наиболее гонимым и преследуемым из политических деятелей Италии".

В-пятых, кроме мегаломании у него всюду проглядывает еще идея преследования, и это понятно: так как никто не признает за ним величия, то ему поневоле приходится быть в разладе со всеми. Вместе с тем он, подобно прежним императорам, считает всякую обиду, нанесенную ему лично, оскорблением государства и придает преувеличенное значение каждой мелочи, его касающейся. Он жалуется не только на притеснения всякого рода – вымогательство, шпионство, но даже на то, что его собирались убить, отравить, сжечь живым в собственном доме.

В-шестых, изобилие мелочных, ненужных подробностей, например: "С 21-го числа и до сегодня, – пишет Манжионе ("Pulse e Leone") я довольствовался только 2,5 фунтами хлеба, данного мне в кредит Броно Раньеро, который ссужает меня также 15 сольди (20 к.) в день, причем я распределяю их таким образом: 7 сольди на бобы или чечевицу, 3 – на тесто, 3 – на масло и 1 – на уголья". В другом сочинении, говоря о том, что в продолжение 3 месяцев ему пришлось существовать на 13 сольди в день, он перечисляет – что именно покупал на них ежедневно.

В-седьмых, полнейшее отсутствие логичности, недостаток, всегда заметный в сочинениях душевнобольных, даже наиболее рассудительных. Так, Манжионе относит к числу преследований не только вполне невинные поступки окружающих, но даже самые ходатайства о нем и вообще

все, что делалось из желания облегчить его положение. На суде он горячо опровергал чрезвычайно полезное для себя показание свидетелей, что он находился в возбужденном состоянии после того, как совершил преступление, и с негодованием протестовал против высказанного кем-то подозрения в том, что приписываемые ему сочинения написаны не им самим, хотя это не могло повлиять на исход процесса.

Несмотря на то у Манжионе были далеко не дюжинные способности, все, за что только он не брался (а ведь занятия его отличались крайним разнообразием), доказывало его деловитость. Между прочим, исключительно лишь благодаря ему городское общество приобрело лишних 8 тысяч рублей при продаже земли. Сообразительность свою он не раз доказывал и на суде: так, когда его уличили в ложном показании относительно данной ему графом Джуссо пощечины, он возразил – это была моральная пощечина. Кроме того, он, подобно другим преступникам, утверждал, что не имел намерения убить графа, а хотел только его ранить, тем более что и удар был нанесен не кинжалом, а простым ножом. Наконец, нужно заметить, что Манжионе отличался замечательной честностью и бескорыстием. Жизнь он всегда вел самую скромную, отказывал себе во всем и нередко буквально голодал по нескольку дней. Когда правительственный инспектор навестил его, то застал в постели доведенным лишениями до крайней степени истощения и однако же не мог убедить его взять предложенные ему 25 рублей. Точно так же он не хотел пользоваться пособием от хозяина дома, где жил, и объявил, что примет помощь только от правительства, обязанного, по его мнению, позаботиться о нем.

Детوماзи, 38 лет, родом из Асти, графоман с склонностью к плутовству, хотя и не отличается никакими особенностями в физическом отношении, но подвержен галлюцинациям отдельных чувств.

Вот некоторые черты из его прошлого.

Отец его, в высшей степени честный человек, умер от апоплексии; сын с детства приводил в отчаяние всех домашних своими проказами. В молодости он был болен менингитом, а позднее – сифилисом и, кроме того, в одной схватке с полицией получил сильный удар в голову. Пьянствовал и развратничал Детوماзи ужаснейшим образом и постоянно менял занятия, так что в 33 года он уже успел побывать лакеем, столяром, хозяином кафе, приказчиком, комиссионером, служителем в банке, содержателем кабачка, шелководом, актером, фокусником

и даже испробовал свои силы на литературном поприще в качестве драматического и комического писателя. В продолжение этого времени его не раз арестовывали за присвоение чужого имени и за мошенничество в картах. Когда он узнал, например, что жена ему изменила, он смертельно ранил ее, попал за это под суд, но был оправдан и через полгода женился снова. Занявшись потом разведением шелковичных червей, он накопил грены, за которую не заплатил денег, был привлечен за это к суду и просидел 4 месяца в тюрьме. Затем в 1873 году его отправили в дом сумасшедших, где он сумел, со свойственной ему ловкостью, приобрести расположение служителей: помогая им в работах и благодаря этому пользуясь иногда отпуском, он наконец скрылся.

Через два года Детомази в пьяном виде сломал себе руку и снова попал в больницу для умалишенных; вначале у него не было заметно никаких болезненных признаков, кроме бессонницы и горделивого отношения к окружающим, но потом с ним сделался припадок временного помешательства, продолжавшийся часа три-четыре, во время которого он кричал и постоянно говорил бесстыдные речи, но, придя в себя, не помнил, что с ним было. После этого у него обнаруживались припадки настоящей эпилепсии, повторявшиеся три раза, несмотря на постоянное употребление бромистого калия и атропина.

По выходе из больницы он снова попадал то в тюрьму, то в дом умалишенных. Тут-то мне и пришлось выслушать его исповедь, причем я убедился, что этот человек совершенно лишен нравственного чувства: как мошеннические проделки, так и любовные похождения свои он считал не только дозволенными, но даже похвальными поступками. Часто повторявшиеся припадки эпилепсии настолько расстроили его умственные силы, что он, упоенный некоторым успехом своей комедии, дававшейся в Миланском цирке, и отзывами мелких газет, вообразил себя призванным к чему-то великому и составил план социальной реформы на основании теории, несколько сходной с дарвиновской теорией полового подбора. Так, он предполагал, между прочим, разделить всех девушек на три категории: самых молодых, сильных и красивых запереть в гарем и дать им в мужья наиболее здоровых, пылких молодых людей; потомки их мужского пола должны поступать в солдаты, а женского – тоже в гарем. Не обладающим физической красотой девушкам предоставляется выходить замуж за кого угодно, а безобразные обязаны сделаться публичными женщинами и отдаваться первому встречному без всякой платы.

Идеи свои Детомази вздумал однажды проповедовать на площади и, перейдя от теории к практике, пытался изнасиловать одну женщину, но был тотчас же арестован. Чтобы яснее представить всю нелепость взглядов этого маттоида, я приведу здесь отрывки из своего разговора с ним. Когда я спросил его, неужели мошенничество кажется ему хорошим делом, он отвечал мне:

Да ведь это только по вашим глупым законам мои поступки кажутся дурными, а я сам не считаю их такими. Мне деньги нужны для блага других, для того, чтобы пропагандировать мой план возрождения человечества.

В. Но ведь вы тратите же деньги и для себя лично?

О. Совсем нет, я все отдаю тем женщинам, которых хочу привлечь на свою сторону, и для этой цели я даже продал платье, доставшееся мне после отца.

В. Следовательно, чтобы достать денег, вы не остановитесь ни перед чем, даже перед убийством?

О. Конечно, я не прочь бы убить какого-нибудь богача. Чтобы ввести мою систему, мне необходимо много денег, несколько миллионов, и я уверен, что рано или поздно они будут у меня, – я думаю об этом день и ночь.

В. Кто же даст вам такие деньги?

О. Правительство или государство, в благодарность за изобретенную мною систему.

В. Но разве вам не приходит в голову, что ваша теория должна быть нелепа, если всякий раз, как вы пытаетесь осуществить ее на практике, вас арестовывают?

О. Это случается вначале при всяком нововведении. Чтобы новые идеи проникли в общество, нужно бороться за них, а потом уже дело пойдет без труда. Когда мир убедится в моей правоте, я получу награду, а все, кто преследовали меня, будут наказаны.

Далее, когда я заметил Детомази, что если он не изменит своего поведения и в будущем, то ему придется постоянно переходить из тюрьмы в дом умалишенных, а оттуда обратно в тюрьму, он отвечал:

Все это правда, я и сам знаю, что врежу себе, но как только меня выпустят отсюда, я опять примусь за прежнее. Та же самая штука выходит у меня и с пьянством, – я сознаю, что

мне вредно пить, и все-таки пью. Изменить своей натуры я не могу и решил или умереть в тюрьме, или привести свой план в исполнение".

В. Неужели вы не считаете преступлением изнасиловать женщину?

О. Какое же это преступление! Мужчина обязан выполнять свое назначение, а законы ваши должны быть изменены согласно с моими требованиями. Говорю вам, что настанет время, когда на моей стороне будет и правительство, и король. Обольстить женщину, по-моему, даже похвально.

В. Зачем же вы убили свою жену, когда ее обольстил другой?

О. Замужнюю женщину не следует трогать... она должна быть неприкосновенна.

В дополнение этого диалога упомяну еще о сочинениях Детомази, которыми он занимался постоянно в тюрьме и больнице, лишь изредка только уделяя часть времени на выделку прелестных шкатулочек. Между этими сочинениями есть прозаические и стихотворные. В первых сказывается иногда оригинальность – например юмористический список болезней, которыми страдал автор, но вообще они лишены каких бы то ни было литературных достоинств. Между стихотворениями есть очень недурные, как, например, "Цветы".

Цветы

По саду и рощам гуляя,
Нарвал я цветов для тебя;
Прими мой букет, дорогая,
Укрась им, друг милый, себя.
И роза в нем есть меж цветами –
Эмблема твоей красоты –
Вплети ее меж волосами:
Она хороша, как и ты.
Есть в нем и фиалка лесная –
Стыдливый прелестный цветок –
Украсит он, верь, дорогая,
Твой скромный душистый венок.
Есть лилия также в букете,
Чиста и невинна, как ты,
Ах, вспомни о бедном поэте
При виде ее красоты!
Как небо, цветы голубые
Нарвал я еще для тебя –
Пускай незабудки лесные

Расскажут тебе про меня.

Характерную же особенность всех произведений этого поэта-эпилептика составляют болезненный эротизм и теолого-коммунистические бредни.

Определить, какой именно формой умопомешательства страдал Детомази, чрезвычайно трудно; но не подлежит никакому сомнению, что это был психически ненормальный человек, доказательством чего служит отсутствие у него осязательной и болевой чувствительности, полная потеря нравственного чувства, обилие бессмысленных и безнравственных сочинений, а также нелепая теория социальной реформы и, наконец, его чудовищный эротизм – это последнее обстоятельство любопытно в том отношении, что организм Детомази был крайне истощен вследствие пьянства и множества болезней, как временных, так и постоянных, например сифилис, гонорея, эпилепсия и алкоголизм. Психическое расстройство выразилось у Детомази в сложной форме: он был в одно и то же время нравственно-помешанным, эпилептиком (хотя эпилепсия наверное обуславливалась злоупотреблением спиртными напитками), маттоидом-графоманом и мономаньяком. Природа, как видите, смеется над нашими классификациями, и если бы мы вздумали строго держаться их, то наверное наделали бы массу ошибок.

Мишель Бианко, 44 лет, геометр, служил сначала в министерстве финансов, а потом, когда его уволили, поселился на родине и в продолжение нескольких лет вел ожесточенную борьбу с капелланом и другими духовными лицами из-за того, что те не позволяли ему загородить вход в церковь забором и сложить возле нее навоз, что он считал себя вправе сделать, так как дом его был рядом с церковью. Он затевал не раз тяжбы по этому поводу и всегда проигрывал их, но это не убедило его в неправильности иска, а только заставило прибегнуть к самоуправству. С тех пор Бианко положительно начал преследовать капеллана и священников, так как, по его мнению, духовные лица утратили всякий *raison d'être* в наше время; он не давал им проходу на улице и одного из них даже оскорбил действием, за что и понес должное наказание. Однако это не заставило его угомониться: он входил в церковь с трубкой, расклеивал у дверей ее возмутительные прокламации и даже пытался поджечь ее, за что попал наконец в тюрьму. По произведенному над ним медицинскому исследованию, он оказался почти совершенно нормальным физически, но очевидно поврежденным умственно: чувствительность (*affettivita*) у него была несколько понижена, кроме того, замечались частые подергиванья лицевых мускулов. Он презрительно относился к родине, выказывал полное

равнодушие к своей семье и говорил, что любит только Италию вообще. Относительно религиозных вопросов он держался крайне радикальных убеждений, так что самые насилия над священниками казались ему доказательством гражданской доблести на том основании, что в конституционной Италии духовенство не должно быть терпимо.

Тщетно старались убедить его в противном, доказывая, что священники приносят пользу как духовные наставники народа: он упорно стоял на своем, что в настоящее время попы совершенно не нужны, что Турин, где их особенно много, гибнет именно благодаря им и что, будь он главою государства, их скоро не осталось бы ни одного. Религию Бианко считал, однако, необходимой, и только служители ее казались ему чем-то излишним. Так как доводы свои он основывал зачастую на бессмысленной игре слов (как, например функция и фикция) или на личном неудовольствии, то глубоких искренних убеждений в нем нечего и предполагать, а настойчивость его в преследовании священников объясняется просто однопредметным помешательством. Впрочем, у него есть и другая мания – обращаться всюду с петициями и просьбами: он подавал их и королевскому прокурору, и в различные министерства, и королю, и, наконец, даже самому Папе.

Уже самый факт подачи такого множества объемистых прошений заставляет предполагать, что Бианко принадлежит к тем несчастным субъектам, которые, вообразив себя преследуемыми, чувствуют неудержимую потребность описывать свои несчастья и тратят на это целые горы бумаги, чего здравомыслящий человек, конечно, не стал бы делать. Кроме того, в сочинениях Бианко всюду ясно обнаруживается пункт его помешательства – ненависть к священникам и жажда мести им. Что же касается изложения, то оно страдает обычными у графоманов недостатками – непоследовательностью, отсутствием логики, страстью к игре словами и подчеркиванию их. Любопытную черту этого графомана составляет его отвращение к устной речи: всегда готовый написать целые тома показаний, он упорно отказывался давать их на словах, так что даже на вопрос, за что его посадили в тюрьму, отвечал, указывая на груды исписанной бумаги: "Прочтите это и узнаете". Впрочем, этой особенностью отличаются все маттоиды, о чем мы уже говорили раньше. Бианко был отпущен на свободу и через несколько дней выстрелил два раза из пистолета в бедного сельского священника.

Карл Гито, 41 года, высокого роста, голова микроцефала с

приплюснутым лбом и вдавленным черепом на левой половине, вследствие чего заметна асимметрия лица и головы. Некоторые врачи отрицали, впрочем, этот последний признак, другие же считали его несущественным, тем более что подобные неправильности строения черепа бывают даже у людей замечательно умных. С своей стороны я замечу, что важность какой бы то ни было аномалии у помешанных никак нельзя отрицать лишь на том основании, что она встречается иногда у здоровых людей, иначе психически больными пришлось бы считать только субъектов, страдающих настоящим безумием или бешенством.

Гито родился в семье гугенотов-фанатиков. Дед его с отцовской стороны, врач, между прочим, доказал свой религиозный фанатизм тем, что дал своим сыновьям странные имена Лютера и Кальвина. Наследственную склонность к умопомешательству он легко мог получить от своих родных, у теток дети все более или менее страдали душевными болезнями; один из его двоюродных братьев, гениальный музыкант, умер сумасшедшим; двоюродная сестра с 15 лет впала в религиозную мономанию, а дядя в старости лишился рассудка. Отец Карла, Лютер Гито, считался, впрочем, смирным, хорошим человеком, и только относительно религиозных вопросов выказывал безумный фанатизм, – считал себя, например, соединившимся со Христом даже материально. Однако и он умер вследствие припадков бреда. Из сыновей его у двоих череп был неправильной формы, а третий доказал свою жестокость тем, что на суде с яростью нападал на брата. Что же касается Карла, то его уже давно считали страдающим религиозным помешательством, и ненормальность его умственных способностей была официально констатирована врачами-психиатрами за много лет до убийства президента.

В Нью-Йорке Гито прожил два или три года – на счет своих родственников или знакомых, будто бы для изучения юридических наук; затем, вернувшись в Чикаго, продолжал вести тот же образ жизни паразита. Предположение его издавать религиозную газету "Теократ" не осуществилось, так как в печати было высказано, что одного этого названия достаточно, чтобы издание не пошло. Относительно религии Гито держался того мнения, что для церковной реформы необходимо уничтожить сначала все храмы.

Через несколько времени Гито, однако же, сам сделался приверженцем и миссионером одной из бесчисленных в Америке сект, из членов которой его, впрочем, скоро исключили за неприличное поведение в храме. Вслед за тем и брат выгнал Карла из своего дома за его интриги. Тогда

ему пришлось посидеть в тюрьме по обвинению в присвоении чужого имущества и в мошенничестве. Обвинение основывалось, между прочим, на том, что, задумав читать лекции в различных городах, он в объявлениях называл себя великим правоведом из Чикаго и не платил в гостинице за свое содержание.

Прозанимавшись усердно месяцев пять, Гито наконец приготовился в адвокаты и некоторое время зарабатывал по 2000 долларов в год. Он заказал себе тогда визитные карточки, на которых называл себя советником и знаменитым прокурором.

Далее он присвоил себе еще титул почтенного теолога и, когда его укоряли за это, объяснял свой поступок тем, что в тюрьме он встретил правоведа, сделавшего то же самое. Странное оправдание!

Около этого времени Гито женился на некоей Анни и вначале жил с нею мирно, но потом стал дурно относиться к жене и однажды запер ее в кабинете уединения, так что бедная женщина едва не задохнулась там. После этого между ними состоялся формальный развод. В 1879 году Гито вздумал читать лекции в Нью-Йорке и на первой же из них устроил скандал, объявив, что предметом лекции будет "существование ада", но вместо того начал говорить о пришествии Христа и через четверть часа исчез с кафедры, прежде чем негодующие слушатели успели выразить свой протест по поводу такого обмана. Позднее он напечатал, однако, относительно существования ада брошюру, не представляющую никакого интереса.

Живя в Нью-Йорке без определенных занятий, Гито стал весьма часто появляться в приемной президента и все добивался личного свидания с ним. Никто не обращал на это особенного внимания, хотя просителя считали помешанным, так как он выражал желание получить место то министра в Австрии, то консула в Ливерпуле или Париже, а в своих письменных прошениях развивал мысли, доказывавшие ненормальное состояние его умственных способностей, и к тому же еще никогда не подписывал их. К прошениям обыкновенно прикладывался печатный текст речи, будто бы произнесенной им в Нью-Йорке, хотя этого не было в действительности. Кроме того, нередко присылал президенту письма такого содержания: "Скорблю о борьбе, которая завязалась между вами и сенатором С. Правда на вашей стороне, будьте стойки, я обещаю вам свою помощь и поддержку патриотов. Уделите мне несколько минут для личных переговоров".

Манеры Гито представляли смесь рабского смирения и смешного чванства. Серьезно относиться к нему можно было лишь с первого взгляда; но поговоривши с ним, вы скоро убеждались, что это человек ненормальный, добивающийся известности во что бы то ни стало и думающий только о том, чтобы занять собою прессу. Свидетель Шау показывал на суде, что Гито уже много лет тому назад говорил ему о своем страстном желании прославиться каким бы то ни было способом – если не подвигом, то хотя бы преступлением, причем указал на Буса, убийцу Линкольна. А когда свидетель возразил, что за это полагается смертная казнь, Гито отвечал: "Это уже вопрос второстепенный".

Служивший у Гито в продолжение года секретарь говорил, что он весьма щедр был только на обещания, но не платил никогда и что в столе у него хранилась куча фальшивых денежных расписок. Бумаги он тратил громадное количество, так как писал постоянно. При разговоре он никогда не смотрел в лицо своему собеседнику, и глаза его вечно бегали по сторонам. Он предполагал, что сделанные им долги будут уплачены самим Богом, в награду за его успешную проповедническую деятельность, хотя в то же время позволял себе чисто мошеннические проделки, например отдавал в заклад бронзовые вещи под видом золотых, удостоверяя свою личность визитной карточкой, которую потом незаметно брал назад, и перед друзьями хвастался своей ловкостью.

Решившись убить президента, Гито предварительно осмотрел тюрьму, в которой ему предстояло сидеть за это преступление, а по совершении его прежде всего стал хлопотать о том, как бы отправить в газеты извещение об этом событии. Зятю своему он рассказывал, что мысль убить Гарфильда явилась у него шесть недель тому назад.

Я уже лег в постель, – говорил он, – но еще не спал, как вдруг меня осенило вдохновение, говорившее мне, что я должен убить Гарфильда и тем положить конец затруднению, в какое поставлена республиканская партия. Встав поутру, я забыл про это внушение свыше, но затем стал думать о нем каждый день и, чем, больше думал, тем сильнее убеждался, что сам Бог повелевает мне убить господина Гарфильда. Ненависти у меня к нему никакой не было: напротив, я уважал его, но мне казалось, что ему необходимо сойти со сцены для блага страны и что этого желает народ.

Когда Гито напоминали, с каким негодованием отнесся народ к его преступлению, он отвечал, что идеи его

непонятны толпе. Судебному следователю он сказал:

Я был убежден, что исполняю волю Божию, но, может быть, я ошибся; мне думается теперь, что Богу не угодно было, чтобы Гарфильд умер; теперь же, будь у меня даже возможность повторить покушение, я не сделал бы этого. Если бы сам Бог назначил президенту умереть, то он не остался бы в живых. Пистолет был хорошо заряжен, и рука у меня не дрогнула, я стрелял почти в упор, так что лишь одно божественное провидение могло спасти президента. Он не умрет, я в этом уверен и сожалею о причиненных ему страданиях. Отныне всякая попытка убить его не будет иметь успеха, потому что если это не удалось мне, то никакая пуля уже не страшна ему. Значит, так предназначено свыше и надо покориться воле неба.

Другим Гито говорил, что выстрелил в президента с целью спасти республику.

В числе бумаг, найденных у него в момент совершения этого кровавого дела, было следующее заявление:

В Белый дом.

Трагическая смерть президента составляет для меня печальную необходимость вследствие моего желания соединить республиканскую партию и спасти республику. Жизнь человеческая имеет мало цены. Во время войны тысячи храбрых людей падают мертвыми, не вырвав ни одной слезы. Я предполагаю, что президент хороший христианин, и потому ему лучше будет в раю, чем здесь на земле, и пр. Я – законовед, теолог и политик. Я – демократ из демократов; у меня приготовлено несколько таких заявлений для печати и оставлены у Бече (Весе), где репортеры могут видеть их. Я отправляюсь в тюрьму.

В продолжение разбирательства на суде он беспрестанно перебивал своих защитников и всячески оскорблял их или же просил, чтобы ему назначили других адвокатов, обещая заплатить им... из общественных сумм.

Когда же ему было предоставлено слово, он заявил:

Я прерывал адвокатов и судей потому, что мне нужно было высказать факты громадной важности, имеющие целью разъяснить, кто из нас – я или сам Бог – нанес первый удар; на этом основании я придаю особенное значение своим запискам. Физически я гадок, нравственно же обладаю мужеством, когда мне помогает Бог. Я исполнил то, о чем говорили газеты, но я не сделал бы этого, если бы не

получил повеления от Бога: я всегда был служителем Бога. Он руководил моими поступками, как некогда жертвоприношением Авраама; те, кто нападают на меня, будут наказаны смертью. Пускай присяжные решат, – прибавил он потом, – действовал ли я по наитию свыше.

В другой раз Гито, сравнивая себя с апостолом Павлом, сказал: "Подобно ему, я стараюсь привести мир в содрогание. У меня, как у него, нет ни золота, ни друзей, и, подобно ему, я окружен дикарями". Далее он заявил, что наитие, подталкивавшее его на убийство Гарфильда, продолжалось две недели, в продолжение которых он не мог ни спать, ни есть, пока не совершил кровавого дела, но после того спал отлично, хотя и находился в тюрьме. На вопрос, что такое наитие, Гито отвечал:

Разум находится тогда во власти высшего божества и не управляет поступками человека. Вначале меня ужаснула самая мысль убить кого-нибудь, – продолжал он, – но после я убедился, что это было истинное вдохновение. Невозможно, чтобы я был сумасшедший: Бог не избирает своих служителей среди сумасшедших. Он охранял меня, и потому я не был ни расстрелян, ни повешен. В конце концов Бог накажет своих заклятых врагов.

Правда, на суде перед присяжными Гито старался выдать себя за помешанного, но ему и не оставалось ничего другого, после того как эксперты отвергли его уверение, что он действовал по наитию свыше, под влиянием болезненного, неудержимого аффекта. Однако из этого еще не следует, что бы он был в здравом уме: все умалишенные, кроме страдающих манией самоубийства, непременно прибегают к различным уловкам для своего оправдания и пускаются на всякие хитрости, лишь бы спасти свою жизнь. А Гито даже и не приходилось прямо лгать – он только преувеличивал как свое безумие, так и свои мрачно-горделивые религиозные представления, натолкнувшие его на преступление. Свойственную же ему сварливость он выказывал на суде даже как будто помимо своего желания, так как нападал и на тех, кто доказывал его психическое расстройство, и на тех, кто опровергал его. Самых горячих сторонников своих он оскорблял непозволительным образом, называя их дураками, невеждами и пр. Адвокату своему (Сковиллю) Гито прямо сказал: "Ты такой же сумасшедший, как и я". Доставалось также и присяжным, хотя их-то именно и следовало расположить в свою пользу.

Когда обвинитель указал на испорченность Гито в отношении нравственности, тот возразил ему на это: "Я всегда был хорошим христианином; если я нарушил супружескую верность с целью отделаться от женщины,

которую не любил, и задолжал несколько сот долларов, то подобные факты нисколько не вредят моему доброму имени". Эти слова доказывают смутность нравственных понятий подсудимого.

Тут же на суде выяснилось, до какой степени было развито у Гито чисто бешеное тщеславие. Так, он, точно какой-нибудь знатный барин, с важностью объявил присяжным, в какие именно дни у него бывает прием посетителей: кроме того, он не раз высказывал перед публикой такие вещи, которые только усиливали раздражение против него, например, что на Рождество он получил отличный обед и множество цветов и фруктов, присланных ему дамами, что в следующие дни посыльный доставил ему до 800 писем, что некоторые дамы из высшего общества просили у него автограф, называя его великим человеком, но он остался к этому равнодушен, наконец, что ему присланы деньги, около тысячи долларов... Вероятно, кто-нибудь просто подшутил над ним, а он этим хвастался!!!

Когда на суде стали разбирать сочинение Гито "Книга истины", он вскричал: "Это есть результат божественного вдохновения" и пришел в страшную ярость, когда ему указали на позаимствования из статьи одного автора, тоже маттоида. В числе других курьезов любопытно признание Гито, что он нарочно купил пистолет с ручкой из слоновой кости, хотя и стоивший дороже, так как знал, что его станут показывать публике. Немногие врачи, признавшие Гито душевнобольным, указывали в числе других признаков ненормальности и на его почерк, совершенно сходный с теми образцами почерка графоманов, которые были приведены мною в "Архиве психиатрии". Вот как он подписывался:



Многие из врачей психиатров, положительно отрицавших помешательство Гито, сделали это, конечно, на том основании, что у него не замечалось той классической формы безумия, которая выражается резко-определенными признаками, а была лишь промежуточная, свойственная маттоидам, степень душевного расстройства с примесью религиозной и горделивой мономании, затемненной, однако, склонностью к плутовству, так редко встречающейся у помешанных в полном смысле слова и так часто у маттоидов. Этой склонностью Гито обладал в такой сильной степени, что она ни на минуту не изменила ему как в течение всей его предыдущей жизни авантюриста, так и во время процесса, что, конечно, могло ввести врачей в

заблуждение при постановке диагноза.

Действительно, нельзя не изумляться находчивости и сообразительности, обнаруженным Гито на суде. Когда эксперт Диамонд сказал, что для решения вопроса о том, страдает ли известный субъект умопомешательством, необходимо очень долго наблюдать за ним и что сам он слишком недостаточно изучал душевные болезни, чтобы ответить на этот вопрос, не рискуя ошибиться, – обвиняемый тотчас же заметил ему: "Это самое лучшее из всего, что вы здесь говорили". Когда после указания Гито на божественное заступничество, сохранившее его от повешения и расстреливания, его спросили, рассчитывает ли он и впоследствии избавиться от смертной казни, он отказался отвечать. Умопомешательство свое он сначала отрицал, а потом начал настаивать на нем; но убедившись, что то и другое невыгодно для него, стал избегать прямых ответов и наконец объявил, что предоставляет решение этого вопроса экспертам. На замечание, что подсудимый не убил бы Гарфильда, если бы тот назначил его консулом, он возразил: "Нет, убил бы во всяком случае", хотя раньше говорил противное. Мошеннические и безнравственные проделки свои Гито, как мы уже видели, считал не заслуживающими внимания пустяками, а когда ему указали на сделанные им долги, то он, нимало не смущаясь, воспользовался этим, чтобы подразнить председателя, над которым постоянно издевался, и сказал ему: "Я открыто просил денег у первого встречного, и он давал мне, если мог. Когда вам будут нужны деньги, вы также можете занять у меня".

Основываясь на том факте, что Гито выказал большую ловкость и корыстолюбие, когда из тюрьмы написал Камерону письмо с просьбой прислать 100 долларов, причем доказывал, что имеет право на вознаграждение, пожертвовав собою для его партии, эксперт Календер отрицал в подсудимом всякое умственное расстройство.

Это письмо, – сказал он, – служит несомненным доказательством здравомыслия Гито, так как он указывает в нем не только большую сообразительность при выборе лица, у которого просит денег, но и умение подкрепить свою просьбу вескими аргументами.

Но, по-моему, ни эта расчетливость, ни прежние мошеннические проделки не опровергают умопомешательства Гито. В своем журнале "Архив психиатрии" я уже доказал вместе с Альбертотти и Перотти, как часто психическое расстройство встречается именно у мошенников и проявляется не во время суда только, но и

гораздо раньше, пример чего мы, впрочем, уже видели в Детомази. Уловки и хитрости, употребляемые такими субъектами во время судебного разбирательства всего чаще во вред себе, я, напротив, объясню именно тем, что у них склонность к притворству не сдерживается рассудком и что вследствие своей ненормальности они чувствуют и рассуждают обо всем иначе, нежели здоровые люди. К тому же разряду явлений относится замечаемая у истеричных полупаралитиков и алкоголиков наклонность ко лжи, притворству и клевете. Наконец, эксперт Мак-Дональд высказал мнение, что помешанные, считающие себя вдохновенными, действуют без заранее обдуманного намерения, не заботясь о последствиях и не стараясь избежать ответственности, а между тем Гито поступал как раз наоборот.

В опровержение этого мнения достаточно припомнить приведенные нами выше эпизоды из биографии Мале, Бозизио, Детомази, Лазаретти и даже самого Савонаролы.

Из всех этих примеров читатели, надеюсь, убедились в существовании особой разновидности помешанных или полупомешанных, людей крайне раздражительных и до такой степени тщеславных, жаждущих известности, что они готовы добиваться ее всеми способами, но чаще всего покушением на жизнь коронованных или важных особ. Впрочем, я не сказал здесь ничего нового. Тем же вопросом занимались и другие врачи, и я, как мне кажется, только обстоятельнее разобрал подобные случаи, к сожалению, слишком многочисленные. Немало приведено их, между прочим, у Тардые в его "Судебно-медицинских этюдах помешательства". Для большей полноты моего исследования я приведу несколько примеров из этого сочинения.

Перед нами некто Буш-Гильтон; 59 лет, из хорошей семьи. Один из его братьев был помешанный. В молодые годы ему пришлось несколько раз сидеть под арестом за бродяжничество и мошеннические проделки. Во время революции 1831 года он сражался во главе отдельного отряда, причем сам произвел себя в полковники, а по окончании военных действий потребовал, чтобы за ним оставили это звание и дали ему вознаграждение в 75 тысяч рублей.

Не добившись ни того, ни другого и желая привлечь к себе общее внимание, он принялся всячески досаждать правительству и распространял гнусные сатиры на Людовика Филиппа. С толпой таких же недовольных Гильтон ходил по улицам, продавал мазь, сделанную из

костей и крови убитых на поле сражения, а затем их трости, зонты и т.п. Арестованный за это два раза, он таким образом добился желанной известности.

Чтобы избавиться от воображаемых врагов, он поставил у окон дома, где жил, куклы в солдатских мундирах, а во дворе стал держать своих любимых коз и колотил каждого, кто осмеливался заявить ему, что так нельзя поступать. Кроме того, он вздумал возвести стену на чужой земле и, конечно, должен был сломать ее после целого ряда тяжб; всем соседям своим он задолжал, но платил им только одними оскорблениями.

Потом Гильтон отправился в Англию и, услышав, что туда должен приехать Людовик Филипп, просил у лондонского лорд-мэра позволения арестовать короля как своего мнимого должника. Когда же приезд короля замедлился, то Гильтон, вообразив, что Людовик Филипп боится встречи с ним, послал во Францию формальную жалобу на короля, адресованную его собственному министру внутренних дел. Главное занятие этого графомана состояло в писании писем, просьб, петиций, пасквилей и пр.; он писал всегда, везде, по всякому поводу и без всякого повода, писал королю, в различные правительственные учреждения, депутатам и даже соседям, причем, конечно, тратил целые горы бумаги, хотя был так бережлив на нее, что не оставлял неисписанным ни одного уголка, а строки располагал и вдоль, и поперек, и наискось. Почерк у него крупный, но четкий, орфографических ошибок много, выражения всегда резкие и грубые.

Наружность у Гильтона отталкивающая, глаза плутовские, говорит он плавно и заканчивает фразы громким смехом, постоянно употребляет клятвы и уверения "честным словом", обвинения умеет ловко парировать. Так, например, в суде он приводил в свое оправдание такого рода доводы: "У меня было столько процессов, что теперешний может доставить мне только одно удовольствие. Я отзывался непочтительно о короле не из личной ненависти, но чтобы хотя на бумаге излить свой гнев на испытываемые мною несправедливости. В мошенничестве меня обвинили с тою целью, чтобы лишить награды за услуги, оказанные отечеству", и т.д.

Заметив, что эксперты склонны признать его умалишенным, Гильтон заподозрил в них сообщников заговора, устроенного с этой целью против него королем, и написал ему: "Ваше величество прислали ко мне троих господ, чтобы убедить меня, будто я сошел с ума, из чего я заключил о существовании заговора с намерением выдать меня за

помешанного. Если сон вашего величества улучшился с тех пор, как я в тюрьме, то ваше величество будете спать еще лучше, когда меня казнят". А судье он написал: "Я прибыл во Францию для того, чтобы досадить Людовику Филиппу, когда он увидит меня среди сражающихся. Здесь я попался в западню. У вас остается только одно средство избавиться от меня – дать мне яду". И мало-помалу он действительно стал думать, что его хотят отравить.

Талантливый адвокат Санду добился выдающегося положения только благодаря своим заслугам, но потом за какие-то промахи был уволен от службы. Он обратился тогда за помощью к министру Бильо, своему бывшему товарищу, и тот несколько раз давал ему пособия, но, заметив в нем расстройство умственных способностей, отказался от него совершенно. После этого Санду начал преследовать министра просьбами, униженными и в то же время угрожающими, причем ссылаясь именно на прежнюю помощь как на что-то обязательное и в будущем. Его поместили в больницу, где после тщательной экспертизы врачи признали его помешанным. По выходе оттуда он снова стал подавать то раболепные до крайности, то надменные до безумия прошения: называя себя в них главою несуществующей партии, жаловался, что его хотят убить, вследствие чего грозил, что прежде он сам убьет министра, хотя его же умолял исполнить его последнюю волю и похоронить в назначенном им месте. Нашлись знаменитые адвокаты, в том числе Фавр, сумевшие придать этому делу государственное значение. Когда начались общие выборы, Санду вообразил, что Карно постарается провести его в депутаты от Парижа, затем стал мечтать о какой-то необыкновенно блестящей женитьбе, которая ему предстоит, и собирался писать большое сочинение о демократии, чтобы попасть в члены парижской академии. По временам он жаловался, что крысы обгрызли ему голову, что одна половина тела у него слабее другой, и покушался на самоубийство. Характерную особенность его составляет громадное число написанных им в тюрьме и на свободе сочинений и писем, переполненных постскриптами, подчеркнутыми словами и всегда буквально одинаковых по содержанию. Несмотря на такие явные признаки ненормальности, многие укоряли Бильо за его равнодушие к судьбе несчастного Санду. Вскрытие обнаружило у него в мозгу весьма серьезные повреждения, происшедшие от менингита, и тогда только большинство убедилось в психическом расстройстве бедного адвоката.

Некто М.А. выдавал себя за профессора Оксфордского университета, одержавшего победу над 300 кандидатами и получающего 20 тысяч рублей жалованья, хотя совсем не

владел английским языком и плохо знал латинский; но он изобрел такой способ обучения, с помощью которого даже не знающий английского языка мог преподавать его. Живя в Лондоне, М.А. познакомился с одной княгиней и вообразил, что она влюблена в него, хотя та вскоре даже отказала ему от дома. Он издал тогда объемистый том мемуаров, где обвинял княгиню в похищении у него портфеля; затем писал обличительные статьи против министра и подавал докладные записки то в парламент, то в палату лордов. Один из этих последних обещал даже автору сделать по поводу его записки интерpellацию, но в это самое время М.А. вдруг переехал в Париж, где его принял под свое покровительство капеллан императора.

После падения империи М.А. обратился к лиможскому епископу; однако тот сразу понял, с кем имеет дело, и отправил просителя в больницу для умалишенных. По выходе оттуда М.А. начал процесс против епископа.

Впоследствии он замешался в какую-то полубонапартистскую, полуреспубликанскую шайку и, вообразив, что напал на след обширного заговора, сообщил об этом министру Лефрану, который сначала отнесся к М.А. серьезно и обещал рассмотреть его тяжбы, но потом, убедившись в помешательстве мнимого профессора, поместил его в больницу св. Анны. М.А. ябедничал там директору на всех больных, а выйдя из больницы, стал писать в правление доносы на директоров.

В заключение приведу еще один любопытный пример, взятый мною из брошюры профессора Морселли "Гений дома умалишенных".

Виргилий Антонелли считался у себя на родине, в Мархии, некоторого рода литературной знаменитостью, хотя стихи его не отличаются особыми достоинствами, точно так же как и написанная им автобиография. Жизнь этого маттоида-графомана сложилась крайне печально, отчасти по его собственной вине. Вот как описывает ее Морселли:

Поступив на корабль юнгой в 1861 году, он через 6 лет был подвергнут дисциплинарному взысканию, а потом в 1867 году, уже будучи матросом, просидел 8 месяцев в тюрьме за самовольную отлучку с целью побывать в Ментане. На следующий год он опять дезертировал, но его поймали и приговорили к суровому наказанию, которое, однако, было отменено судом, признавшим Антонелли экзальтированным.

В 1869 году он присужден был к дисциплинарному

взысканию за ругательную статью против журнала "Dovere" и за дурное поведение. Тут ему часто усиливали наказание, сажали на цепь, оставляли на хлебе и на воде и, наконец, предали военному суду, который приговорил его еще к двум годам тюремного заключения. По дороге к тюрьме Антонелли повздорил с карабинерами, и по жалобе их Верховный совет адмиралтейства увеличил ему наказание на шесть месяцев.

Наконец, после целого ряда других дисциплинарных наказаний, он в 1873 году был уволен в чистую отставку и, вообразив себя теперь вполне свободным гражданином, стал вести жизнь праздношатающегося, нимало не заботясь о гражданском кодексе законов. Но через несколько месяцев бедняк просидел опять 6 недель под арестом в Реджио Эмилия, как не имеющий определенных занятий. Потом его отправили на родину, откуда он ушел в 1874 году и снова попал в тюрьму Мачерато, где его продержали более полугода. Выпущенный на свободу, Антонелли отправился в Рим, но там его задержали за бродяжничество и после непродолжительного ареста вернули домой. Через несколько времени ему снова пришлось посидеть в тюрьме за оскорбительное письмо, адресованное супрефекту, после чего суд приговорил его к отдаче под надзор полиции на полгода. Вслед за тем он, как бродяга и праздношатающийся, попал уже в последний раз в тюрьму, откуда сам попросил, чтобы его перевели в больницу для умалишенных. Там он скоро ужасно надоел всем своими дерзкими выходками и старанием перессорить больных между собою, так что в мае 1877 года его перевезли в другую больницу.

Здесь-то и наблюдал его проф. Морселли.

Больной обыкновенно бывает спокоен, – пишет он, – и только по временам обнаруживает сильную ажитацию, но как в том, так и в другом состоянии у него проявляются одни и те же странные идеи: он считает себя душевнобольным, окончательно потерявшим рассудок, и в то же время непонятым гением, первостатейным, неистощимым писателем. Поэтому у него одновременно существуют как бы два борющихся между собою сознания, из которых каждое заставляет его думать и действовать различным образом. Когда верх берут здравые понятия, М.А. сознает, что он человек ненормальный, что представления его ложны, поведение нелепо, а мрачные мысли составляют результат болезненного возбуждения; когда же победа остается на стороне этого последнего, М.А. впадает в мизантропию, бредит своим величием, начинает в волнении бегать по комнатам и громко бранить всех

негодьями, лицемерами, иезуитами... В продолжение обоих этих периодов он постоянно пишет обличения на своих врагов, причисляя к ним всякого, кто занимает в обществе выдающееся положение по своему богатству, титулам или дарованиям. Как социалист и крайний демократ, М.А. ненавидит аристократов и постоянно называет себя несчастным гением, терпящим гонения от всех сатрапов, господствующих в стране. Письменные произведения его чрезвычайно многочисленны, так как сочинительство – его главное занятие; в 1882 году он писал, например, три романа зараз, из которых один назывался "Путешествие из Анконы в Рим", другой – "Завещание священника" и третий – "Убитый граф". Плодовитость его изумительна: за последние месяцы он написал несколько эпизодов из своей скитальческой жизни, исследование относительно "обучения пролетариев-рабочих" и вместе с тем принимал деятельное участие в "Журнале дома умалишенных в Мачерато", для многих номеров которого составлял ежедневную хронику больницы с передовыми статьями, шарадами, юмористическими очерками и пр. Ко всему этому необходимо еще присоединить несметное число записок, обращенных то к директору, то к членам своей семьи, где высказывались самые задушевные мысли автора. Кроме того, он сочинял письма, петиции и прошения от имени других больных и служителей, избравших его своим секретарем. М.А. обещал написать также комедии и трагедии для нашего маленького театра, устроенного в больнице. Составленный им по моей просьбе список всех его произведений вышел до того длинен, что я не решаюсь привести его целиком и укажу лишь на особенно характерные заглавия:

"Тайны чудовищной жестокости в морской службе,
или Ретроградный прогресс XIX столетия" – соч.
в 5 частях.
"Корабельный юнга" – поэма в рифмованных
октавах.
"Романтический сборник" – один том.
"Избранные письма" – один том.
"Пауперизм в Италии и средства к его
уничтожению" – поэма.
"Скучающий холостяк" – юмористическая пьеса
в 5 действиях.
Переводы с латинского (?).
Сонеты, эпиграммы, акrostихи, шарady,
загадки, ребусы и пр.
Статьи, напечатанные в различных журналах,
как, например,
в "Il Dovere, Corriere di Marche" и пр.

Автор очень высокого мнения обо всех этих произведениях; и действительно, хотя в них встречается перефразировка одних и тех же идей, хотя нередко они оставляют много желать со стороны ясности изложения, но в них проявляется иногда увлекательное красноречие и – что еще удивительнее – заметна строгая логичность, свидетельствующая об умении автора достигать главной цели – убедить читателя в своих необыкновенных дарованиях и в роковой силе печальных обстоятельств, омрачивших этот светлый ум. Своими сочинениями М.А. не только думает прославить себя, но и опозорить своих бесчисленных воображаемых врагов, ухитрившихся столько времени продержать его в тюрьмах. При этом он, однако, не скрывает, что ему недостает знаний по части социологии и что убеждения его шатки; в самом деле, они до того неустойчивы, что М.А. легко доказать, с помощью логических доводов, нелепость его поступков и бессмысленность проводимых им идей, например относительно социализма, интернационализма и пр. Под влиянием таких доводов он нередко сознает неосновательность своего предположения, будто все общества вооружились против него, причем даже сам объясняет свои заблуждения и странные поступки расстройством своих умственных способностей, которое вызвано роковыми случайностями его жизни, исполненной тревожений всякого рода.

**Приложение V (к XI главе)
АНОМАЛИИ ЧЕРЕПА У ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ**

**ГЕНИАЛЬНОСТЬ И
ПОМЕШАТЕЛЬНОСТЬ**

Чезаре Ломброзо

Я уже говорил раньше о таких аномалиях и теперь прибавлю лишь несколько новейших наблюдений в том же роде, заимствованных у Канестрини, Мантегацца, Фохта и др. Кроме того, я сам подробно исследовал череп Вольты и нашел в нем, при замечательной красоте формы и несомненно большей против обыкновенного емкости* многие из тех особенностей, которые, по мнению антропологов, составляют принадлежность низших рас; как, например, выпуклость шиловидных отростков, малая извилистость венечного шва, следы среднего лобного шва, тупость лицевого угла (73°) и в особенности сильные черепные склерозы, доходившие местами до 16 миллиметров, отчего зависел и значительный вес черепа – 753 грамма.

* Емкость черепа Вольты 1865 см³, емкость глазниц 55 см³, окружность черепа 570 мм, ширина лба 120 мм, показатель черепной 775 мм, показатель вертикальный 720 мм, показатель черепно-глазничный 33 мм, показатель черепно-спинальный 22 мм.

Емкость черепа Бруначчи 1700 см³,
Петрарки – 1602,

Фузиньери – 1602,
Данте – 1493,
Фосколо – 1426,
св. Амвросия – 1792,
Скарпа – 1455,
Романьози – 1819 (?).

Из этой таблицы видно, что емкость черепа Вольты – наибольшая: средняя же емкость, по Калори, считается для итальянцев 1551, а по Делоренци – 1554. Средний вес мозга Гадди принимает в 600, но большинство – в 500.

Окружность черепа св. Амвросия 533 миллиметра Бруначчи – 550, Фузиньери – 544, Петрарки – 540, Фосколо – 530, Данте – 520, Доницетти – 574, Беллини – 550.

У Вагнера приведены следующие данные относительно веса мозга геттингенских ученых:

Дирише, математик (54 лет) – 1520 граммов
Фукс, медик (52) – 1499
Гаусс, математик (78) – 1492
Герман, философ (51) – 1358
Гаусман, минералог (77) – 1266

Бишоф для ученых Мюнхена нашел такие цифры:

Герман, геометр (60) – 1590
Пфейфер, медик (60) – 1488
Бишоф, медик (79) – 1452
Мельхиор-Мейер, поэт (79) – 1415
Губер, философ (47) – 1499
Фальмейер, химик (74) – 1349
Либих (70) – 1352
Тидеман (79) – 1254
Гарлесс (40) – 1238
Деллингер (71) – 1207

Наибольший вес мозга (1925-2222 граммов) найден был у неизвестных личностей. Точно так же измерение мозгового пояса дало наибольшие цифры для личностей с ограниченными способностями.

У клинициста Фукса поверхность мозга занимала 22,1005 см². У Гауса – 21,9588 см². И при том же весе у неизвестной женщины – 20,4115. У простого рабочего – 18,7672. (*Бишоф. Вес мозга у человека, 1880.*)

Емкость черепа Канта была 1740 см³ – на 40 см³ больше против

средней емкости у германцев.

Из наблюдений других исследователей мы узнаем, что у Манцони, Петрарки и Фузиньери лоб был покатый, что у Байрона, Фосколо, Хименеса и Доницетти найдено сращение черепных швов; затем мы убеждаемся в субмикроцефалии* Розари, Декарта, Фосколо, Тассо, Гвидо Рени, Гофмана и Шумана; находим склерозы у Доницетти и костный гребень между крыловидным отростком и основной частью затылочной кости у Тидемана.

* Малый размер черепа.

К таким же ненормальностям следует отнести теменную трещину, найденную у Фузиньери, асимметрию черепа Биша, Романьози, Канта, Шеневи и Данте (причем у последнего было найдено еще и неправильное развитие левого теменного бугра и присутствие двух бугорков на лобной кости), плагиоцефалию* – у Бруначчи и Макиавелли, несозмерно выдающийся лоб (68°) у Фосколо и ультрадолихоцефалию** у Фузиньери (показатель 74), составляющую разительный контраст с обычной у венецианцев ультрабрахицефалией*** (показатель 82 и 84), ультрадолихоцефалию О'Коннора (73), тогда как показатель в среднем выводе для ирландцев дает 77; присутствие средней затылочной ямы у Скарпа и, наконец, множество особенностей строения черепа Канта, обыкновенно не встречающихся у немцев, как, например, ультрабрахицефалия – 88,5, плоский череп (показатель высоты 71,1) непропорциональность верхней части затылочной кости, вдвое более развитой, чем нижняя, и слишком уже малая лобная дуга сравнительно с теменной.

* Сплюснутый череп.

** Крайняя степень удлинения черепа.

*** Крайне укороченный череп.

На основании таких данных и ввиду того, что гениальные способности часто развиваются в ущерб каким-нибудь психическим сторонам, мы можем сделать предположение, что гениальность сопровождается аномалиями того самого органа, на котором зиждется слава гения. Чтобы такой вывод не показался слишком смелым, мы, кроме приведенных выше наблюдений, укажем еще на многие другие факты, например водянку желудочков мозга у Руссо, гипертрофию мозга у Кювье, менингит у Гросси, Доницетти и Шумана, отек мозга у Либиха и Тидемана. У этого последнего Бишоф нашел кроме значительного утолщения костей черепа, особенно лобных, еще и уплотнение твердой мозговой оболочки, прилегающей к кости, утолщение и повреждение паутинной оболочки, а в мозгу – явные признаки атрофии. Вагнер нашел у клинициста Фукса перерыв роландо-вой борозды, происшедший от пересечения ее

на поверхности мозга образовавшейся аномальной извилиной, случай до того редкий, что он встречается, по Джакомини, – один раз на 356, а по Гешелю – один раз на 632 вскрытия. Мозг Скарпа весил только 1066 граммов. Вагнер и Бишоф нашли вес мозга знаменитых германских ученых ниже средней цифры, принятой для германцев, хотя это обуславливалось, может быть, преклонным возрастом их и болезненным состоянием в последние годы жизни, как, например, у Либиха (70 лет) – 1352 грамма и Деллингера – 1207 граммов, умерших от чахотки.*

* Во Франции Ле-Бон, исследовавший 26 черепов гениальных французов, как, например, Буало, Декарта, Журдана и др., нашел у наиболее известных из них емкость в 1732 см³, тогда как у древних обывателей Парижа она была только 1559: в настоящее время едва лишь 12 на сто парижан представляют емкость выше 1700 см³. У гениальных же людей 73 на сто обладают емкостью больше этой средней цифры.